

Борис Горзев

ЛЮБОВНЫЕ ДИАЛОГИ С ИСТОРИЕЙ

Copyright © 2013 Борис Горзев
Редактор: Евгения Жмурко
Оригинал макет – О. Гураль
ZA-ZA Verlag: <http://za-za-verlag.net/>
Düsseldorf, с. 297

АННОТАЦИЯ:

Истории, происходящие с главными героями этой книги, касаются не только личных отношений между мужчиной и женщиной — эти истории напрямую связаны со временем, настоящим и прошлым. Поэтому тут действуют еще и некоторые известные исторические и литературные персонажи, появление которых задано автором неспроста. Он, автор, имел определенную цель. И всё это правда, между прочим.

СОДЕРЖАНИЕ:

Антон Рябой и его компания

Армуш и Антанта

Жизнь с Кристиной:

1. На горе
2. Заяц
3. Девочка-Делакруа
4. На острове
5. Мальчишник



Дюссельдорф

2013

И он расхохотался даже громче, чем когда на него действовал яд, а потом спросил, чем ты занимаешься, и я ответил, что не занимаюсь ничем, просто живу, и всё потому что все остальные занятия гроша ломаного не стоят.

Г.Маркес, «Блакаман Добрый, продавец чудес»

АНТОН РЯБОЙ И ЕГО КОМПАНИЯ

Бездна призывает, зная имя Давид, потому и не пошевелит языком пёс.

В нижние комнаты дома можно было попасть через черный ход. Рябой обычно так и делал, чтобы не беспокоить взрослых. А прокрасться незамеченным через сад тоже вполне возможно: в высоком заборе давно найдена щель, там, где доски обступают ствол старой липы. Наверное, когда-то давно, когда ставили этот забор, крестьяне (сами или по повелению хозяев) не тронули заслуженное дерево и установили доски вплотную к стволу, однако щелочка в этом месте осталась, да только для худенького, небольшого человека.

Тогда Антон Рябой таким и был — небольшим и худеньким, как раз для этой щели. Пролезал бочком, и дальше, если не было желания попадаться на глаза родителям Егора или его тетушке, скользил к черному ходу, прячась на яблонями, грушевыми деревьями и кустами смородины. Черный ход, как и положено, был в задах дома — скромная дверь в подвал, куда вело несколько ступенек.

Рябого звали Антон, фамилия — Рябов. Понятно, в детстве он был Рябым, удачнее прозвища не придумать. Он проникал через

черный ход, и так они встречались, не нарушая покоя взрослых. Егор любил, когда Рябой оказывался у него дома, в его комнате, особенно зимними вечерами, когда скучновато и даже чтение книг не помогало. А телевизора, вопреки всему и, главное, ходу времени, отец дома не держал, только старая чёрная тарелка радио висела на кухне (это на случай, если объявят войну, говорил отец, надо быть в курсе, ежели придет француз и по какой дороге двинет войском, нашей или другой).

Егор страстно желал, чтобы наконец заговорило радио и объявило войну с французами, но этого никак не случалось. Зато через черный ход приходил Антон Рябой. Конечно, они виделись и днем, когда гуляли, но вечерами было лучше: без посторонних, только вдвоем.

Антон много рассказывал. Откуда он столько знал, неясно. Книги, да, пытливым ум, да, старше на пару лет, да, и все-таки откуда столько? Ведь не из-за телевизора с одной программой (по которой ... — ну, да что говорить!), а что до родителей, то в доме у него только малообразованная мать, поскольку, как Рябой сказанул однажды, папаша сделал и стигнул, ибо был нормальным гусаром. Да и какой он папаша — проезжий бравый молодец, и всё.

Впрочем, однажды Рябой выразился более точно. Понимаешь, объяснил он, мужчины — особи полигамные, и одна из основных целей их жизни — оплодотворить как можно большее число самок человека, а вот эти последние, по сути, моногамны. Такая разница и прелесть.

Однажды он вздумал рассказывать о своей фамилии. Дескать, все эти Рябовы, Рубцовы, Щедрины, Щербинины, Щербатовы — вернее, их предки — обязаны происхождением своих фамилий оспе. Да, именно натуральной оспе. А если она, то, как следствие, — оспины на лице, то есть специфические шрамы после оспенных язвочек. Отсюда и пошло: рябой, щербатый! Дальше — прозвища, а потом и фамилии... Однако, поведав об этом, Антон не остановился и предложил проследовать в древность, сообщив, что оспа упомянута даже в Библии, в описании десяти казней египетских.

Егор забыл, с чего начали (а начали с фамилий) и спросил: а еще чего было тогда, в древности, если про оспу? Еще была ос-

па в Индии, сказал Рябой, а из похода туда и оттуда славные воины Александра Македонского занесли эту заразу во многие земли. Например, уже во II веке новой эры она поразила римские легионы Марка Аврелия, а потом появилась и в Древнем Риме.

А еще был такой город ацтеков — Теночтитлан (это на месте нынешнего Мехико, не забыл уточнить Рябой), и в нем оспа умерщвила многих, в том числе самого тлатоани. Тлатоани — это значит «правитель», он умер от оспы вскоре после открытия Америки и испанских завоеваний — короче, в шестнадцатом веке. А потом то же случилось и с императором инков Уайна Капаком.

Вообще августейшие особы нередко страдали от оспы, и в России тоже. Например, еще молодой император Петр II — заболел и помер. И Петр III тоже заболел, еще до того, как стал императором, но выжил, и следы на лице имел заметные. Однако ж именно благодаря его супруге, императрице Екатерине Великой мы обязаны избавлением от этой напасти. Она специально пригласила из Англии врача Томаса Димсдейла и приказала привить оспу себе, потом передать «оспенную материю» для прививки сыну-наследнику, а от него и всем приближенным. Через несколько лет привили и внуков Екатерины — Александра и Константина.

А вообще тогда от натуральной оспы в России умирал каждый седьмой ребенок. Однако прививкам подлежали уже все поступающие в кадетские корпуса, вся гвардия и весь двор. Вот так и пошло-поехало. И спаслись помаленьку. А фамилии остались — Рябовы, Рубцовы и прочие.

И Машка Щербатова, которая с соседского имения? — спросил Егор. Значит, и она, ответил Антон и почему-то покраснел. Но добавил, поразмыслив, что личико у нее чистое, без оспин, но главное, она не только от каких-то далеких рябых предков, но и от декабристов, а точнее, от кого-то из детей декабриста Шаховского и его жены, урожденной Щербатовой. А если еще точнее, от их сына Ивана, генерала, командира гвардейского корпуса. Он помер в конце того века, а имение имел где-то неподалеку, в нашей же губернии, а куда потом раскидало его по-

томков, бог знает, но вот наша Машка — от него, это точно, в том смысле точно, что она — из его рода.

Это она тебе говорила? — не преминул съехидничать Егор, на что Антон спокойно возразил: нет, не она, это я сам знаю. А потому и знаю, что имею оспины на лице.

Что верно, то верно. Надо было с этого и начать, с его оспин. Антон Рябой все-таки.

Но вопрос остается: откуда он всё знал? Ведь не потому, что у него в доме был телевизор, а у меня нет. Да и что телевизор? Одна программа, по которой во второй раз без перерыва показывали «Тысячу и одну ночь», по одной серии каждый вечер, или, как все шутили, по одной ночи на ночь. Но детям смотреть этот сериал не позволялось.

И тогда можно спросить: и что? Три раза пояс времени опоясал твою талию — и что? Что ты, князь черни, пьяниц и блядей, ответишь на это? Только черная тарелка радо висит на стене твоей кухни и никак не объявляет войну с французами, и Рябой уже не пролезает через щель между старой липой и старыми досками, чтобы, скользнув в сад, попасть через черный ход в твою нижнюю комнату, потому что он уже не может пролезть через ту щель, и старую липу давно спилили, чтобы она не рухнула от старости на чью-то голову, и дверь на черном ходу забила наглухо, и никто теперь не расскажет про натуральную оспу и про Машку Щербатову с соседнего имения, про ее предка-декабриста и еще одного предка, какого-то генерал-лейтенанта, который командовал гвардейским корпусом, ну и что из того, что командовал, это было, но уже и не было, и сама Машка уже бабушка, наверно, а даже если ты опять влюбишься в нее по давней памяти, то никак не вернешь ее девственность, ведь не призывать же на помощь неких кудесников или пластических хирургов, которые за немалую мзду берутся вшить в нужное место некий аналог девственной плевы, и так это здорово у них получается, что женщина с повторной плевой и сама не знает, кто она есть — девственница или нет, ибо знак девственности между ног у нее есть, а в душе и памяти этого знака нет. Так кто она и что это? Раздвоенность, расщепление личности, шизофрения.

Тот Антон Рябой, влюбленный в нашу соседку по имени Машку Щербатову, был с щербинками на лице, то есть с оспинами, а Машка отличалась действительно чистым, светлым личиком, но теперь, когда пояс времени опоясал ее талию в третий раз, теперь она куда-то запропала, растворилась в череде событий, войнах, переселениях, нашествиях чужих армий и отечественных танков, а самолеты не имеют опознавательных знаков, зато имеют под крыльями ракеты типа «воздух-воздух» и «воздух-земля», а мы-то как раз на земле, и это печально, так получается, но и что из того? Мы про Антона Рябого, верней, не про того Антона по прозвищу Рябой, а про того, который по фамилии Рябов, но он всё равно Антон, ведь при переселении из детства в старость и обратно имя не подлежит изменению. И не только имя не подлежит изменению, но и оспины на лице, так я думал. И ошибся.

Раздается звонок в парадную дверь, и, поскольку швейцара давно нет, а черный ход давно заколочен, я встаю из кресла, пересекаю гостиную, спускаюсь по лестнице, наконец подхожу к парадной двери, отворяю ее и вижу Антона. Он премного старый, но я сразу узнаю давнего друга, хотя на его лице нет оспин, а на их месте какие-то пятна.

Я и не удивляюсь его появлению, ибо многое знаю. Но и времени утекло тоже много. Вот только где оспины и почему вместо них какие-то пятна?

А это трупные пятна, объясняет Антон, когда мы садимся в кресла перед камином в гостиной.

А еще он просит: поскольку с некоторых пор ему всегда холодно и он мерзнет, то нельзя ли развести огонь в камине?

Можно, это можно, ибо есть дровишки у меня, есть на крайний случай. Вот и настал крайний случай, друг из детства пришел нежданно-негаданно. Сейчас запалим камин, говорю, это я еще могу. И делаю это, и это у меня получается в конце концов. Сидим у огня, и света побольше, и тепла. А грог бы сварить, это можно? А то никак не согреюсь, опять просит Антон. Горяченького бы, да!

Нет, отвечаю, нет у меня сейчас ни алкоголя, ни всяких нужных для грога ингредиентов. Плохо у тебя, но я тебе помогу, у меня-то всё это есть, говорит Антон, но ты уж сам приготовь, пожалуйста. И достает из-под рубахи бутылку рома. Значит, так, объясняет медленно и внятно, как это и делал в детстве: давай котелок, налей в него два стакана воды, положи туда одну горошину гвоздики, щепотку перца и ставь на маленький огонь. Пусть закипит, а через пять минут снимай, непременно процеди и добавь туда три стакана рома. Не забудь тщательно перемешать. Это будет настоящий адмиральский ром, один к одному, по старинному рецепту.

Вот мы и пьем уже, и я прошу по детской привычке: расскажи, с чего началось? И Антон рассказывает.

Это началось с адмирала. Его все так и звали — адмирал Грог, хотя вообще-то он — Эдуард Вернон, адмирал королевского флота. И было это в XVIII веке. Однажды ему надоели пьяненькие матросы из его команды, и он распорядился, чтобы впредь ром потребляли не в чистом виде, а смешивали его с водой. Понятно, это вызвало недовольство матросов, но они смирились, а в отместку окрестили эту смесь «гrog», потому что тот адмирал уже давно имел прозвище «Old grog», то есть «Старые бриджи». А вскоре кто-то придумал разбавлять ром горячей водой и добавлять туда всякие пряности. Лет через сто сей напиток завезли в Россию. Кто? Естественно, англичане на своих судах. Но к тому времени гrog готовили не только из рома, но и коньяка. Ну а русские, конечно, стали использовать водку. Вот и весь сказ про первый гrog, ну а потом возникло множество всяких рецептов. Так что пьем «Старые бриджи»!

Выслушав и выпив еще раз, я все-таки спрашиваю: а что у тебя с лицом? Антон ставит бокал на стол, пожимает плечами. И говорит:

— Ты про трупные пятна? Эка невидаль! И что такого? — А затем произносит почти радостно: — Но зато у меня особенные трупные пятна! Почему особенные? Они меняют цвет в зависимости от... — Долго смотрит на меня и добавляет: — В зависимости от того, как я умер. Вот сейчас какого они цвета? Правильно, розовато-красного. А именно такими трупные пятна бывают когда? При утоплении, верно-верно! — И хохочет: —

При утоплении, точно! С этого и началось, кажется. Еще в детстве.

Я не понимаю:

— Какое-такое утоплении в детстве? Ты что, Антон? В детстве мы были вместе, и я ничего такого про тебя не слышал.

Он немного смущен. Опять пожимает плечами:

— Да? Странно. Но это... это твои проблемы. Я-то знаю! Меня утопили бандюки. Мать уехала в соседнюю деревню к родне, я остался дома один, вот бандюки про то прознали, решили ограбить нас, влезли в дом, а там вдруг — я. Они-то полагали, что мать и меня взяла с собой, а вот и нет!.. Короче говоря, свидетель. Они меня связали, кляп в рот, и на пруд. Ну, ты помнишь наш пруд за Горчицной улицей и железкой, по которой раз в сутки ездила «кукушка». Глухомань там, у пруда, только ветлы колышут ветвями и всегда накапывает дождь. Сели в дырявую лодку, и на середине пруда скинули меня в воду, связанного и с бульником на груди. Вот я и утуп, натурально утуп. Но вскоре бульник как-то отвязался, и я всплыл. Только уже мертвый. Кто-то меня увидел с берега, какой-то бродяга. Ну, дальше всё, как положено: прибежал околоточный, приехала телега, и меня — куда? В морг, понятно. А что еще делать с утопленным, это тоже понятно. Но самое интересное было потом. Ведь я опять стал живым и здоровым. Как — сам не знаю. И будто ничего не случилось. Вернулась мать из деревни, и вот он я, дома. И в гимназию опять хожу, и к тебе через черный ход пробираюсь. Это-то ты, надеюсь, помнишь?

Это я помню. А остальное? Брехня какая-то! Так и говорю Антону. А он, вижу, обижается. Зря, говорит, не веришь, зря. Прямо как эти... эти тоже мне не верили. А кто эти? Молчит, не отвечает. Ладно, давай еще выпьем, предлагает.

Выпили, и будто не было разговора. И верно: мало ли что придет в голову старику!.. А хорош грог! Антон даже крикает и вытаскивает из кармана сигару. Зажги свечу, просит, вон ту, в бронзовом подсвечнике, и придвинь ко мне. Потом прикуривает. Я-то не курю, а он дымит. Так он и в детстве дымил, баловался сигаретами. И вот, видать, пристрастился. Ладно, пусть курит, мне это не мешает. Мне вообще ничего не мешает. Мне

хорошо. Старый друг объявился. А я уж думал — всё, никогда не увидимся. Ошибался, значит, слава богу.

Старость, она чем прекрасна? А тем, что с детством соприкасается. Антон был частью моего детства, частью меня, а потом пропал, испарился, три раза пояс времени опоясал мою талию — и что? Что я, князь черни, пьяниц и блядей, отвечу на это? Только черная тарелка радо висит на стене моей кухни и никак не объявляет войну с французами, и Рябой уже не пролезает через щель между старой липой и старыми досками, чтобы, скользя в сад, попасть через черный ход в мою нижнюю комнату, потому что он уже не может пролезть через ту щель, и старую липу давно спилили, чтобы она не рухнула от старости на чью-то голову, и дверь на черном ходу забили наглухо, и никто теперь не расскажет про натуральную оспу, думал я, и про Машку Щербатову с соседнего имения тоже не расскажет, но вот Рябой объявился, и будто всё восстановилось, и мне хорошо.

А про ее предка-декабриста и еще одного предка, какого-то генерал-лейтенанта, который командовал гвардейским корпусом в середине того самого века, помнишь? Про Машиных предков, короче говоря?

Антон только усмехается и говорит назидательно:

— Рябой всё помнит! Понял? Всё и всегда. Ибо Рябой имеет совершенную память, и нейроны его преспокойно восстанавливаются, несмотря на клинические смерти, и там, в его мозгу, чудесная картина прожитого, без единого изъяна и белых пятен. Ты хотел про Машку Щербатову и ее предка? Изволь.

Щербатова она по женской линии, и ее бабка... или прабабка, или какая-то тётка, в общем, княгиня Щербатова, она была замужем за князем Федором Шахоским, декабристом. Занятная и трагическая личность, лично свидетельствую. Участвовал в зарубежных походах 1813—1814 годов. Ну, потом понятная карьера, даже адъютантом графа Паскевича был. Потом отставка по состоянию здоровья. И вот начинается: масон, член всяких лож, затем — тайные Союзы, даже член Коренного совета. Однако странность: отошёл от тайного общества задолго до восстания 14 декабря 1825 года. Тем не менее, его арестовали. Долгое следствие. И он — один из немногих, кто отказался признать

себя виновным и не давал показаний на арестованных товарищей. Представляешь, у него было прозвище «Тигр»!

Этого «Тигра» осудили по VIII разряду. То есть на вечную ссылку. Но срок сократили до 20 лет. Туруханск, Енисейск. Чем заниматься? Изучал сибирскую флору, писал записки о Туруханском крае. Но вскоре заплошал головой — появились признаки психического заболевания. Спасибо хлопотам жены, его перевели в Нижегородскую губернию, потом куда-то в Суздаль. Жена жила поблизости, ухаживала за ним. Вдруг он объявил голодовку — и так до смерти. Ну, совсем спятил, понятно. Похоронили его на монастырском кладбище. Вот и весь «Тигр». Но гены-то остались, они бессмертны, да? Только в Машке эти гены как-то скукожились. Или мутировали. Машка — она мутантка, должно быть. Хотя... хотя мамочкины-то гены — это тоже не просто так, да. Ладно, будем считать, Машка — мутант.

— Ты что? — не верю я. — Машка — мутант?

— Точно! Но я это понял потом, — спокойно продолжает Антон, — когда она, моя ненаглядная, моя любовь, моя первая и единственная, когда она решила отравить меня. И отравила. Ну, вот так. Смотри, как получается: та урожденная Щербатова, о которой я говорил, та за своим чокнутым мужем Шаховским ухаживала, а эта Щербатова решила меня отравить. Ничего себе, да! Ну, пьян я был в стельку, и что? Бывает такое с нормальным русским мужчиной. Так нет — ей это надоело, видите ли! Я спал на диване, на том самом, где лишил ее невинности, спал, пьяный, а она открыла газ на всю катушку и ушла из квартиры. Вот я и помер. Посмотри на мои пятна, посмотри теперь. Какого они цвета, мои дорогие трупные пятнушки? Правильно, ярко-красные. А они такие, когда человек отравился газом. Или его отравили газом. Наукой доказано, то есть криминалистикой. Но Машка, стерва, подстроила так, будто это я сам. Будто заявился домой пьяным, хотел чаю попить, включил газ, потом лег на диван, а про газ забыл, заснул... ну и всё, в общем. И что ты думаешь — следователи ей поверили! Или она взятку им всучила. Так или иначе, а в крови алкоголю до хрена, это верно, ну и так далее. А самой Машки будто дома не было в тот момент, она была у подруги, вот такое алиби, подруга подтвердила. Ну, и

Машкина мамочка, конечно, то есть тёща моя распрекрасная, зараза!

Что-то я опять в это не верю.

— Ты ничего не путаешь? — спрашиваю. — Когда это было?

— Как когда? — удивляется Антон. — Тогда и было. Мы поженились, потом я ушел в плаванье, потом вернулся — вот тогда. На пятом году нашей совместной жизни, значит.

— Нет, ты всё путаешь! — кричу, потому что теперь мне это ясно. — Машка вышла замуж не за тебя, а за Шурку Кривокрыса, корнета, кажется, а тебя тут у нас давно уж не было, ты куда-то уехал и пропал.

Он таращит на меня глаза, потом хохочет и крутит пальцем у виска.

— Это я-то путаю, я? А кто Машку девственности лишил?

— Ну, может, и ты, я не в курсе, ну и что? Замуж-то она вышла за Шурку Кривокрыса, но лет через пять... в общем, куда-то уехала.

— Опять не так! — горячится Антон — Ей было восемнадцать, когда мы... ну, стали вместе и вскоре поженились, хоть мать ее была против, поженились, ты что, не помнишь? И ты еще отказался на свадьбу идти, помнишь?

— Это помню, отказался, но не на твою свадьбу с Машкой, а на ее с Шуркой, а тебя тут уж не было.

Теперь он смотрит на меня как на больного и тянет:

— М-да, м-да, приехали! Слом мозгов! У тебя Альцгеймер, похоже... Ладно, что ж делать, налей-ка мне еще грогу, а то я опять начинаю мёрзнуть. — И шепчет, уставясь в потолок: — Как же вы живете с мозгами шиворот-навыворот? Бедные люди!

Что-то не так, понимаю я. Что-то с Антоном Рябым случилось. Ведь явную ахинею несет. Или... (и тут нехорошая мысль посещает мою голову) или это у меня что-то не так? То есть с моей головой. Альцгеймер, да?

Антон тревожно озирается, стучает себя по карманам, как бы проверяя, всё ли там на месте, при нем, и вдруг спрашивает:

— Ты у меня ничего не спёр?

— Я? У тебя?!

Он как-то натужно улыбается — дескать, ладно, поверю. И, забыв про свой грог, кряхтя, поднимается из кресла:

— Пойду, пожалуй. Но следующего раза.

— погоди! — Я встаю вслед за ним. — Ты куда? И вообще где ты остановился?

Антон опять улыбается и исчезает. Сам исчезает, а улыбка его остается.

Эта улыбка Антона так и весела в моей гостиной, рядом с камином, на одном из оленьих рогов, и постоянно бросалась мне в глаза. Висела и чуть раскачивалась. Весь следующий день. Что это означало, я не понимал. Нужно прожить достаточно долго и многое перечувствовать, быть князем черни, пьяниц и блядей, чтобы понимать, что всего этого не может быть. То есть оставаться критичным к себе и окружающему миру, в том числе Антону Рябому, потому что он, во-первых, часть меня, а во-вторых, часть окружающего мира. Ладно, я критичен, но что дальше?

Дальше — это следующим вечером. Опять звонок в парадную дверь. Его я услышал не сразу, потому что сидел в кухне под черной тарелкой на стене и слушал, что на сей раз скажут по радио. Но из тарелки пела Алла Пугачева про арлекино, а не про войну с французами, хотя, как я догадывался, вскорости супостаты возьмут Смоленск и вполне решат двигаться на Москву именно по моей дороге, то есть по дороге мимо нашего Черногубцева, а это всего лишь в шести верстах от Гжетска, а Гжатск-то как раз на Смоленской дороге, и ежели так, то надо решать — бежать или нет, чтобы не оказаться в руках у басурман, а мне этого никак нельзя, ибо я знаю тайну графа Сен-Жермена, и они это знают (знают, что я знаю) и будут пытаться меня в ихнем гестапо или как там у них называется учреждение, где применяют допросы с пристрастием... а, кажется, тайная полиция, ведомство господина Фуше, правильно я говорю? Ну да, Фуше, Фуше, министра полиции у Наполеона. А сей Фуше есть человек-порок, как о нем сказал кто-то, а точнее, порок, опирающийся на преступление.

Значит, я слушал, что скажет черная тарелка, а из нее всё пела та баба с жирными ляжками, а я всё ждал про французов, беспокорясь за свою тайну Сен-Жермена, но пока эта тайна еще при мне, и про нее даже Антон не знает, потому что мое общение с легендарным графом случилось после того, как мы с Рябым потерялись в цайтрауме, о чем я скажу потом, если успею, то есть если не нагрянут французы.

Жирные ляжки всё пели про арлекино, и тут я расслышал звонок. Рябой? Ну а кто же еще? Ведь визиты мне теперь никто не делает, и это хорошо, ибо я устал от них, и вообще от всех устал.

Антон стоял в двери, и пятна на его лице были вишневого цвета. На сей раз — такие. Он спросил как-то нервно:

— Или я у тебя забыл, или ты спёр все-таки?

Я сразу понял, о чем речь:

— Именно забыл, а я ничего не спираю. Ты забыл. Свою улыбку.

— Отдай! Где она?

— У камина висит, на рогах. Весь день лыбились и раздражала.

— Это понятно, что на рогах, — говорит Антон, следуя вверх по лестнице, — на моих рогах, это от Машки-стервы, а улыбка без хозяина всегда раздражает. Сейчас одену ее на физиономию, и порядок. Это я от Машки-убийцы перенял. Она уходила, а ее улыбка оставалась при мне. Как улыбка чеширского кота. С того самого раза. Ну, когда я ее девственности лишал. Представь, я ее лишаю, тружусь, а она не то что не стонет, не кричит, а улыбается. Давай, давай, понукает, чудесно, давай! Вот с того самого раза эта ее стервозная улыбка всегда при мне оставалась, даже когда Машка сматывалась от меня и делала меня рогатым. А улыбка ее висит в воздухе и дразнит: «Давай, чудесно, давай!» И это меня возбуждало. Машки, значит, рядом нет, а я ее опять хочу. Вот стерва!.. Э, да, свари опять грогу, а то мне холодно, и камин, камин!

Я разжигая камин, потом ставлю котелок на огонь, а сам ёжусь, но не от холода, а от этих его высказываний про Машку Щербатову. Нехорошо это с его стороны, не по-дружески. Ведь знает, что я в нее влюблен, а он всё про их секс талдычит. Ладно, придется терпеть, друг всё-таки.

Улыбку на физию он нацепил. Совсем другое дело, конечно, так не раздражает. Да и улыбки-то уже нет — загасил ее Рябой. Что-то он грустный сегодня. И какой-то суетливый: всё оглядывается, будто за ними следят или подслушивают. Но тут давненько никого нет.

— Тени, тени, — проговаривает он, принимая из моих рук бокал с горячим грогом — Видишь, мои трупные пятна? Какие они сегодня? Ага, густо-вишневые. Прямо с утра такие. Это мне германцы мерещатся. Тени, тени... А какого хрена? Они все полегли, там на Сомме. Ну, ты помнишь. Река такая на севере Франции. Там меня отравили каким-то цианидом... или синильной кислотой, не припомню точно. Но отравили не немцы, а свои же, англо-французы. Это они, союзнички, применили эту кислоту как ОВ. Да, в Первую Мировую, летом 16-го, на Сомме. Помнишь?

Я пожимаю плечами:

— Про Первую Мировую помню, а про ОВ — нет.

— Здравсьте-приехали! — оскаливается Антон. — Ты ж там со мной был! Память отшибло?

— Похоже, так.

— Ах, беспамятные вы людишки! — качает он головой. — Ладно, напомним. Знаменитое сражение! Там, именно на Сомме, впервые в истории применили танки. Впервые танки, помнишь! И что? Кто выиграл? А никто вообще-то, как и у нас при Бородино. Только с каждой стороны полегло по полмиллиона. Вот такая битва была на Сомме. Но это ладно, потому что, помимо танков, союзнички применили и ОВ. А это уже было запросто — то германцы, то они. Но ветер переменялся, и мы, русские, под облако попали, от своих же, так сказать. Красота! Ну, я и помер, понятно. Помнишь?

Я пожимаю плечами, а Антон продолжает:

— Но воскрес, воскрес, уже после! Тогда не до моргов было, и вообще не до захоронений, особенно в первые дни после битвы. Вот я и ожил, лёжучи не в земле, а на земле. Лето было, дождичек пошел, и оживил меня. А пятна остались на память. Зараза! Ну да ладно, другое тебе расскажу. Про этот самый яд. Цианиды и синильная кислота, значит. Запах миндаля, значит... Это мне рассказал сам Карл Шееле, шведский ученый, а вообще-то

аптекарь, то есть фармацевт. Именно он впервые синтезировал этот яд. Ну а потом, сам знаешь. Очень модной оказалась эта штука. Кого ей только не травили! Две-три секунды — и всё, паралич дыхательного центра. Распутина нашего так травили, однако ж неудачно, потому что, глупые, вместе с ядом антидот туда всунули, а уже потом военные сообразили использовать это дело для массовых отравлений противника, а потом и фашисты в концлагерях. Вот и мне досталось при Сомме от той самой синильной кислоты. Ладно, ожил, было такое, было... Синильная кислота, значит. Смешно!

— Да что ж тут смешного, Антон! — восклицаю я.

— Как это что? Аналогия! Словесная переключка, понимаешь? Есть синильная кислота, а есть сенильный психоз. Ну, чуть поразному пишется, а слышится одинаково. Сенильный психоз, это кайф, это нечто другое. Старческое слабоумие, короче. А почему? Постепенная атрофия коры головного мозга. Ну, снижение памяти, нарастающее слабоумие, всякие бредовые идеи — например, будто тебя хотят ограбить. И еще одна прелесть — конфабуляции. Знаешь, что это такое?

— Понятия не имею!

— А, тогда слушай. Это мне мой психиатр поведал по секрету, немец опять же. Его звали герр Арнольд . Фамилия — Пик. Давно это было, ну да, когда я от Машки сбежал, заразы, от нее и заразы тещи. Так вот, тот самый герр Арнольд мне говорил, что есть люди со странными воспоминаниями, которые кому-то кажутся даже ложными. То есть, дескать, человек рассказывает о том, чего у него никогда не было, но уверен, что говорит чистую правду. Получается прямо фантастика, хоть романы пиши. В общем, герр Пик сказал мне, что, если образно, это — галлюцинации воспоминаний. И, знаешь, мне это понравилось. Не просто воспоминания, а их галлюцинации! Здорово. А что есть человек к старости, живущий не настоящим, а прошлым? Именно галлюцинация воспоминания! Чистый фантастический роман о себе в своем времени, именно так! Вот, скажем, когда Машка...

— Да погоди ты! — перебиваю я. — Ну что ты всё время о Машке да о Машке! Оставь ее в покое!

— А и верно, — вдруг будто смиряется Антон, — ведь ее давно нет.

Тут я даже сникаю:

— Как это нет? А где ж она теперь?

— Она?.. — мнетса он. — Она — королева серых пятен. Ну да, серых трупных пятен. Такие — серые, бледные, — это когда человек мрёт от большой кровопотери. Ну да, она много крови потеряла. Сначала, когда девственность теряла, потом, когда ее изнасиловали пираты. Изнасиловали и выбросили за борт, а меня повесили на рее, как положено. Вот так мы с ней и разминулись — по цвету пятен: у нее — серые, какие от кровопотери, а у меня — синюшно-фиолетовые, какие от асфиксии. Да, так мы с ней и разминулись: я болтаюсь на нее, но слышу, как она орет от удовольствия, пока ее насилуют, а потом швыряют за борт, поскольку от удовольствия она взяла и померла. Но странно: оба мы выжили и еще не раз общались. Хотя она оставалась королевой серых пятен. А почему? Трупные пятна не смываются, мой друг! А нет ее не потому, что она померла окончательно, а по-другому. Боюсь, она еще где-то есть, она и ее мамаша, тёща-зараза. Да хрен с ней, с тещей, а вот Машка, представь, с трупными пятнами на чистом личике! Личико чистое, как и детстве, а кой-где — серые пятна, о как! Родственница декабриста, стерва!

Я не знаю, что на это сказать. Потому и молчу. Кажется, мой друг совсем спятил. Или — как это он назвал? — у него сенильный психоз, то есть старческое слабоумие. С конфабуляциями. Фантастические картины в сознании, в которые он свято верит. Галлюцинации воспоминаний.

А тут еще он говорит в надумчивости:

— Свободного времени было столько, сколько надобно, а гроза будет только к вечеру.

— Какая гроза? — в очередной раз не понимаю я.

— Наполеоновская, — спокойно отвечает Рябой. — Твоя черная тарелка молчит, а мне уже слышится. Гроза будет. Поэтому поправка: свободного времени у тебя нет. У тебя! У меня-то его действительно сколько надобно, а тебе поторапливаться надо. А то... Или останешься? А трусость, если продолжить классика,

несомненно, один из самых страшных пороков. Так говорил Иешуа Га-Ноцри.

— Кто? Какой Га-Ноцри?

Антон смеется:

— А ты невежда, оказывается!.. Ладно, хватит, я пошел, пора и честь знать. Я ее знаю. Где мои рога? А, вот они, драгоценные! Сейчас улыбку на них повешу. Машка, стерва, каких рогов мне наставила! Всю жизнь этим занималась, девственница! Ладно, адью! Э, ты французский не забыл, барчук? Как с французиками будешь шпрыхать, объясняться?

Антон исчез, и я прохожу в кухню послушать, что там черная тарелка. Ничего. Жирные ляжки не поют про арлекино, а вместо этого сплошной треск. Гроза идет, что ли? Не иначе, атмосферное электричество накопилось. Треск, да... И вдруг — морзянка. Пи-пипи-пи-пипи. И что это означает? Не знаю я азбуки Морзе. А ведь небось что-то важное пересылают этой шифровкой! Что же делать? Ничего не понять.

Но вдруг — голос, нормальный русский голос, хотя и женский:

— После прикрытия полками генерала от кавалерии Платова отступающих войск князя Багратиона и доблестном участии в Бородинском сражении, его казачий разъезд, будучи в разведке, доносит, что корпус маршала Нея начал движение на Москву — или через Вязьму и затем Можайск, или несколько южнее через Юхнов и Малоярославец по Старой Калужской дороге. В случае, если корпус Нея изберет первое направление, то под угрозой взятия будут города Вязьма, Гжатск и Можайск. В случае другого направления...

Но дальше я не слушаю, хотя женский голос показался мне знакомым. Дело не в голосе, а в том, что если войска Нея двинутся на Вязьму и потом на Можайск, то никак не минуют Гжатска, а значит, и мое село Черногоубцево. Ведь оно всего-то в шести верстах от Гжатска, прямо на той самой дороге! Что же будет и делать-то что?

Откуда мне было знать, что совсем недавно, и именно неподалёку от Гжатска, в селе Царёво-Займище, светлейший князь Ку-

тузов принял командование русской армией? И что? Ну, принял и, отступая, потек с армией на Москву и тем освободил дороги полчищам неприятеля, в том числе корпусу Нея. Откуда мне было знать о том? Ну, то, что много потом, в следующем веке, наш Гжатск переименуют в город Гагарин, еще можно было догадаться, а про наполеоновские дела — никак.

Шесть верст — это ерунда, это на велосипеде за час можно добраться по теперешней, раскисшей сентябрьской дороге. Значит, через час я смогу быть в Гжатске, даже меньше, чем через час, а может быть, и за полчаса управлюсь. Но что дальше? На Москву с каким-нибудь обозом? Нет, быть беженцем мне не пристало! Я князь черни, пьяниц и блядей, князь, а не какой-то там обыватель, уходящий от обстоятельств. Если обстоятельства складываются не по мне, то надо менять обстоятельства, а не драпать от них. К тому же тут мой дом, и почему я должен его покидать? Из-за французов? Ну, сегодня французы, завтра немцы, послезавтра кто-то еще — и что, всякий раз драпать?

И тут я вспоминаю про черный ход. Вот куда надо спрятать мои тайны, всё сенжерменово! Спрятать и спокойно сидеть в родном доме. Явятся французы — и что? У меня ничего нет, я одинокий, тихий князь, доживающий своей век у себя в поместье. И почему я так уверен, что кто-то из оккупантов-французов знает, что я знаю тайну Сен-Жермена, и станут меня пытаться в ихнем гестапо у господина Фуше, министра полиции? Да, мне так думается, но это лишь мои подозрения, не более того.

Я иду на второй этаж в бывший кабинет отца. Там мой тайник. В окованном железом сундучке за старым книжным шкафом, в нише под досками. Вот он. Перетащить на черный ход, закопать у стены в земляном полу, там темно, никто не заметит.

Так и делаю. Это занимает много времени. Сундучок тяжелый, а я не так уж ловок, как прежде. Но перенес, дотащил. Потом нашел саперную лопатку (это мне приятель подарил после событий в Тбилиси; говорил, у какого-то советского десантника за поллитру выменял), потом долго копал, потом уложил сундучок в ямку, присыпал, тщательно утоптал и выровнял. Вроде отлично получилось. Теперь руки хорошо помыть, потом переодеться. Вот и всё.

А черная тарелка в кухне опять запела, опять жирные ляжки, но уже не про арлекино, а про миллион алых роз. Я хотел выключить это безобразие, а тут опять треск, треск и даже, похоже, раскаты грома слышатся. Потом тишина, и снова пи-пи-пи-пи-пи. Так с минуту, и вдруг тот же женский голос: «В направлении от Вязьмы на Можайск движутся части 3-го кавалерийского корпуса генерала Груши. Справка: генерал Эммануэль Груши, командир 3-го кавалерийского корпуса Великой армии. Неделию назад, в ходе боя при Бородино, был ранен пулей в грудь, но, к счастью для него, рана оказалась не столь тяжелой, и сейчас генерал, двигаясь в седле, больше страдает от старого ревматизма, нежели от недавнего ранения. Сегодня к вечеру его кавалерия должна подойти к Гжатску и там расквартироваться до утра, чтобы продолжить движение на Москву». Пауза, и снова: «Повторяю, повторяю, внимание! Сегодня к вечеру кавалерия генерала Груши должна подойти к Гжатску и там расквартироваться до утра, чтобы продолжить движение на Москву. Конец связи».

Ага, понял. Спасибо за сообщение. Прямо для меня. Понял. Если к вечеру Груши со своими конногвардейцами будет у Гжатска, то еще прежде, то есть за шесть верст до того, будет у меня в Черногубцево. Понял, спасибо. Но бежать я никуда не собираюсь.

И еще я понял нечто странное. Та девушка (или женщина), которая передавала сообщение по черной тарелке, она будто что знала. А иначе зачем она давала справку на Груши? В том числе, про его ревматизм? Да, будто что знала. Про Груши и про меня. Ведь именно Груши лечил свой ревматизм у Сен-Жермена еще до Великой революции 1789 года, когда маг был уже очень стар, хотя и крепок, а сам Груши, еще молодой, но уже с ревматизмом, был, кажись, всего лишь капитаном в королевском кавалерийском полку в Бельфоре. Ну да, было это, кажись, в 1784 году, незадолго до смерти графа Сен-Жермена. Если я что-то не путаю. Нет, не путаю, кажись. Там, в Бельфоре, молодой Груши лечил ревматизм у Сен-Жермена, и до того втерся в доверие к графу, что тот, втирая чудодейственную мазь в его суставы, рассказал ему, что однажды поведал секрет этой, созданной им мази одному русскому, который живет в России, в

каком-то имении недалеко от какого-то Гжатска, что между Смоленском и Москвой.

Да-да, именно так. Сен-Жермен говорил перед смертью, что не открыл тайны этой мази тому капитану, будущему маршалу, не открыл ее рецепта, равно как и другие свои великие алхимические чудеса, но зачем-то рассказал ему обо мне. Вот Груши и ищет меня с тех пор. Понятно: и ревматизм лечить надо чудодейственной мазью, сенжерменовой, и тайну изготовления золота вызнать. Именно так. И именно на это как бы намекнули мне по черной тарелке. Дескать, не кто иной, а именно Груши идет к тебе, дурень! Сматывайся!..

Да, дела! И что теперь? Теперь, когда драгоценный сундучок припрятан, можно расслабиться и погулять, поглядеть на осеннюю природу в округе моего Черногубцева, пока еще тут никого.

Так и делаю. Выходу в сад, иду в сарай, где мой велосипед. Вот он, с высоким передним колесом и педалями на вилке передней рамы. Вообще-то такой велосипед появится у немцев еще лет через двадцать, но у меня он уже есть. Как, почему? А соображать надо и знать, где искать! В России, если соображать, всё найти можно. А я соображаю.

Но не только я, оказывается.

Еду на велосипеде по селу, хорошо еду, ибо дорога, оказывается, сухая, просохла после дождя. Сворачиваю к полям и лесу и тут вижу, кто-то катит мне навстречу по дорожной колее. То же на велосипеде, вот чудеса! Я — по одной колее, а кто-то, вижу, по другой. И различаю, наконец: это женщина. Забавное зрелище: в длинном платье, забранном на бедра, чтобы низ платья в спицы не попадал. В общем, коленки в чулках сверкают, туда-сюда, туда-сюда, а сами ножки, которые в сапожках, крутят педали. Да, забавно.

Почти поравнялись мы, и узнаю: это ж Машка Щербатова, если зеленые! Откуда? Как? Сто лет не виделась!

— Да какие сто? — смеется она. — Ты что, Егор, какие сто? Да всего-ничего прошло, несколько годков, десять, кажись. Так я к тебе, к тебе неслась из Гжатска, торопилась.

— Наконец-то! — отвечаю. — Я тебя давно ждал, все эти сто лет, а ты..

— Торопилась, — продолжает она, — несколько раз по радио передавала тебе зашифрованные сообщения, и морзянкой, и голосом, чтоб ты ушел из Черногубцева, или спрятался, или еще как-то, потому что за тобой Груши охотится, а почему, сам должен знать. А принял ты эти сообщения или нет, я не знала, вот и бросилась к тебе в надежде все-таки предупредить, ежели ты не ушел отсюда. А ты... а ты, значит, и не думал уходить, я вижу, прогуливаешься, на велосипеде катаешься, вот как!

Мы стоим на дороге у наших велосипедов и беседуем. Верней, Машка горячится, говорит громко, а я смотрю на нее, люблюсь, и ни о чем серьезном мне говорить не хочется. Хотя нет, не так: как раз о серьезном можно и поговорить — о том, как я ее люблю сто лет, как жду сто лет, и вот наконец-то она явилась, пусть даже на велосипеде. И такая же красивая. И личико чистое, как в детстве, и никаких серых пятен на нем — трупных серых пятен, о которых что-то плёл Антон. Ну да, будто Машка умерла от кровопотери, оттого и серые трупные пятна на ее лице. Короче, бред сплошной, Антонов бред!

Значит, мы стоим, я ею люблюсь, но она опять за своё: бежим, бежим, скрыться надо, Груши со своей кавалерией! С часу на час, а то и с минуты на минуту!

— Ладно, понял, спасибо тебе, Машенька, — говорю, — спасибо, что помнишь и тревожишься за меня. Но ничего со мной не случится, не бойся. Мне другое интересно: столько лет прошло, а ты никак не изменилась, такая же прелестная барышня!

Она одергивает длинное платье, поводит плечами, явно от смущения.

— Ну, уж да, не изменилась! Я не барышня, а вдова давно.

Я чуть ли не ахаю:

— Это как же? А что случилось с Шуркой... э, Александром Кривокрысом?

— Погиб он, — тихо отвечает Маша, — погиб мой муженек, совсем молодым погиб, корнетом.

— Господи, это при Аустерлице?

— Нет, раньше, — поясняет она по-прежнему тихо, — это после битвы под Ульмом, после капитуляции австрийской армии, союзников. Кутузов отступал, и вот при Холланбрунне в Австрии... Там деревня, ее называют Шёнграберн... В 1805 году. Так

я и стала вдовой, в двадцать лет. Два года было замужем, всего-то.

— Бедный Шурка! — вздыхаю. — Хорош был корнет, да! Помню, помню.

Маша чуть оживляется:

— Конечно, помнишь! Ты еще на свадьбу нашу не явился, и на венчание, хотя мне говорили, что видели тебя, как ты возле церкви ходил. Ходил кругами, а внутрь не зашел.

— Точно, не зашел и потом на свадьбу не явился. Ревновал страшно. Ты — и замуж! А я-то как?

— А ты, мой дружок, ты мог бы быть понастойчивей, а то вздохи, и всё! Вот Антон Рябой, так он иначе, он настырен был и надоел мне своим ухаживанием и предложениями. А к тому ж и маменька моя его не жаловала. А тут появился Александр Кривокрас, корнет, красавец с усами! А ты... ты только вздыхал. Что ж ты, а?.. Да теперь-то о чем говорить? Вышла за Александра, два года, а теперь вдова, уж семь лет как.

— А где ж ты жила эти семь лет?

— Да сначала маменька увезла меня в Италию, чтобы отвлечь от мрачных мыслей, а потом мы вернулись и осели в Гжатске, это было пять лет назад. Потом маменька умерла, и я осталась одна. Так и жила. А тут, видишь, Наполеон! А я о тебе помню и всё знаю — что Груши за тобой может охотиться. Вот и...

— Погоди! — кручу я головой. — Ничего не понимаю! Откуда ты знаешь, что... Ну, про Груши и прочее?

Маша смеется:

— А я ясновидящая! Яблочко по краю серебряной тарелочки запущу, оно катится кругами, и картинки возникают в центре тарелочки, как на экране. Ну, как кино идет. Надо только заказать поначалу, про кого кино смотреть надобно. Эту волшебную тарелочку мне в Италии подарил один православный монах. Увидел, как я горько плачу перед алтарем с Богородицей, я ему обо всем поведала, и он мне подарил. Сказал, закажи, про кого смотреть хочешь, запусти яблочко по кругу, смотри в эту тарелочку, и всё увидишь, и будет тебе снова возлюбленный, и родишь сына от него. Это было в городе Лорето, в соборе, внутри которого уже семь веков стоит Святой дом Богородицы, то есть комната подлинного дома, где жила Пречистая Дева в Назарете.

Помнишь, там она получила благую весть от архангела Гавриила о рождении от нее Спасителя. Вот и ты, сказал мне монах, получишь весть, когда надо.

Я опять ахаю:

— Ничего себе чудеса! А мне-то плёл с три короба Антон Рябой! И про тебя, и про себя, и про тебя с ним и про прочее. Это как же? Стой, что-то тут не так, ей-богу!

— Да нечего стоять, Егор, торопиться надо! — твердо говорит Маша и берется за руль велосипеда, — Помоги-ка мне взобраться на это чудо-юдо и поехали быстро. Потом разберемся про чудеса и Рябого, потом, а сейчас спрятаться надо.

Тут уж я возражаю:

— Знаешь, никуда я отсюда не тронусь! Здесь мой дом, мое имение, а к тому же я припрятал что надо, все мои тайны.

Но Маша не обращает внимания на эти слова и мой вид упрямяца:

— Значит, так. Ехать в Гжатск нам нельзя, к вечеру французы перейдут нашу реку Гжать, займут город, а ночью его спалят, но спалят не они, а наши же, русские, как потом спалят и Москву. Да-да, это точно, я уже знаю. Поэтому и дома моего не станет ночью, сгорит. Значит... значит, едем к тебе в дом. Есть где спрятаться там?

— Есть, — отвечаю, — есть у меня черный ход, давно заколоченный, полузаваленный, темный, только я знаю, как туда попасть. Кстати, именно там я всё и спрятал.

— Вот и чудесно, там и мы спрячемся, — уверенно, как о решенном, говорит Маша и опять просит, чтоб я подсадил ее на велосипед. — Поехали, поехали скорей, уж семерки скоро!

Ладно, думаю, может быть, она и права, ясновидящая. Едем домой, значит... Едем, а я поглядываю на нее. Такая же красивая, и на вид ей, да, лет двадцать пять, хотя сто лет прошло. Что за чудеса, ей-богу! Да и сам я, как мне вдруг кажется, совсем не старик, а вполне еще, вполне, то есть в хороших годах. Опять же чудеса. Ну да что теперь в смуте времен ковыряться! Наше время — это сенильный психоз, кажется. Как у Антона Рябого в голове. Галлюцинация воспоминаний. Так что ли? Именно так.

Именно так, потому что еще по дороге к моему дому Маша спрашивает сквозь одышку, ибо здорово крутит педалями, портапливаясь:

— А не тот ли это Сен-Жермен, который открыл княгине Голицыной секрет трех карт? Ну, тот самый секрет, за которым потом охотился Герман, и это описал Пушкин?

Я вспоминаю:

— Да-да, Сен-Жермен был знаком с той русской княгиней, это точно. А каких только секретов и тайн он не знал!.. Э, погоди! — вдруг доходит до меня. — А какой-такой Герман и кто такой Пушкин?

— Это потом, потом, — с трудом проговаривает Маша, яростно крутя педалями. — Потом расскажу — и про Пушкина, и про его Германа, и про нашего Антона Рябого.

И опять доходит до меня:

— А про Сен-Жермена ты откуда знаешь?

— Привет, мой дорогой! Кто ж не знает великого алхимика, оккультиста и мистификатора, а попросту, враля?..

Вернувшись в дом, я, по совету Маши, написал записку по-французски и нарочито выложил ее в середину большого обеденного стола в гостиной, прижав подсвечником. Вот текст той записки, если основную часть перевести на русский:

«Mon cher ami Anton! Обстоятельства мои таковы, что я срочно отъезжаю в Москву к тетке, дабы не встретиться с наступающим неприятелем. В доме моем никого, а всё, что мне дорого, я еще прежде отправил к тетке, как только узнал, что Бонапарт перешел Неман. Надеюсь, ты тоже поспешил в Москву, а пишу к тебе на случай, если ты еще где-то здесь, хотя уверен, что ты уехал.

Votre ami Yegor Repnine.

Сентября 9-го, сего года».

Это вранье должно было показать людям Груши, что человек, которого они ищут, а именно хозяин данного имения Егор Репнин, тут уже отсутствует, равно как и некие его тайны, за которыми идет охота.

Потом мы с Машей прихватили из кухни небольшой запас еды и бутыль с водой и перенесли в черный ход — это на случай, если неприятель вознамерится пробыть в доме день или два, перед тем как следовать дальше в сторону Москвы. В общем, мы благополучно разместились в своем убежище и даже зажгли пару свечей в сырой темноте хода, сели на старую овчину — и вовремя! Даже отсюда слышали конский топот, и было такое ощущение, что нагрянул сюда целый полк, хотя, конечно, это не так — всего-то рота.

То, что всего лишь рота, это хорошо, сказала Маша, это значит, что через Черногубцево следуют не основные колонны неприятеля и эта рота тут останавливаться на ночь не будет: сделали крюк в десяток верст, заехали, убедились, что в имении и доме никого-ничего, и к своим. То есть эту роту Груши послал сюда исключительно ради тебя, Егор, пояснила мне Маша. Ну, Маша — прямо экскурсовод по историческим местам Отечественной! И откуда она всё знает? Ясновидящая...

И, подумав так с ухмылкой, я вспомнил:

— А где ж твоя серебряная тарелочка, которая тебе кино показывает по твоему желанию?

Маша улыбается и делает мне знак, чтобы я отвернулся, а сама, живу я краем глаза, расстегнув пуговички на блузке, извлекает оттуда эту самую тарелочку, а затем и яблочко. Маленькое яблочко, такие у нас называют «китайками», а тарелочка действительно серебряная, с выбитым рисунком по ободку, красивая, аж посверкивает в лучах наших свечек.

— Вот, — говорит она довольно, — всё, что нужно, мы увидим, любое кино, поэтому не беспокойся ни о чем.

А я и не беспокоюсь. И теперь, пока слышу топот сапог по дому и громкие окрики по-французски, мы сидим при свечах на овчине, и я думаю только о том, как бы мне поцеловать Машу хотя бы в щечку, а уж чтобы в губы, так это мечта с лишком, наверное. Хорошо мне: мы вдвоем, одни, где-то наверху топает неприятель (а неприятель всегда сверху или вокруг тебя и топает), полутьма, свечки горят, мы с Машей сидим на овчине, близко сидим, почти плечом к плечу, а так у нас никогда еще не было. Эх, поцеловать бы ее в щечку!

И тут Маша спрашивает:

— А где ж твой сундучок? — И спохватывается: — Нет, это я не потому, что хочу знать место, а просто от любопытства. А вообще как знаешь, можешь и не говорить.

— А какие мои тайны от тебя, Машенька? — отвечаю искренне. — Он тут, в земле закопан. Прямо под нами. Мы на нем сидим. На том самом месте, куда я закопал его.

— Здорово! — смеется она. И шутит: — А я-то чувствую, что-то подо мной такое! Будто толкает меня туда... ну, в это самое место. — И смущенно показывает на свой задик.

Теперь и я смеюсь, а Маша прикладывает пальчик к моим губам и тянет: «Гс-с-с-с!». А я изловчаюсь и целую ей этот пальчик. И мы смеемся оба, но шепотом, ибо сверху грохает сильно. Ну и сапоги у неприятеля!

— Ладно, Егорка, — называет меня она, как называла в детстве, — ладно, поведай-ка мне о твоём Сен-Жермене. Что за тайны ты от него вызнал. Ах, я такая любопытная, прямо слюньки текут! Из-за чего такая суета теперь, что за охота за тобой? Чего надо Груши?

— Конечно, расскажу, какие тайны от тебя, Машенька моя ненаглядная! — Так говорю я ей и беру ее ладошку в свою. — Слушай историю о нем и обо мне. Ты ведь всегда была любительницей историй из истории, как и я тоже, и ведь ты помнишь, как, замерев, мы слушали вранье Антона Рябого, а чего только он ни рассказывал!

— Помню, само собой, — кивает Маша. — Только не врал он тогда, в детстве, а говорил правду. Тогда — правду. Это потом он умом помутился, и уж давно фантазии строит и сказки всякие, и особенно про меня небылицы плетёт, и нехорошие небылицы, кстати, неприличные... Ах, ладно, бог с ним, это потом мы обсудим, потом, а сейчас давай про Сен-Жермена!

И я начинаю рассказ.

Давно это было, уже давно. До меня дошли его слова: «Великие знания позволяют мне творить великие дела. Я совершенно свободен и совершенно независим». Меня эти слова потрясли. Но об этом мне поведал отец, а он знал лично графа Петра Ивановича Панина, и вот именно Панин и рассказал моему родителю о Сен-Жермене. Какой он необычный, загадочный, даже несомненно великий и не от мира сего. Но самое интересное в

том, что граф Панин и Сен-Жермен состояли в переписке, и однажды Сен-Жермен написал Панину, что может открыть ему секрет производства золота. А Панин, ты знаешь, был человеком непростым, знатным, заносчивым, с гонором. Ну да, известнейший екатерининский вельможа, которому великая императрица поручила покончить с Пугачевым, как тебе известно. Ну да, Панин и Суворов...

Так вот, Панин Петр Иванович взял и плюнул на это дело, то есть на секрет производства золота, ибо был яростным противником алхимии. А вот мой родитель не плюнул, узнав о том письме Сен-Жермена. Умным он был, мой отец, умным и упрямым, царствие ему небесное, а еще хотел разбогатеть, наконец, крепко разбогатеть, а не просто быть обычным помещиком. И рассказал о том письме мне, и снарядил меня в Париж.

Вот тут-то всё и началось.

Разное произошло в Париже, но все-таки мне удалось сойтись с Сен-Жерменом. Это было в семидесятых годах того, прошлого, века, то есть XIII-го, еще до Великой революции, когда правил Людовик XV. Чудесное время! Так вот, случай, о котором я узнал от самого Сен-Жермена.

По просьбе короля он устранил дефект у алмаза, чем привел Его величество в восторг. На вопрос, как он это сделал, толком не ответил, однако не забыл уверить, что умеет увеличивать жемчужины и придавать им особый блеск. Тот алмаз король оставил себе на память и был совсем ослеплен талантами Сен-Жермена и вскоре стал говорить о нем, как о человеке высочайшем.

Потом — всякая алхимия и врачевание. Он изготавливал разные снадобья и мази, в том числе, да-да, от ревматизма, которой надолго вылечивал, втирая эту таинственную мазь пациенту в суставы. Одним из тех его пациентов оказался молодой Груши, страдавший суставными болями с юности, а тогда он был капитаном в королевском кавалерийском полку в Бельфоре. Потом Груши посещал Сен-Жермена и в Париже и продолжал пользоваться этой чудодейственной мазью, но маг упрямо не открывал ее секрет, и так до своей смерти.

А еще он мог излечивать от сифилиса, а этой срамной болезнью страдало немало при дворе в Версале. Когда с Сен-

Жерменом познакомился Казанова, то потом писал в своих мемуарах, что

Сен-Жермен предлагал ему излечиться от сифилиса, но он почему-то отказался, о чем впоследствии сожалел.

Кстати, о Казанове в этой связи. Он так и не понял, как относиться к Сен-Жермену, то есть считал его чуть ли не шарлатаном, называл «чёрным», однако, наравне с этим, признавал его гений и реальные заслуги. Помню, он писал в каком-то своем памфлете: «Этот необычайный человек есть прирожденный обманщик, но он владеет панацеей от всех болезней, и у природы нет от него тайн, он умеет плавить бриллианты и из десятидвенадцати маленьких сделать один большой, того же веса и притом чистойшей воды». Как тебе это нравится, Машенька? А ведь Казанова прекрасно разобрался в людях.

И, конечно, золото. Я не уверен, что то золото, которое он делал, было самым чистым, однако его золото считали высокой пробы и покупали. А многим он просто дарил всякие игрушки из золота или женские украшения — из своего золота и своих больших бриллиантов. Он это сам плавил, я видел. Да и ты увидишь, когда кончится наше заточение на этом черном ходу, уйдут французы, и я отрою мой сундучок. В нем есть кое-что, есть, помимо всяких моих записок о Сен-Жермена и его рецептов. Там и его золотые поделки, им мне подаренные. Это для тебя, Машенька моя. Тебе оставил, еще тогда оставил, как вернулся из Парижа и родителю отдал основную часть подарков, бриллианты и два небольших слитка. Ему отдал, но и для тебя тоже приберег — думал, вдруг ты объявишься наконец, придешь ко мне, вот и подарю.

Маша прижалась головкой к моему плечу, вздохнула, потом прошептала «спасибо» и сказала:

— Продолжай, Егорка, про Сен-Жермена, это очень интересно.

— А что продолжать? Могу повторить его слова — то, с чего началась эта истории: «Великие знания позволяют мне творить великие дела. Я совершенно свободен и совершенно независим». Это точно: знания его были велики, дела тоже велики, а свобода совершенной.

А еще он был сильным дипломатом на службе у короля и выполнял некоторые деликатные, тайные поручения. А еще, будучи баснословно богатым, он много и успешно путешествовал, владел почти всеми европейскими языками, а также древнееврейским и арабским. Да, с его именем еще и тогда, да и сейчас связано множество вымыслов и легенд, но это потому, что люди, с одной стороны, склонные верить в чудеса, а с другой, когда им дают эти чудеса в руки, жадно берут их, но в них же не верят.

Маша вдруг спросила:

— А кто он крови, тебе известно?

— И да, и нет. Сдается мне, и сам Сен-Жермен в том сомневался. Говорил, может, он испанец, или португальский еврей, или француз, а то и венгр. А однажды сказал, что он внебрачный сын португальского короля... В общем, знал он многое, а тут путался. Хотя в библейские времена или в новозаветные никогда не пускался.

Маша покивала:

— М-да, интересный персонаж истории! Теперь мне кое-что ясно. А вот про ту княгиню ты говорил, помнишь? Про русскую княгиню и Сен-Жермена? Про то... — Но вдруг замолкла и прислушалась. — О, как грохают сапожищами! Когда ж они уйдут? А нас не найдут?

Я ее успокоил, хотя сам не был уверен в том, что сказал:

— Нас не найдут, дверь из моей комнаты на черный ход за старым шифоньером, ее не видно. А к тому же они, несомненно, мою записку прочли и поняли, что меня тут нет и ценностей тоже. Сейчас уедут, скоро.

— Ну, дай-то бог. Так мы про русскую княгиню и Сен-Жермена. Так что?

— А, да. Вот что. Та русская княгиня имела знаменитую фамилию — Голицына, а как ее звали, забыл, не помню. Фантастической красоты женщина, умница, острословка, так говорил мне Сен-Жермен. При дворе Марии-Антуанетты ее прозвали за красоту «Московской Венерой». Княгиня, фрейлина и статс-дама при четырех императрицах, от Екатерины Второй до супруги нынешнего императора Александра. Неоднократно посещала Париж, где и познакомилась с Сен-Жерменом, который

страстно влюбился в нее и, в том числе, открыл ей тайну трех карт. Потом, уже после смерти Сен-Жермена, я узнал, что накануне Французской революции она с мужем вернулась в Россию. Они поселились в Петербурге, в доме на Малой Морской, где княгиня организовала великосветский салон. Там собиралось самое изысканное общество. И знаешь, как ее звали? «Princesse Moustache», то есть «Усатая княгиня», потому что с возрастом лицо ее обросло бородкой и усами. Если она жива, то теперь старуха.

— Жива, жива! — почти вскрикивает Маша, но тут же прижимает ладонь ко рту. — Ой, тихо!.. Но, Егор, теперь я всё поняла!

— Про что?

— Про Пушкина! Помнишь, мы говорили, когда ехали сюда на велосипедах? Про Пушкина, и про его Германа, и про нашего Антона Рябого. Я хотела тебе рассказать, помнишь? Вот и расскажу теперь, когда я всё поняла. А до того... до твоего рассказа о Сен-Жермене, до того мне кое-что моя тарелочка поведала, про будущее, и про Пушкина тоже, о котором ты понятия не имеешь. Да еще никто понятия не имеет, вот только я, пожалуй. Слушай.

Пушкин — это наш будущий поэт, великий поэт, а сейчас он еще мальчишка, в Лицее учится, ему всего тринадцать лет. Озорник большой, а стишки по-французски пишет, ибо так у него лучше получается, чем по-русски. Но это пока, а потом... Потом он, в числе прочего, напишет одну интересную повесть под названием «Пиковая дама», и вот там-то как раз про те самые три карты, про их секрет, их тайну. Будто старая княгиня знала тайну трех карт, благодаря которым можно отыграть в решающую минуту или сорвать банк. И будто эту тайну когда-то ей открыл в Париже какой-то граф, мистик и авантюрист, а на самом деле чуть ли не маг. И Пушкин знал об этом, знал, что эта была, как я теперь понимаю, Голицына, именно она. Ходил такой слух по Петербургу и дошел до Пушкина. Но — слушай, самое интересное для нас!

Пушкин станет бывать в салоне старой княгини на Малой Морской... да, именно на Малой Морской, а значит, у Голицыной! Значит, будет туда являться, будет ухаживать за ее внуч-

кой, но вскоре старуха осерчает, взбеленится и откажет Пушкину от дома. Что Пушкин? В отместку он напишет «Пиковую даму»! Вот такой озорник! Напишет и выведет княгиню в весьма неприглядном образе. Однако, когда повесть выйдет в свет, старуха вместо гнева придет в восторг от того, что ее считают прототипом пушкинской героини. С тех пор и до конца жизни все в Петербурге станут называть ее не иначе, как Пиковой дамой. А умрет она почти в столетнем возрасте, после гибели Пушкина, вот такой парадокс.

Но и это не всё, Егорушка. Вот что я поняла еще. Это уже про нашего друга противного, про Антона Рябого. Поняла, почему он мою матушку недолюбливал, а потом и про меня говорил всякие гадости, плёл небылицы — дескать, я такая-сякая, даже повторять не хочется, ей-богу, срамота сплошная! Вот теперь и поняла, когда мы поговорили про Сен-Жермена, Голицыну и Пушкина с его «Пиковой дамой». Значит, так... Как и Голицына Пушкина, моя матушка недолюбливала Антона и, как он стал свататься ко мне, была против этого брака. Против, и всё. А почему, не знаю толком. У меня у самой душа к нему не лежала, не то что к тебе, а тут еще и матушка против. В общем, однажды она сказала Антону, чтоб он прекратил бывать у нас, и с тех пор... С тех пор он будто начал мстить мне, напридумывать обо мне всякое, а матушку мою злобно называл Усатой тёщей, хотя никакой усатой она не была, боже упаси!.. Значит, вот откуда это дурное прозвище! Значит, Рябой что-то про Пушкина знает, про историю будущей «Пиковой дамы». Ах, негодник, охальник! Ну, теперь ты понял, Егорушка?

— Кажется, да, — отвечаю я, а сам думаю: верно! Ведь сколько раз в разговорах со мной Антон нехорошо отзывался о Машинной матушке и действительно обзывал ее Усатой тёщей. И когда о самой Маше говорил всякие непотребства, я поначалу в то поверить не мог, да всё-таки он меня почти убедил, потому что с детства я привык верить это рассказам, ведь это была чистая правда — и про натуральную оспу, например, и про ацтеков с инками, и про Первую Мировую войну, и про многое прочее. Значит, что ж получается: где-то он говорил правду, а где-то врал нещадно? Или действительно что-то у него с головой случилось? Как он сказал, сенильный психоз — так, да?

Так я думаю и вдруг отмечаю: а тихо-то как стало! Ни грохота сапог сверху, ни громких окриков по-французски. Тишина!

— Машенька, — шепчу почему-то, — похоже, они ушли. Слышь, тишина в доме!

— Ага, — прислушивается она, — в доме-то тихо, а в саду и во дворе голоса еще слышны... Да-да, — говорит вскоре, — это они коней седлают, уезжать собрались, слава богу. Подождем еще немного, пусть уедут совсем с глаз долой.

Прошло какое-то время, мы уж совсем приободрились, и вдруг — новое дело: сверху, еще только что в полной тишине, кто-то запел под музыку. Ну да, чуть гнусавый баритон под аккомпанемент фортепиано. Что за чушь! Никакого фортепиано у меня в гостиной нет, давно нет, ибо еще мой родитель продал инструмент после смерти жены, моей матушки.

— Что это такое? — обращаюсь я к Машеньке, оторопев.

Она тоже услышала.

— Погоди, сейчас, сейчас! — Головку склонила, прислушивается. И потом: — Это по-русски поют, это свои. Но кто и как это всё, откуда?

Я решаюсь:

— Да что, мы трусы, что ли? Пойду-ка я гляну.

— И я с тобой! — Маша решительно поднимается на ноги.

— Нет, я один! — упорствую.

— Ты мне не муж и не жених, чтоб командовать! — дергает она головкой. — Вперед!

Если бы я не прожил ста лет и не был князем черни, пьяниц и, не при Машеньке будь помянуто, блядей, то удивился бы претного. Но удивился я в меру.

Выбравшись из черного хода и миновав мою комнату, мы входим в гостиную и видим вот что. За круглым обеденным столом, развалившись в отцовском кресле с высокой спинкой, сидит Антон Рябой, а перед ним стоят бутылка темного стекла, большой бокал, а сбоку — граммофон с большим медным конусным рупором. Из этого рупора, потрескивая, льется песенка под звуки фортепиано: «Я маленькая балерина, всегда нема,

всегда нема...», а сам Рябой, кажется, пьян, ибо размахивается рукой в такт мелодии и ухмыляется.

Мы с Машенькой застываем на месте, но вскоре песенка кончается, и в наступившей тишине, расслышав наше нервное дыхание, Антон оборачивается к нам и всплескивает руками:

— А, вот и вы, мои бесценные, вот и моя компания! Уехали супостаты, уехали, брать Гжатск двинулись, да уж и берут, по-ди. Вот такие стервецы! Ладно, выпьем рому за встречу! Егор, присаживайся! И ты, Машка Щербатова, зараза!

— Не смей так обращаться к барышне, женщине! — вскрикиваю я от волнения фальцетом.

— Это ж почему мне не сметь, мне? — дурашливо вопрошает Антон.

— Потому что она — вдова! — яростно, но всё так же фальцетом, отвечаю я.

Тут Антон становится серьезным:

— Ах, черт! Ну, извини, Маш, не знал, ей-ей. А что с Шуркой Кривокрасом?

Я отвечаю за нее:

— Погиб корнет Кривокрас, в Шёнграбенском сражении, в 805-м. Понял?

Антон кивает, покраснев. Потом дергает плечами и тянется за бутылкой:

— Помянем braveго воина, павшего за отечество, царствие ему небесное. Присаживайтесь, братцы, помянем. Мы ж одна компания, присаживайтесь. Сейчас бокалы вам достану. Вот так. Маш, ты ром будешь? Ну, две капельки! Так положено — помянуть.

Что делать, мы присаживаемся. Я беру в руку бокал, мы выпиваем не чокаясь, и я спрашиваю:

— Ты как и когда здесь оказался, и что эта за музыка, и откуда граммофон?

Антон, похоже, пришел с себя после известия о вдовстве Маши:

— Слишком много вопросов сразу, друг мой Егор. Ну, хорошо, отвечаю. Как и когда — это моё дело, я есть личность независящая от обстоятельств. А что до этого агрегата под названием граммофон, то, да, с собой приволок, чтобы скучно не было

в одиночестве. Красивая штука, правда? А как блестит, да? А звук какой! Во, прогресс! А пластинки, это я у одного интеллигента-профессора спёр. Да, спёр, каюсь. Уж больно понравился мне этот поющий нытик, этот декадент картавый, этот памятник сентиментальности... Э, как его? Вертинский, да! Он — из будущего века, двадцатого, но что для нас время? Туда-сюда, и все дела. Да ты, Егор, это и сам прекрасно знаешь. Ладно, вот послушайте, сейчас поставим этого самого картавого, пластиночку вот эту! Прекрасная песня, жалостливая. Называется «Памяти юнкеров». Кстати, не сегодняшних юнкеров, как вы должны понять, а будущих, которые погибли в Первую Мировую, то есть уже в следующем веке, следующем. Понятно?

Он неловко вскакивает и, пошатываясь, укладывает на граммофон большую пластинку, потом приставляет к ней подвижную трубку с иглой. Пара секунд, и после короткого шипения начинается:

*Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожавшей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опустили их в вечный покой.*

*Осторожные зрители молча кутались в шубы,
И какая-то женщина с искаженным лицом
Целовала покойника в посиневшие губы
И швырнула в священника обручальным кольцом...*

*Но никто не додумался просто стать на колени
И сказать этим мальчикам, что в бездарной стране
Даже светлые подвиги — это только ступени
В бесконечные пропасти к недоступной весне!*

Маша заплакала, а мы с Антоном молчим.

— Не так, не так! — слышим ее голос сквозь слезы. — Не так, не всё безнадежно и бесполезно. Наша родина, отечество... Мы их прогоним! Наш государь, и князь Кутузов, и вся армия, и народ!

— Эх, Маша! — качает головой Антон. — Государь, Кутузов, народ — это нынче, это прямо сейчас, а потом, много потом... Ладно, помянем еще раз твоего мужа. Он хоть был не юнкером, а корнетом, но эта песня тоже про него. Памяти юнкеров, памяти корнетов, памяти всех, кто poleg и еще поляжет!

К удивлению моему, Маша делает еще глоток рома. Героическая женщина! Потом говорит:

— Антон, ты обязан просить у меня прощенья! Иначе... Иначе мы не друзья впредь, и я, хоть знаю тебя с детства, вычеркну твой образ из своей памяти.

Я поддакиваю:

— Ей-богу, Рябой, ты должен сделать это! Ну, не вызывать же мне тебя на дуэль!

Антон хохочет:

— Твоя правда — не вызывать! Ибо ты, душа моя, и стрелять-то не умеешь. Ведь никогда не стрелял, скажи?

— Скажу, да, не имел чести. А теперь, если надо... теперь, за честь Машеньки...

— А, вот в чем штука! — догадывается Рябой и расплывается, как блин на сковородке. — Ладно, коли так, ладно. — Он встает из-за стола и делает поклон, но с бокалом в руке. — Глубокоуважаемая госпожа Мария Федоровна, ваше сиятельство! Низжайше прошу принять извинения от вашего вечного обожателя, охальника, пьяницы и вообще низкого человека! Мотаясь сквозь столетия по обратному ходу времени, я многое потерял, но и немало приобрел, и главное, что я приобрел, это понимание смысла вещей и истинных ценностей, а потому и прошу простить меня, ибо я крохотен и низок, как пенс супротив шиллинга, а вы благородны и духовно высоки, как доллар супротив цента. Но мерило нас вовсе не деньги, конечно, это метафора, мерило нас — сама история, и она всех расставит по своим местам, а кому-то и вовсе не предоставит местечка, а безбилетником в поезде истории никак не поедешь, ссадят на первом же полустанке.

В продолжении этой ахиinei Маша смотрела на Антона и постепенно ее лицо окрасила улыбка. Когда тот иссяк и грохнулся в кресло, она говорит:

— Monsieur vous idiot, mais ce qu'il faut, qu'il en soit, pardonner.

Я тихонько смеюсь, а Антон, поведя плечами, вытягивает ко мне руку:

— Эй, дуэлянт хренов, переведи, а то я подзабыл по-ихнему!

Я делаю это с удовольствием:

— Если дословно, то почти так: «Вы дурень, месье, но что делать, так и быть, прощаю». Посему брякайся в ноги Машеньке и благодари ее, понял!

— Протрезвею, брякнусь непременно, — обещает Рябой, а потом глядит на Машу вполне серьезными глазами: — Неужто ты, свет мой ясный, за этого monsieur vous idiot пойдешь замуж?

Маша спокойно отвечает:

— Если он попросит моей руки, то вполне, пойду за него. Но при условии! — добавляет вдруг и подмигивает Антону. — При условии, что ты будешь у нас шафером!

— Я? — то ли радуется, то ли пугается он.

— Именно ты. Ты будешь держать венец над нашими головами при венчании. Так я хочу. А ты, Егорушка? — И Машенька смотрит на меня.

— Странно, но я тоже этого хочу, то есть, чтобы этот идиот держал наш венец, — произношу взволнованно. — Я этого еще тогда хотел, тогда!

Антон стучает пустым бокалом по столешнице:

— Что ж, если моя компания меня просит, то... то — да.

А я благодарно смотрю на Машеньку, потом встаю из-за стола и тут же опускаюсь на одно колено, беру ее за руку:

— Позволь в присутствии этого несносного враля, бретёра и так далее просить тебя принять меня в мужья на веки веков, ибо я люблю тебя сто лет, с тех давних пор, когда ты была еще совсем девочкой.

Маша улыбается:

— Я согласна принять тебе в мужья, Егорушка, согласна обвенчаться с тобой и дать клятву перед священником, а главное, перед Богом быть верной тебе и в радости, и в горестях, если они нас постигнут.

— Ладно, аминь! — дурачась, громко произносит Антон и тут же хлопает носом. — Что-то в носу чешется, а у меня чувствительность на всяческие миазмы, на чужеродные запахи.

Он поднимается и, стоя под абажуром, смотрит в окно, тянет носом воздух. И в сей момент, поскольку его лицо наконец оказывается в круге яркого света, я замечаю, что на нем, на его лице, нет никаких трупных пятен, а вместо них, как и прежде, как с самого детства, оспинки. Я не успеваю осмыслить эту метаморфозу (почему сейчас оспинки возвратились на место, а пятна смерти пропали), и потому не успеваю, что Антон кричит:

— Пожар, пожар, большой пожар!

Мы бросаемся к окну и видим зарево в той стороне, где за полями-лесами и косогором наш уездный город. А Антон говорит теперь спокойно, но с печалью:

— Да-да, уже ночь, а гроза будет к вечеру, как сказано. Значит, началось. Французы заняли Гжатск, разместились там, и народ поджег город. Ах, наш народ! Bravo! А гореть будет три дня. Весь город выгорит. Как и Москва потом. Привет, басурмане! — И смеется: — А я-то думаю, что это у меня в носу щиплет? Вот почему! Гарь, гарь, мой чуткий нос ее за все шесть верст учуял. Сейчас чихать начну, ей-ей! Большой платок мне дайте, платок!

И верно, начинает чихать — раз, другой, третий, и так еще и еще. Я даю ему салфетку со стола и говорю:

— На, высморкайся, а я сейчас принесу тебе мазь чудесную, помажешь внутри носа и всё утихнет.

— Что за мазь такая? — в перерыве между чиханием, сквозь проступившие слезы, спрашивает он.

— Специально от навязчивого чихания, как мне один мудрый врач сказал в Париже и дал впрок скляночку.

— Сен-Жермен? — догадывается Маша.

Я киваю и направляюсь в свою комнату, досказывая на ходу:

— Именно он. У меня самого такой чих бывает, особо по весне, когда цветение начинается и пыльца кругом летает. Сен-Жермен говорил, это от миазмов, правильно. А готовил он эту мазь, что-то извлекая из... только не пугайся, Антон, из мочи беременных кобыл.

Антон еще раз читает и округляет глаза в слезах:

— Чего-чего? Из мочи, да еще кобыл, да еще беременных?

— Это, должно быть, правильно: беременность щедра на пользу, — с видом знатока замечает Маша, — а то, что это от лошадей — ну и что, хорошие животные, понятливые и добрые.

Рябой что-то возражает, а я иду к себе и возвращаюсь со склянкой:

— На, держи. Высморкайся еще раз покрепче, окуни в склянку мизинец и потом обмажь им внутри ноздрей. Да не морщись, дуралей! Я каждую весну так делаю, и ничего, видишь, жив-здоров...

И вправду, минут через пять Антон принял обычный вид и не преминул выразить сожаление, что из-за долгого чихания совершенно протрезвел, по причине чего необходимо найти повод снова взяться за ром, ибо сей ром — настоящий ямайский, и не просто ямайский, а лучший — «Капитан Морган», а уж сей славный пират и его головорезы знали толк в этом напитке. В общем, он наполнил наши бокалы и тут же отыскал повод:

— Ясно, за кого мы обязаны выпить. За моего спасителя, человека, придумавшего эту чудодейственную мазь, хоть она и на основе мочи, прости меня, Господи, и ты, Машенька. За твоего Сен-Жермена, Егор!

Маша не стала пить и, пока мы с Антоном занимались этим делом, отошла к окну. Вскоре я услышал, что она тихо плачет.

— Прелесть моя! — Я подхожу к ней, обнимаю за плечи и привлекаю к себе. — Что с тобой?

Она кивает за окно, во тьму со сполохами вдали:

— Гжатск горит, горит. Всё сгорит. И дом мой сгорит. Я так и знала. Ничего нет у меня теперь, ни дома, ни средств. Кое-что было в земельном банке, так и банк сгорит тоже.

Как хорошо, что есть чем возразить!

— У тебя, моя любимая, много чего теперь. Вот дом твой, он здесь, ты в нем находишься, и средства есть — помнишь, я говорил тебе про мои тебе подарки из Парижа от Сен-Жермена. Этого нам надолго хватит. А к тому же я знаю кое-какие тайны. Например, тайну тех самых трех карт. Когда еще твой Пушкин про это напишет! А пока не написал, так я и сорву банк пару раз.

— А вот этого не надо, прошу тебя! — горячится Маша. — Пристрастишься, не дай бог, и однажды проиграешься крупно,

пустишь нас по миру. Дай слово, что не будешь играть! А тайну трех карт... пусть Пушкин визнает и пишет свою «Пиковую даму». Каждому свое. А нам тоже своего хватит.

— О чем разговор, компания? Позвольте полюбопытствовать? — ехидно проговаривает Антон, приблизившись к нам.

— Да о чем — о будущем, конечно, — вздыхаю я.

— И что? И чего ты печалишься? Всё будет хорошо, как всегда. Обвенчаются, например, как басурмане сгинут.

— А когда они сгинут, ты знаешь?

Рябой усмехается:

— А есть такое, чего я не знаю? Негу такого! Вот и про Наполеона. Сейчас, значит, у нас начало сентября. А в середине октября, после московского пожара, француз и драпанет восвояси. Так что немного терпеть нам придется.

— Постой, постой, — поднимает головку Маша и что-то обдумывает. — А какой дорогой они драпать будут?

— Ясно какой, — уверенно говорит Антон, — этой же, по которой сюда шли, по Старой Смоленской.

— Значит, и через Гжатск опять? — расширяет глаза Маша.

— Верней, через то, что от него осталось.

Она отмахивается:

— Да не в нем уж и дело! Дело в том, что, значит, и через это Черногубцево? Оно же вблизи!

Антон поводит плечами:

— Крюк, правда, с десяток верст, а зачем им крюк делать?

— А вот зачем, сейчас посмотрим. — Маша отворачивается от нас и, я вижу, расстегивает пуговички на блузке. Ясно, сейчас достанет свою волшебную тарелочку! И точно. Присаживается, укладывает ее на колени, запускает яблочко по кругу и смотрит, смотрит.

— Это что за чудо такое? — Антон заглядывает туда, но Маша только дергает плечиком:

— Не мешай! У тебя свои тайны со временем, у меня свои... Ага, вот как, значит. Груши... Отступая, Наполеон поручит Груши командовать всей своей кавалерией... Да, по Старой Смоленской... Ревматизм его будет мучить, иногда не сможет сидеть в седле... А как вернется с остатками армии в Париж, подаст рапорт об отставке по состоянию здоровья из-за, да-да,

ревматизма. — Маша поднимает голову: — Понимаете, из-за ревматизма! То есть ему очень нужна сенжерменовая мазь! Егор, он опять искать тебя будет! Нагрывает сюда в дом!

Антон ничего не понимает:

— Какая мазь? Опять из кобыльей мочи?

— Помолчи! — говорю я ему, а потом Маше: — Ты только не беспокойся! Во-первых, он уже понял, что меня здесь нет, меня и той самой мази, а во-вторых, если даже его конница приблизится к Черногубцеву, мы опять на черном ходу схоронимся, и всё! Нам только бы знать поточнее, когда они мимо поедут. А, Рябой?

Антон спокойно докладывает:

— Русская армия вновь вступит в Гжатск 2-го ноября 1812 года. — Делает паузу и продолжает несколько сконфуженно: — А вот какого числа перед тем оттуда уйдут французы, не знаю точно... ну, за день-два или три. Вот тогда и готовьтесь укрываться на черном ходу. Но думаю, Егор прав, они сюда не придут, им поспешать на Смоленск надо, там город несгоревший, целый, с запасом провианта, вот это и будет их главная задача — провиант, а не искать какую-то мазь в стороне в пустом доме.

Что ж, разумно Антон рассуждает, думаю я. А говорил, сенильный психоз, старческое слабоумие! Да и какой он старик вообще-то? Ну, был таким, даже с трупными пятнами, а сейчас — розовощекий мужчина средних лет с прежними оспинками на лице. Чудеса!

Похоже, что-то в этом роде подумалось и Маше, поскольку, помолчав, она спрашивает нашего друга:

— Скажи, Антоша, вот время. У меня — свои дела с ним, а у тебя как?

Помолчав и похмыкав, Рябой начинает говорить, и рассказывает, рассказывает, но, если честно, на месте Маши я и сам понял бы не всё из его слов, если б не знал кое-чего существенно. Поэтому перебиваю его и прошу:

— Антон, объясни проще и яснее, как мне когда-то! Про философский подарок, про те самые часы!

Он смотрит на меня, потом хлопает себя по ляжкам:

— Точно! Как это я забыл! А потому забыл, что давно не пил. Сейчас... Э, где мой добрый старый ром?

Виртуозно опрокинув в глотку сразу полбокала, он простежки отирает рукавом мокрые губы и говорит Маше:

— Княгиня, слушайте сюда! Что такое философский подарок — знаешь? Если посмотреть анфас — точка, а если в профиль — линия. Что это? Подзорная труба или калейдоскоп, но особенные. Это и есть философский подарок, как сказал мне баал крия. А баал крия, если с иврита, — это специальный служитель в синагоге, а та синагога находится в городе Праге и называется Староновой синагогой. Там баал крия сказал мне, процитировал что-то откуда-то или сам придумал, не знаю, но вот что он сказал:

«Бездна призывает, зная имя Давид, потому и не пошевелит языком пёс».

Так баал крия сказал мне, а потом стал говорить про философский подарок. А теперь я говорю, слушай.

Например, калейдоскоп. Детская игрушка, да? А вот и нет. В той синагоге есть такой калейдоскоп — маленькая подзорная труба, но глянешь через нее на свет, вращая трубу, и время перевернется, изменится. Было сегодня, а стало вчера, или сто лет тому назад, или много больше, и ты оказываешься там, в другом времени, причем оказываешься там как свой, а не чужак или пришелец. Вот и я так. Сейчас я здесь, в сейчас, а вообще-то я из далекого завтра, ну, которое лет через двести. И вас, мою компанию, с собой прихватываю, это мне просто, таскать вас за собою. Поняла, Маша? Не поняла, вижу. Ладно, слушай дальше.

Есть часы с обратным ходом времени и есть Голем. Это всё там же, в той синагоге. Особое место на нашей земле. В Праге. Там, в центре старого города, издавна селились евреи, в одном квартале, кучно, по типу гетто. Так и называлось — «Жидовски место». Естественно, там были и синагоги. Но в 17-м веке построили особую синагогу — после того, как город осадили шведы и евреи наравне с пражанами храбро защищали Прагу. В благодарность за это король Фердинанд Третий дал евреям особую привилегию — разрешил построить еще одну синагогу. Они и построили. И на башне появились удивительные часы, такие часы, где стрелки движутся обратно, наоборот, и цифры

стоят наоборот. Иначе говоря, это часы с обратным ходом, обратным счетом времени. И если подолгу смотреть на эти часы, то можно помолодеть душой и вернуться в счастливые времена. А если навести на эти часы тот самый калейдоскоп-подзорную трубу, то можно попасть туда, куда тебе нужно.

А, вот еще что! Цифры на тех часах тоже удивительные. Ну, то, что они расположены наоборот, я уже сказал. Но сами цифры — это не цифры в нашем понимании, а буквы. Почему? А потому, что так на древнееврейском, на иврите. Для записи чисел они используют все буквы своего алфавита: 1 — буква «алеф», 2 — «бет», 3 — «гимель» и так далее. Вот такие часы — часы наоборот, где стрелки идут в обратную сторону, то есть против часовой стрелки, и с цифрами, которые буквы.

Вообще эти часы — давняя тема философов, поэтов и писателей. Чего только они не напридумали по этому поводу! И что? Говорят, некоторым повезло — вот, как и мне, например: путешествовать по временам, но не в качестве туриста или гостя, а взаправду быть там своим. А можно и возродиться каждые тридцать три года.

— Вот-вот, про это расскажи! — напоминаю я Антону. — Это чудесная история, Машенька!

Он кивает:

— Спасибо, что напомнил, а то у меня склероз. Шутка. Так вот, барышня-княгиня с генами будущего декабриста и будущая жена моего чумного друга Егора, это история про Голема. Его создал в той же Староновой синагоге некий раввин, какой-то Иуда бен... дальше забыл. Тот Иуда бен был знаменитым талмудистом и каббалистом, а по должности — главным раввином Праги. Значит, создал он Голема, а Голем — это глиняный человек, на иврите — «необработанный, сырой». Он до сих пор покоится на чердаке башни, возрождаясь каждые тридцать три года. А если тебя допустят до него, он то же может сделать и тобой. При условии, если ты ему понравишься, а если нет...

Я-то ему понравился, а во время Второй Мировой, когда немцы оккупировали Прагу, один фашистский офицер из службы безопасности Рейха, жуткий антисемит, как тому и положено, поднялся на чердак и попытался ударить Голема, но при этом погиб. Всего-навсего! Это документальный факт. Погиб фашист

в той самой синагоге, его нашли бездыханным, а ни один еврей к нему не прикасался!

В общем, с тех пор я многое могу. Главное, это калейдоскоп-подзорная труба. Она при мне, то есть сейчас не с собой, а в одном тайном месте. Да, Егор? — подмигивает он мне. — У каждого нормального человека должно быть свое тайное место. У тебя — черный ход, у меня... ну да ладно, это вам знать не положено, это, по договору-уговору, только моя тайна.

Была уже глубокая ночь, но мы с Машей вышли в сад, чтобы перед сном подышать свежим осенним воздухом. А Антон Рябой, любитель рома, задрях где-то в доме.

Мы стояли и смотрели на звезды. Много звезд было над нами. И ночь ясная-ясная, без облачка на небе. Вот только к востоку от нас, за косогором в лесах, так и стояло зарево пожара. Это продолжал гореть Гжатск, будущий город Гагарин, но до будущего с полетами в космос нам было далеко отсюда, сейчас у нас шла Отечественная война, а еще свершилась наша любовь, и Машенька Щербатова, моя тайная влюбленность с детства, наконец-то должна была стать мне женой, моей женщиной. Вот только когда случится это? Теперь война, а значит, не до венчаний.

Так я и сказал Маше, при том вздохув:

— Когда случится это? Теперь война, а значит, не до венчаний.

Она обернулась ко мне, обняла, прижалась.

— Пойдем в дом, и я приду к тебе в комнату. На ночь. Мы станем близки сейчас, а то, да, когда еще будет наше венчание? Это ж несколько месяцев, пока схоронят павших, пока всё отстроят заново, новые колокола на церквах будут, батюшки службы опять начнут. Это слишком долго, а я хочу сейчас. Мы имеем право любить сейчас и всегда. В конце концов, все на месте: жених есть, невеста есть, и даже шафер есть, хотя в сей момент он дрыхнет, пьяный.

АРМУШ И АНТАНТА

Душа есть странствующее число, переходящее из одной оболочки в другую.

(Из заповедей пифагорейства, VI век до н.э.)

Павлу Черношвигу

Всё смешалось в этом богоугодном мире, чего совсем не предвидел Владыка, да простим ему.

Люди — как птицы: в осеннее безвременье, почувствовав беспокойство, они мигрируют в поиске очередной своей вечности. Кто с юга на север, кто, напротив, с севера на юг. А некоторые влекомы не по меридианальным указкам, а исключительно вдоль параллелей. Хотя есть и такие, в жизненном коде которых не записано строгое направление; их судьба — подчиняться всеильному числу «четыре»: в одну эпоху — на север или запад, в другую — на юг или восток.

А кто они? Ну да, пифагорейцы! Это их души переселяются туда-обратно, что и получило название «метемпсихоз». Красиво, но верно, как и многое у античных греков, тем более среди почитателей чисел. Теперь они редки, но всегда среди остальных прочих. Они слышат гармонию сфер, и число «четыре» для них есть призыв к поиску своей вечности. Это — магический треугольник, и надо только его найти, где «четыре» — одна из сторон, но определяющая. Тогда и построится треугольник прямоугольный (три-четыре-пять). Тогда и отыщешь необходи-

мое: куда лететь-спешить, где кого-что искать. Сие есть знаковое место в нашем повествовании.

Край, который решил дебютировать в нашем повествовании как некая преамбула, теперь выхолаживается рано, и уже в середине сентября набирает силу большой перелет. Вдоль Онеги, Двины, Мезени и других тугих северных рек, к их верховьям и дальше на юг, тянутся стаи журавлей, красавок, аистов, уток и прочих пернатых, а им навстречу, в Приполярье, тяжело волооча на крыльях вату туманов и мелкую изморозь облаков, отмахиваются от земного притяжения большие серые гуси; эти последние уже преодолели большую часть пути, начавшегося из Африки, или Ближнего Востока, или Средиземноморья, и теперь их, усталых, оголодавших, тех, кто выдержал тяжкое странствие, ничто не сможет отвернуть от цели, от вечности.

Они летят навстречу друг другу на разных высотах, и значит, никак не пересекаются. Одни на юг, другие на север. Это непесекающееся переселение птиц, эта строгая геометрия их маршрутов (все-таки скорее стереометрия), еще в юности заставила Армика, тогда жителя Архангела, задуматься о главном.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ЕРШАЛАИМ

Старый Армуш уже издавна в Ершалаиме, и его дом — это шук. Шук, или сук по-арабски, значит базар, рынок, а вообще-то, если точно, круг. Геометрия снова! Ровное пространство меж всякими постройками, и на нем с раннего утра до захода светила — столпотворенье. Разноязычные местные, какие-то пришлые торговцы, редкие паломники из всеми забытых земель, но более всего теперь здесь толкаются те, кого называют туристами: европейские бездельники в легких шляпах от палящего солнца и, как правило в шортах, даже старухи, вовсе не стесняющиеся своих жирных дряблых ляжек. Они галдят, кри-

чат, нелепо торгуясь, и Армуш, сидящий на шукке в центре своего ковра, сразу отворачивается, чтобы не видеть эти противные голые ляжки и не подавать виду, что он понимает речи на английском, немецком или итальянском. Он многое понимает и многое знает, и потому главное — не подавать виду...

Старый Армуш с раннего утра сидит на шукке в центре своего старого ковра, и кто из них старше, ведомо только ветхозаветному Владыке, с коим, между нами, Армуш в непростых отношениях. Но это деталь. Чуть поодаль от ковра стоит опять же старая одинокая повозка (одинокая — то есть без осла), на днище которой всяким вечером Армуш укладывает предметы своей небойкой торговли древностями — все, кроме одного. Ковер пустеет, и еще через пару часов, отужинав за полдрахмы в ближней лавке горячей лепешкой с кружкой овечьего молока, Армуш прямо там же, где торговал, на остывающей каменистой земле, завертывается в свой старый ковер. Владыка, да простим ему, указал вечному Ершалаиму построиться не у теплого моря, а вдалеке от него, в трех днях пути (в трех, если, конечно, в повозку впрячь осла), да ладно, что вдалеке, а вот еще и на высоте восьмиста метров, на холмах, а это значит, что, начиная с месяца кислев и до месяца нисана, город окутан сырым холодом.

Старый Армуш завертывается в старый ковер, и чем более холодает, тем всё больше оборотов делает вместе с ним; в конце концов, ближе к нисану, в центре шукки значится свернутый в рулон грязный ковер, а то, что внутри него спит человек, знают только ночующие здесь же местные торговцы.

Но в этом рулоне, будто в коконе, Армуш ночует не один. Выше сказано, что, закончив очередной торговый день, старик укладывает на днище кривой повозки все свои древности, кроме одной. Да и древность ли она — поди теперь определи ее возраст? Ну да ладно. Короче, это подсвечник. Бронзовый, несомненно, на высокой витой ножке, с четырьмя чашами для свечей, три с боков, одна будто бы в центре. Вот это и странность: поставлены эти чаши явно несимметрично, будто с намеренным перекосом, но тем не менее подсвечник упорно не валится, несмотря на странную вертикаль всей этой выделки на небольшом треугольном подножии.

Значит, сложив древности в повозку, старый Армуш забирает подсвечник с собой, ужинает и, готовясь в центре притихшего ночного шука совершить почти цирковые кульбиты вместе с ковром, крепко сжимает сей странный предмет в левой ладони. Потом крепко спит. По зиме над ним проплывают белесые равные облака, низко, грозя задеть, и порой сеет холодный дождь. Однако скоро очередной нисан, а после — очередная огнедышащая жара, особенно в хамсин, весной и осенью, когда из каменной пустыни Негев, что южнее, приплывают раскаленные потоки воздуха. В такие дни шук пустеет, и Армуш дремлет в тени под повозкой. А в другое время он пытается торговать, сидя в центре пыльного выцветшего ковра, и это длится уже не одно столетье...

На большом ковре расставлено множество предметов, да так, что свободного места между ними, кажется, не сыщешь. Тут есть чему подивиться, особенно знатоку. Но последние приходят на шук крайне редко, не в пример горлающим туристам, ну а местным или паломникам Армушевы древности совсем не нужны. Что до туристов, то им следовало бы объяснять, какие сокровища перед ними, — тогда торговля пошла бы бойче, но хозяин ковра неразговорчив: он многое знает, и потому главное — не подавать виду. Он всё ждет одного человека, однако тот не появляется.

Жарко, душно, лучи светила дробятся, выплясывая на поверхностях бронзы, позолоты, почерневшего серебра, камней, и под прикрытыми веками Армуша плавают бесчисленные радуги. Эта — от фрагмента нагрудной пластины мумии Тутанхамона, эта — от перекупленной у Шлимана горсти монет из сокровищ троянского царя Приама, эта — от нитей ажурного ожерелья несомненно знатной скифской дамы, эта — от алмазной пуговицы русского графа Орлова, которую он и не вздумал поднимать с пола, когда, будучи с посольством где-то в Европе, намеренно резко дернул на груди полы кафтана. И так далее, и так далее. Монеты, бусы, ожерелья, оклады, части амфор и даже целые амфоры, мелкая античная керамика, луковицы старинных часов, бронзовые пепельницы, всяческие женские безделушки, шкатулки с инкрустациями, портмоне с нитями жемчуга... Где

всё это собрал Армуш — не нашего ума дело; прожил он уже предостаточно, и для него что одна эпоха, что две или пять — дело привычное, хоть и тяжкое, и нам, заиклено бегущим по узкоколейке быта всего-то шестьдесят-семьдесят лет, можно глядеть на него как на вполне мифическое создание.

Да вот незадача: покупают у него редко. То ли не верят, что на ковре разложены отнюдь не подделки, то ли смущает сам вид неразговорчивого старика, похожего на мумию. Однако когда вдруг объявляется достойный покупатель, эта мумия довольно ловко вскакивает в центре своего ковра и так же ловко, но отнюдь не подобострастно, с достоинством, следует к заинтересованному гостю. Остается лишь дивиться, как ловко старый Армуш делает это, то есть пересекает ковер по диагонали, чтобы оказаться рядом с клиентом: за считанные секунды, будто балерина на пуантах, а то, если угодно, как юноша-газель, он совершает сей маршрут, ни разу не наступив на разложенные древности, хотя там, на ковре, и места-то свободного нету. В общем, уму непостижимо — ведь совсем старик все-таки!

Достигнув края ковра, Армуш всегда встает к покупателю боком. Нет, это не презрение или неуважение: одним глазом он видит подошедшего к нему человека, а другим — свой драгоценный подсвечник, оставшийся стоять в центре ковра среди прочих соблазнов. Подсвечник дороже всего, и без присмотра хозяина ему никак нельзя.

Впрочем, однажды случается странность, не имеющая отношения к предмету, о коем речь. В некий день, среди жаркого сиянья, в тяжком мареве, Армуш видит подошедшую к его коврау пожилую женщину, и она сразу привлекает вниманье. Кажется, местная, без паранджи и чачвана, в невзрачной кофте с длинными рукавами и длинной же, до пят, юбке-размахайке. Вот то, что без чачвана, — тут важно: несмотря на марево, Армушу удастся разглядеть ее старческое лицо, и он силится вспомнить, где и когда его видел. Нет, не год или два назад, а много-много раньше, когда эта женщина была ослепительно молодой, а то и совсем юной. Дело в том, что еще в молодости Армуш обнаружил в себе странную особенность, да не просто странную, а неприятную, навязчивую: случайно разглядев лицо

юной женщины, и именно красивое лицо, он тут же представлял себе, каким оно будет в старости, причем во всех мелких деталях. Однако и наоборот: лицо попавшейся на глаза старухи преобразалось в ее портрет ранней молодости. Эта навязчивость поначалу выводила Армуша из себя, но потом он смирился с этим, как и со многим.

А тут, вот странно, не выходит, причем впервые: лицо старухи никак не преобразается в юное или молодое. Проходят две секунды, три (вполне достаточно, чтобы случилось привычное преобразование во времени, в данном случае — назад), но нет, никак! И будто разочаровавшись в этой самой Армушевой способности, старуха резко поворачивается к нему спиной и исчезает. Армуш только крикает и в сердцах шепчет по-северному: «Шайтан попутал!..»

Однако вернемся к покуда главному. Раз пять или шесть за последнее столетье, да и прежде, подсвечник привлекал внимание. Начиналось привычное: «Хозяин, ну-ка дай посмотреть эту вещь, иди сюда с ней, иди, чего сидишь!» — но Армуш только поводит головой, рассеянно глядел в слепящие небеса, моргал и утирал влагу в углах глаз. Однажды, как по волшебству, из воздуха образовался средних лет перс и, тыча кривым пальцем в подсвечник, а потом на ковер, заговорил на фарси. «Старик, это у тебя что — ковер-самолет? Я покупаю его, сбрось с него всё, оставь только вот ту штуковину, которая у тебя под коленкой. Много даю и сразу улетаю». — «Иди своей дорогой, фарс, — на том же наречии ответил Армуш, не изменив позы. — Ты обознался: это не ковер-самолет, а под моей коленкой ничего нет». Глянул в слепящие небеса и больше не проронил ни слова.

Этот подсвечник не продается. Он стоит в центре ковра рядом с сидящим хозяином, а по ночам покоится в его ладони. Армуш ждет — долго ждет, несколько жизней прошло, — что когда-то за подсвечником, нарочито выставленным напоказ, явится вполне определенный человек. Но тот не является.

Вместо него является другой человек, к вечеру, когда Армуш уже убирает свой антиквариат в повозку. Быстро темнеет, шук

почти опустел. Пожилой господин в потертом камзоле и низкой черной шляпе, опоясанной черной же муаровой лентой с маленьким значком в виде буквы «О» в центре, сразу же привлекает внимание. «га, середина семнадцатого века, флот королевы... или короля... кто тогда управлял Англией? Память, память! Всё смешалось в этом богоугодном мире!»

Кряхтя, Армуш совершает очередную ходку к повозке (подсвечник уже у него в руке) и как бы ненароком оказывается возле пришельца.

— Фигурка, что на вашей шляпе, она из золота, сэр? — вопрошает на английском. — Тот в ответ только кивает. — Но этим знаком, если он из золота, насколько мне известно, — продолжает хозяин ковра, — достаивались только избранные. У остальных — серебро с позолотой, а то и медь.

Пришелец вновь кивает, а Армуш ждет. И наконец слышит на английском, но с явным акцентом:

— Хотите купить? Нет, сей знак не продается. Это единственное, что у меня осталось.

— Понимаю, понимаю, — теперь кивает Армуш. — Единственное, да, это мне знакомо... Значит, сэр, вы — избранный?

— Я был приближенным адмирала. Не по чину, а по сути. Он мне доверял.

Армуш чувствует, как вокруг него сгущается воздух, хотя жара спала. А тут еще его гость указывает на зажатый в ладони подсвечник и вопрошает спокойно, даже безразлично, да нет, скорее устало:

— Это он? Если так, значит, я его нашел наконец. О, Господь, ты все-таки есть!

— Вы уверены, сэр? — шепчет Армуш.

— Три, четыре, пять, — будто заученно проговаривает странный англичанин. — Прямоугольный треугольник, магический. Подсвечник покойного адмирала Генри Моргана.

— Покойного? — чуть ли не вскрикивает Армуш.

Они сидят под навесом в открытом кафе позади шука. Армуш мелко попивает апельсиновый сок, а его гость справился уже со второй кашкой кофе. Через голову Армуша перекинут ремешок холщовой сумки, в коей покоится драгоценный подсвечник.

— Это моя, может быть, последняя слабость — крепкий сладкий кофе, — вздыхает сосед в потертом флотском камзоле. Только сейчас, оказавшись в освещенном помещении, Армуш разглядел, насколько нездоров цвет его морщинистого лица и высохших ладоней: какой-то желтоватый, шафрановый. — Да, крепкий сладкий кофе, — явно с удовольствием повторяет желтоватый старик, — а еще, простите, пососать кубинскую сигару. Как хорошо! Я пристрастился к этому после экспедиций под английским флагом, а точнее, пиратских набегов на Кубу, Венесуэлу и прочие тамошние страны. Воевали с испанцами за господство в Вест-Индии и южнее. Да вы, конечно, всё знаете и так.

— Более или менее, — отвечает Армуш.

— Не скромничайте... Ладно, пора мне и представиться вам, уважаемый господин. Моя фамилия — Довер, я француз. Вы говорите по-французски? Да? Ну и пусть, что не слишком хорошо, но окажите милость, а то я истосковался по родному языку за эти чертовы столетья.

— Значит, я буду называть вас месье? Месье Довер, так?

— Спасибо, весьма признателен, — Довер сразу переходит на французский и затем машет официантке: — Еще чашечку кофе с сахаром! А ром у вас есть, ямайский? Ну, тогда две капли рома в кофе. — Это звучит на иврите, а потом вновь возникает французская речь: — Э, начало моей истории...

— Погодите! — перебивает Армуш: его будто что-то осенило. — Ваша фамилия... я где-то ее слышал. Нет, всё смешалось в богоугодном мире моей памяти!.. Довер... Стоп! Это имеет отношение к медицине?

Сидящий напротив старика Армуша старик Довер улыбается:

— У вас всё в порядке с памятью, милейший, хотя, как я догадываюсь, вы куда старше меня. Только одна деталь: это имеет отношение к медицине не светской, а пиратской.

— Всё, молчу! Извините, что перебил.

— Не стоит извинений, месье. Спасибо, что вспомнили... Хорошо, слушайте. Я — из среднего сословия, окончил Сорбонну, бакалавр, а затем и магистр медицины по курсам хирургии и фармакопеи. Пару лет пытался организовать частную практику, но без толка. В общем, не то что бедствовал, а все-таки нужда. И еще влюбился без памяти, но денег даже на свадьбу не хватило бы. Что делать? Решил пойти на флот, врачом, а контракт предложили хороший. Два-три года, думал... В ходе первого же плавания мой фрегат прибыл на Канары, а там залечивал раны испанский галион после стычки с англичанами, и его капитан пополнял команду. Короче говоря, тихий француз Довер стал врачом у драчливых испанцев. Причина? Глупец, дурак! На море, особенно в Вест-Индии, не утихало англо-испанское противостояние, и значит, риск преогромный, но деньги предложили какие! Ах, деньги! Глупец.

Меня взял в плен сам Морган — спасибо Пресвятой Деве, хоть тут повезло! Галион взорвали, я бросился в воду, но пираты выловили меня, как и прочих, и кинули к ногам победителя. Его не интересовали жизни пленных, его интересовали их деньги. Красавец, тридцатипятилетний адмирал на службе Ее величества на Ямайке, предводитель всего пиратства на Карибах и в их окрестностях. А у меня мелкие гроши за душой. «о перед вами врач, причем хороший врач, — гордо ответил я, глянув в его нахальные глаза». — «Ампутировать умеешь?» — «В том числе. Но это не главное. Главное — вылечивать раненых, Ваше превосходительство», — кое-как удалось мне выговорить на корявом английском. Морган криво усмехнулся и махнул рукой в сторону трюма: «Заковать пока, а там посмотрим». Остальных же повесили на реях...

Он спас мне жизнь, а я платил ему усердным врачеванием и, простите за похвальбу, много в том преуспел. Черт побери, я себя хорошо чувствовал! Как это? Знаете, когда еще студентом

я жил в Латинском квартале, одна миленькая проститутка мне сказала: «Я знаю, что это грех, но мое дело мне нравится». Вот так же и я: нет, никого не убивал, но жил среди пиратов и, значит, был пиратом, порою пользовался плененными женщинами, естественно, без их на то встречного желания. В общем, был грешником, однако дело мое, мое отчаянное врачевание, мне нравилось. Я, правда, много преуспел.

Сначала плавал на одном из кораблей флота Моргана, а вскоре адмирал перевел меня к себе на флагман. Год, два, три, и мы стали, нет, не друзьями, потому что он никогда никому не доверял и друзей у него не было. А к тому же я для него еще, считайте, юнец, десять лет разницы все-таки. Но между нами возникли отношения деловые и спокойные. Хотя я несколько приврал: когда я его лечил, он мне доверял. Ведь мало ли чего я в декокт подмешаю! Ан нет, пил спокойно и сразу. В общем, я стал его личным врачом, помимо того, конечно, что всеми возможными способами лечил моих пиратиков на нашем флагмане и участвовал с ними в королевских экспедициях в Мексике, Никарагуа и опять на Кубе. Тяжело это было — экспедиции, но деваться некуда, а деньги я уже не считал: десять раз жениться было можно, да как-то я потерял к этому интерес. Вот еще и такой мой грех, милейший.

Да, забыл вам сказать, что адмирал Морган, этот беспощадный хитрый пират, наводивший ужас на испанцев, к тому времени был уже губернатором Ямайки и имел в своем распоряжении очень сильный флот. Понятно, какие деньги е нему текли? Да и не только деньги — сокровища, клады! Но о них позже.

Вот вы вспомнили обо мне, потому что, врачую и забыв, что, по сути, пленный, я кое-что изобрел. Это «кое-что» действительно вошло в историю медицины. Пусть мелочь, но все-таки. Да и не мелочь по тем временам. «Доверов порошок», помните? И не хлопайте себя по лбу, милейший, это и впрямь его изобрел я, имею честь представиться — перед вами именно тот самый Довер собственной персоной!.. Да, обезболивающее средство, анальгетик, легкий наркотик, но не вызывающий зависимости. Сколько жизней я спас, выхаживая почти безнадежных моих пиратиков! А в чем заключалось дело? Найти такое растение,

сок которого способен обезболить. Я знал, что такое растение существует, не может не существовать в природе, иначе человечество еще в древние времена не выжило бы.

И я его нашел — на горных лугах Южной Америки, в ходе одной из наших экспедиций. Конечно, интуитивно, пробуя на раненых то одно, то другое — то есть сугубо эмпирически, вы понимаете? Млечный сок, в котором содержится некий опиат... А далее — дело аптекарского искусства: высушить, смешать с другими составляющими, приготовить порошок. *Pulvis Doveri* — именно так это название вошло в фармакологические учебники прошлых времен, в том числе на медицинском факультете моей Сорбонны. Вот уж уронили бы слезу тамошние «профессорен», узнав, что сей порошок изобрел их питомец врач-пират!

Ну и наконец, вот об этом, чтобы перейти к главному. — Тут Довер прихватывает желтоватыми пальцами шляпу, уложенную им на соседнем стуле, и ласково оглаживает сверкающий на черной муаровой ленте значок в виде буквы «О». — Действительно золото, — кивает он привычно. — И какое золото! Из сокровища ацтеков. Ну, одного из их кладов. Это в Мексике, там наша братия во главе с адмиралом удачно поживилась в тот год. Эти золотые знаки он вручил близким ему подчиненным, мне тоже. А ваш подсвечник — оттуда же, но он из бронзы. У вас, милейший, подсвечник Моргана, но это — подсвечник ацтеков. Ну, так сказать, ацтеков, то есть взятый у них. И с ним связан один секрет, главный, да...

В ночном кафе, что позади шука, повисает тишина. В черном небе выпирают библейские звезды. Через пару минут Армуш говорит:

— То, что это подсвечник Моргана, я знаю, а про ацтеков — нет. Хотя можно было и догадаться старому дураку.

— Не корите себя, месье, это теперь лишнее. Мы остались одни, ни тех ацтеков, ни Моргана уже нет. — Довер вздыхает, но вдруг улыбается: — Я хоть и старый пират, но и старый врач, потому спрашиваю: мои речи еще не утомили вас, на ночь-то глядя?

— А что, вы устали?

— Догадались. Я все эти годы на ногах с утра. Почему, ну и прочее, главное, давайте отложим на завтра, хорошо? Я приду опять же к вечеру. Вот и славно, что не возражаете. — Он тяжело поднимается, надевает шляпу и протягивает руку. — Рад был познакомиться, искренне рад. А кстати, — удивляется вдруг, — вы так и не представились, вот забавно-то! Как вас величать?

— Армуш, — отвечает Армуш.

— Армуш? Что за странное имя?

— Да нет, не странное, просто всеми позабытое. Мои давние предки — Армуши, или Арамуши, жили на склонах Арарата. Может, выходцы из Ковчега, кто их знает.

Главное, ничему не удивляться и не подавать виду, убеждает себя Армуш на шуке, уже завернувшись в свой ковер. Потому что Морган должен быть жив. Как это — его нет на свете? А для кого я веками храню подсвечник? Хотя многое из того, что наговорил Довер — про карибское пиратство и про свой знаменитый порошок, — это правда. А вот про ацтеков... Они не знали бронзы, и как же среди их сокровищ могла оказаться бронзовая вещь? Золотая, да, из серебра, да, но никак не бронзовая! Э, меня не обманешь, тут что-то не так... Ладно, посмотрим. Конечно, не мешало бы спросить, где этот месье остановился в Ершалаиме, но нет, никаких лишних вопросов! Ведь и он не спросил, где я тут ночую. Что ж, посмотрим, что он расскажет завтра...

Назавтра, уже в сумерках, они сидят в том же кафе за тем же столиком. Через голову одного из стариков перекинут ремешок холщовой сумки, в коей подсвечник, а черная шляпа другого с золотым значком в виде буквы «О» покоится рядом на стуле. Довер опять пьет сладкий кофе с двумя каплями ямайского рома, а в промежутках между мелкими глотками посасывает кончик давно потухшей кубинской сигары.

— Не сомневаюсь, месье Армуш, — начинает Довер, — что ваша история не менее интересна и драматична, чем моя, но о

вашей истории я не спрашиваю, потому что должен успеть поведать вам свою. Поскольку это, да-да, и ваша история, в чем вы убедитесь, — добавляет он, покивав, как обычно.

— Рассказывайте, месье Довер, я весь вниманье и доверье.

— Спасибо. Я очень надеялся, что если все-таки найду... что этот человек будет мне доверять... Так вот, чтобы вы мне доверяли.

Много позже (к этому я еще вернусь) мне стало известно, что подсвечник Моргана, который сейчас при вас, к ацтекам не имеет никакого отношения — ну, разве кроме самого факта изъятия у них этой вещицы в числе прочих сокровищ, когда Морган орудовал в Мексике. Подсвечник-то действительно бронзовый, а ацтеки бронзы не знали. Артефакт, черт побери! Не сомневаюсь, месье Армуш, вы еще вчера об этом догадались. Да?

Армуш даже смущается. Дело не в похвале, дело в том, что этот Довер ему почему-то симпатичен.

— Ну, точно! — И француз эмоционально хлопает в ладоши. — Но это, то есть про бронзу, артефакт номер один, а вот второй... Второй в том, что у ацтеков не было подсвечников. Оп-ля!

— То есть? — явно недоумевает Армуш.

— О, вот об этом вы не знали, так? Так, так, вам всё известно про драгоценности, но не всё про историю человека. Я и сам такой же дилетант, и то, что вы сейчас услышите, узнал, повторяю, много лет спустя, а от кого — потом, потом... Значит, повторяю: у ацтеков не было подсвечников, потому что они не знали свечей. Все-то! Пользовались факелами и масляными светильниками, как и прочие народы в Новом Свете. Свечи же стали выделывать европейские монахи в раннем средневековье, отливая их из растопленного сала. В общем, этот подсвечник — и как предмет назначения, и как материал, из которого он изготовлен, — сугубо европейского происхождения, и попал он в Америку либо вскоре после Колумба, либо... ну, теперь ведь почти доказано, что кто-то пересекал Атлантику и до него.

— А Морган знал обо всем этом? — не выдерживает Армуш.

Довер кивает, затем поднимает указательный палец:

— Знал, хотя и не сразу. Потерпите, я дойду до этого места. — И улыбается грустно. — Надеюсь, теперь вы во мне не сомневаетесь? Это действительно подсвечник адмирала Моргана, мечущуюся душу которого, надеюсь, упокоил Господь, и я таки нашел сей предмет, наконец-то нашел, но... но, месье Армуш, я никак не претендую на него. Ни покупать, ни, о Господи, выкрадывать не намерен. Во-первых, потому, что, хоть и был пиратом, никогда не брал чужого, а во-вторых, теперь он, подсвечник Моргана, мне уже не нужен. *Finita la comedia!* К сожаленью. Да нет, к счастью: сколько ж можно!

— Можно долго, — вздыхает Армуш. — Но я слушаю вас дальше.

— Дальше. Вы прекрасно знаете, что история человечества полнится легендами, вымыслами, иногда преднамеренным враньем, а правда встречается куда как редко. То же относится и конкретно к адмиралу-пирату Моргану. Поверьте, я тому пока еще живой свидетель! Отсюда: многое из того, что написано про него в разных современных книгах и справочниках, это если не полная чушь, то что-то в этом роде, особенно когда речь идет о последнем периоде жизни адмирала.

Это началось, как сейчас помню, в 1672 году. Англия внезапно заключила мир с Испанией, и Моргана срочно отозвали из Вест-Индии в метрополию, где, по тайным сведениям, его намеревались бросить в тюрьму как пирата. Воистину, от королевского трона или кресла губернатора до эшафота — всего один шаг.

Вот с этого момента и начинается чистейшее историческое вранье, которое, несомненно, было выгодно двору, а именно: будто прибывшего в Лондон Моргана действительно ожидала казнь, но лишь вмешательство короля спасло жизнь опальному адмиралу и, мало того, по совокупности заслуг перед короной, он получил рыцарское звание. Как теперь говорят, *happy end*. Чушь, никакого счастливого конца не было!

Хитрый лис, Морган имел осведомителей где угодно в Вест-Индии и даже в метрополии, щедро оплачивая их усердие. Получив вызов из Англии, он уже знал, что его ожидает, но сделал вид, что подчиняется. Об этом я догадался через некоторое время, а пока... Пока он погрузился на корабль с небольшой, но отобранной командой своих подельников и взял курс на восток. Я был среди этой команды и, честно говоря, поначалу недоумевал, зачем понадобился адмиралу: ведь последний, кто уже вскоре будет при нем, — вовсе не врач, а палач.

Мы плыли через Атлантику, но всё более отклонялись к юго-востоку, и вот вместо английского Портсмута перед нами маячила ненавистная Испания. Морган, я понял, как всегда, задумал нечто такое-эдакое, чтобы обдурить всех. Именно! Потому что тогда адмирал и приоткрылся мне в первый раз: никакой Англии, раз, войти в Средиземное море, два, и там, где-то среди пустыющих побережий, спрятать сокровища ацтеков, это три. Вот они — и Морган указал мне на окованные сундуки под койкой в его каюте. А дальше, спросил я? Он спокойно ответил: уплывем хоть на край света, а через годы, когда наш король предстанет перед Господом, вернемся, отроем сокровища, всё разделим, как тому положено, — и домой, в Англию; я не знаю куда ты, Довер, усмехнулся он, наверное, в свою задрипанную Францию, а я к себе в Уэльс. Покою захотелось, навоевался, стану банкиром, черт возьми... А в то время ему было лишь под сорок.

Кстати, о тех двух сундуках под койкой. В одном из них был и ваш... простите, моргановский подсвечник. Но тогда я не думал о каком-то подсвечнике! Эта вещь всплыла в моей жизни существенно позже — как теперь говорят, в следующей серии нашего кино. Да уж, кино!.. Ладно, теперь дальше.

Глухой ночью мы прошли Гибралтар под носом у испанцев и взяли курс на Мальту. Там запаслись провизией, пресной водой, быстро отплыли и вскоре, держа в виду пустынные побережья, стали дрейфовать по Адриатике. К Венеции Морган и не думал приближаться — он искал береговую глушь, поэтому мы смещались на зюйд-ост. Впереди была Греция, а между ней и Италией — будто бы ничейная земля. Один из наших героев, тогда

исполнявший роль лоцмана, сказал Моргану: «Адмирал, сэр, у меня нет точной карты этого побережья, но на той, которая есть, обозначен, глядите-ка, полуостров, а как он называется, если как-то и называется, известно только Господу, потому что никаких городов». — «Вот и следуй вдоль него и ищи глубокую лагуну», — приказал адмирал-беглец...

Я вас еще не утобил, месье Армуш? — вдруг прерывает свое повествование Довер. — Ну, тогда еще чашечка кофе и последуем дальше... А дальше, — продолжает он, отхлебнув прирнесенного напитка, — дальше, конечно, самое интересное.

Этот полуостров, если вы заглянете в современную карту Средиземноморья, называется... Нет! — он вдруг поднимает желтоватый палец и усмехается: — нет, не скажу пока, а то исчезнет интрига, а главное, задача моя не будет решена. Ну, некий полуостров «икс», договорились?

Нам таки удалось высмотреть подходящую лагуну, достаточно глубокую. Оказалось, она образована вытекающей из ущелья рекой, тоже глубокой. Мы осторожно вошли в ее устье, бросили якорь, и Морган отправил вверх по ущелью нескольких людей для разведки. Они вернулись через день и сообщили почти невероятное. Это не ущелье, а самый настоящий каньон, высоченный, на дне которого — эта самая река, причем ее глубина на большом протяжении вполне достаточна, чтобы кораблю продвигаться по ней вглубь материка. Сбросы каньона — лесистые, а позади них — горы, горы, и никаких признаков людей или их поселений. В общем, нечто необитаемое.

Так и оказалось. Делая пусть и не более пяти узлов и постоянно промеряя глубину ручным лотом, мы двигались только в светлое время, и на четвертый день Морган высмотрел очень удобное место. На высоте около ста пятидесяти футов — горизонтальная пропешина, вполне достаточная для того, чтобы там разбить удобный лагерь. Что мы и сделали. Побег с Ямайки взял тайм-аут. Кругом никого, только горы и сверкающая внизу река. Можно надежно спрятаться, и надолго.

После обильного ужина, когда впервые за последние недели Морган позволил команде осушить несколько бутылок рома, я

сказал ему: «Сэр Генри... — Довер по привычке приподнимает палец: — С некоторых пор он приказал мне обращаться к нему не "адмирал", а именно "сэр Генри"... Сэр Генри, — сказал я ему, — а не построить ли нам здесь надежный форт? Перегачим пушки с судна — и сам черт нам не страшен! Людей нет, вроде бы ничья земля, лесу кругом полно, пресной воды тоже, ну а что до еды, так можно заняться охотой». Он усмехнулся: «Довер, почему все французы скудны умом, только мастаки по женщинам? Через неделю у команды не останется рома, а женщин тут нет вовсе. Команда пиратов без рома и женщин — это уже через месяц страшнее самого сухого пороха. Нельзя сей скот доводить до смертоубийства капитана — я это понял еще двадцать лет назад. — И тут он вдруг посерьезнел. — Вокруг никого, ты сказал, ничья земля? Ты скуден умом, повторяю! Свято место пусто не бывает. Это исхожено-перехоженное место сейчас опустело лишь временно. А вскоре с севера придут италийцы, или с юга толстозадые греки, или славянины в востока. А у нас всего десять пушек, десять, Довер! Нет, у меня другой план, я тебе уже говорил. Надежно спрячем сокровища — и на край света. Вот там и затаимся до времени, а потом... ну, ты понял, кажется? И я в тебе не ошибся, а?»

Я понял, и Морган во мне не ошибся. Однако всё происходившее в каньоне далее, текло как бы мимо меня. Я только видел, что люди Моргана постоянно куда-то уходят на разведку, и однажды в их руках оказались окованные сундуки, которым, как нетрудно было догадаться, нашли надежное тайное место. Эти люди вернулись через день уже без сундуков, а Морган долго сидел перед своим шалашом и всё вертел в руках... знаете, что? — тот самый подсвечник. Именно его! Помнится, в моей глупой голове мелькнула и тут же испарилась шальная мысль: и что это адмирал оставил подсвечник ацтеков при себе, не схоронил его со всем прочим? Если б я знал! Но сия тайна открылась мне, повторяюсь, в следующей серии нашего кино.

Через несколько дней наш корабль благополучно вышел по реке из каньона, и Морган взял курс на Марсель. Там нам предстояло разделиться. Я и еще десяток членов команды, пожелавших начать оседлую жизнь в Европе, получили от адмирала

неплохие подъемные и сошли на французский берег, в надежде, что через несколько лет Морган вернется за сокровищами и всем раздаст поровну, а ему, как мало кому другому из пиратских предводителей, свято верили. Сам же бывший адмирал вместе с оставшейся командой отплывал — не догадаетесь! — в Австралию! Я был поражен его решением, но на прощанье он мне сказал:

— Довер, поверь, там, в мелких колониях, надежнее всего. Отсижусь, а придет срок, вернусь, возьму свое из каньона и людей не забуду. — Он помолчал, а потом я услышал следующее — внимание, месье Армуш! — Запомни, отыскать эти сокровища ацтеков смогу только я — я, и никто другой! Даже если кто-то из моих людей, — тут он понизил голос, — втайне от меня вернется в каньон, он их не найдет. — И Морган вдруг захохотал по-сатанински. — Никто, только я! Я нашел способ, как надежно засекретить это место, и только мне известна тайна, понял! — Он успокоился и затем даже подмигнул мне: — Тут, Довер, без высших сфер не обошлось и, да, вычислений, геометрии конкретно. Я ведь еще и в навигации разбираюсь, и в топографии, иначе бы не попадал на море и в экспедициях именно в нужную точку... Ладно, а теперь давай договоримся, куда тебе слать почту, только чтобы наверняка. А как меня найти, когда настанет время, ты узнаешь. И умней, умней, француз! — рассмеялся он. — Ты хорошо служил, и мне жаль, что ты меня покидаешь. Ты отличный врач и вполне разумный месье. Руку!..

Честно скажу вам, месье Армуш, я был уверен, что вижу Моргана в последний раз и, поверьте, почувствовал в глазах влагу, тем более после этого рукопожатия. Однако уж не знаю, к счастью или к сожалению, я ошибся...

Довер приподнимает с соседнего стула свою черную шляпу, нежно оглаживает указательным пальцем золотой ободок в виде буквы «О» и затем, вздохнув, водружает шляпу на голову.

— Да, — как бы подтверждает он этот жест и встает, — да, расстанемся до завтрашнего вечера, месье Армуш. До следующей серии, заключительной.

— Как говорится, то же и те же, — улыбается Довер новым вечером.

— И там же, — вторит ему Аршуш, — там же, если иметь в виду Ершалаим.

— Да, Ершалаим. К этому я еще вернусь... А где мой кофе, черт побери? Мадмуазель, эй, я жду! И еще: принесите мне полную рюмку рома, ямайского! Бэсэдэр?

Теперь улыбается Армуш: все-таки перед ним старый пират — точнее, врач пиратов. А смотри-ка, на иврите кое-что знает!

— Это я потому — про ром, — что сегодня мы с вами окончательно распрощаемся, месье Армуш, — кивает Довер. — Поэтому позволю себе напоследок. Мне уже не повредит... Теперь слушайте, продолжаю.

Из Марселя, где часть нашей команды рассталась с Морганом, я прибыл в Париж, нашел там, слава Богу, давнего приятеля по Сорбонне и упросил его: первое — в университетском архиве медицинского факультета отыскать мое свидетельство о звании магистра, снять с него копию и переслать мне, а куда, я дам знать; второе — раз в месяц навещать в главный почтовый департамент Парижа и узнавать, нет ли для меня письма от некого господина из Австралии и, если есть, сообщить мне.

Я прожил у того приятеля всего два дня и покинул Париж. Знаете, побаивался, что меня арестуют. Документов при мне никаких, в том числе об ученом звании и договоре о службе на море: всё это разом погибло в волнах после взрыва испанского галиона и пленения людьми Моргана. Теперь я стал фактически никем и, наверное, где-то значился погибшим в сражениях.

В общем, некоторое время, пока были деньги, врученные мне адмиралом при расставании, я странствовал по маленьким городкам, чтобы не привлекать внимания, и в конце концов обосновался в бельгийской провинции, в Шарль-ле-Руа. А вскоре мой драгоценный приятель прислал из Парижа заверенную ко-

пию моего врачебного звания. Благодаря этому я получил необходимые документы, а затем и главное — частную практику, то, о чем мечтал. Потекла вполне сносная, хоть и одинокая жизнь (мысли о женитьбе меня уже не посещали), и всё выпавшее мне за прошедшие десять лет казалось каким-то странным сном, а каким — дурным или прекрасным, я понять не мог.

После побега с Ямайки и последующего поселения в Шарль-ле-Руа прошло, страшно сказать, еще более десяти лет, а Морган не давал о себе знать. Я вспоминал о нем всё реже и в эти моменты недоумевал: беспощадный пират, хитрый дипломат, но по-своему справедливый человек, он был точным, даже скрупулезным и слов на ветер не бросал. Значит, что-то с ним случилось. Если так, то жаль, и дело было вовсе не в предназначавшейся мне по уговору доле сокровищ, зарытых в каньоне на Адриатике. Поверьте, месье Армуш, деньги никогда не составляли смысл моей жизни — и до сих пор тоже.

Значит, я спокойно жил, спокойно практиковал, купил скромный, но очень уютный дом и стал в маленьком Шарль-ле-Руа вполне уважаемым человеком. Бурное прошлое вспоминалось, но изредка. И вот как гром среди ясного неба: в 1687 году пришло сообщение от парижского приятеля, что в почтовом департаменте меня ожидает письмо из Австралии от некоего господина. В тот момент мне было сорок два года, Моргану на десять лет больше.

Я тут же отписал в департамент, чтобы корреспонденцию переслали мне по такому-то адресу, и приложил положенную доверенность. Недели через три получил небольшой пакет со странными печатями и королевским штемпелем, ну да Бог с ними, этими англичанами, потому что, вскрыв пакет, узнал почерк Моргана; я знал его почерк, поверьте.

Очень дипломатично составленный текст без подписи. Автор письма просил в самое же ближайшее время прибыть к нему в Австралию (точный адрес прилагался), а все сделанные на то расходы будут компенсированы.

Черт возьми, как-то странно я относился к этому человеку! Он взял меня в плен, но не повесил, а спас мне жизнь, а еще через

пару лет между нами возникли вполне приличные отношения, и адмирал доверял мне, а он, как я уже сказал, никому не доверял. Странно. Странно и то, что, грабя и убивая, он всегда держал слово перед командой и эти головорезы боялись его, да, но и боготворили, а потому шли за ним до конца. А я? Я честно делал свое лекарское дело, и теперь ясно, со временем даже не отдавал себе отчета в том, что Морган мне... как бы это выразить? — симпатичен. Ну и личность, конечно! Такого нельзя не уважать.

Всё это всколыхнулось во мне, едва я дочитал его письмо, его призыв. Призыв — вот что сейчас главное, стало понятно. Потому что, кажется, что-то случилось все-таки. Он взял меня в плен, но и спас жизнь, и теперь я не имею права отвергнуть его призыв...

Осушив рюмку с ромом, Довер видимо прикидывает, не заказать ли еще одну, но вместо этого берется обсасывать кончик сигары.

— Переходим к финалу, месье Армуш? А то и к эпилогу, если иметь в виду Моргана. Слушайте же.

Утомлять вас подробностями не буду. Мой корабль оказался в Мельбурне через три месяца после начала этого авантюрного путешествия, а как я туда доплыл — теперь совсем не важно, хотя упомяну одно: огибая юг Африки, на траверзе мыса Игольного, мы попали в такую трепку, что думал, всё, конец! Но Бог упас... Ладно, Австралия. Дело было уже в начале 1688 года, в январе, то есть в разгаре тамошнего лета. Жара несусветная! А мне еще предстояло сухопутное путешествие к северу этого континента в Новый Южный Уэльс, в городок Олберн на берегу Муррея. Вот такой парадокс: на север в Южный Уэльс! Ну так это ж Австралия, черт побери! Но я подумал, что Морган, родившийся в английском Уэльсе, выбрал место обитания именно там не случайно: глухомань, но пусть какая, а почти родина.

Там, в Олберне, отыскав его, я увидел, что он состарился не на пятнадцать лет: этому пятидесятитрехлетнему человеку можно было дать все семьдесят, а то и больше. И я сразу всё понял,

поскольку все-таки не такой уж плохой врач: его лицо было то, что называется «маска Гипократа» — показатель смертельного заболевания брюшной полости, маска смерти.

Он принял меня спокойно, сохраняя прежнее достоинство, но было видно, с удовлетворением, может быть, даже скрываемой радостью. На столе — всегдашний наш ром, всякая еда, но он не пил и почти не ел. Насыщался оголодавший за время странствия я. Но потом Морган закурил-таки сигару и начал свой рассказ. Собственно, за этим он и вызвал меня из далекой Европы... Вы опять весь внимание, месье Армуш?

«Дело печальное, Довер, но ты врач, тебе не привыкать. Я серьезно болен и, кажется, долго не протяну, а самая подлость в том, что силы меня оставили — еле хожу. Но я позвал тебя не как врача или даже священника, а как... как наследника. Не вскидывай брови, а лучше еще глотни рому и слушай.

Мы зарыли сокровища ацтеков в том каньоне, и только я точно знаю, в каком именно месте, хотя люди, бывшие со мной, приблизительно могли бы уставить туда свои корявые пальцы: вон за той дальней вершиной, на каких-то там склонах. Приблизительно! Это ж сто лет копать не перекопать!.. А вся тайна в том, что есть... вернее, был прибор, с помощью которого я мог бы указать совершенно точное место. Да это даже не прибор, а именно указатель, так я его и называл. Мистическая история.

Помнишь нашу экспедицию в Мексику за золотом ацтеков? Ну нашли, ну взяли, вернулись на Ямайку. Большую часть, как и положено, я отправил морем в королевскую казну, а кое-что, и немалое, оставил у себя. Среди этого "кое-чего" был и странный бронзовый подсвечник — вещица менее дорогая, чем золотые украшения, но... Еще в Мексике мне поведал один местный старик (кстати, уверявший, что сам ацтек), будто этот подсвечник — священный, поскольку "много знает", как он выразился. Три чаши для свечей, если их условно соединить, образуют фигуру прямоугольного треугольника, стороны которого равны или пропорциональны числам 3, 4, 5. Скажем, три дюйма и четыре дюйма — это катеты, а гипотенуза — пять дюймов. Или 6-8-10, и тому подобное, вернее пропорциональное. Это и есть

магический треугольник — гармония сфер, как сказал тот старик.

Мне было плевать на его лепет, но я взял подсвечник и стал рассматривать. И тут старик добавил: этот подсвечник магический потому, что он указательный; он может знать нужное место и указать на него. Что за место? — спросил я старика. Тот пожал плечами: то, которое нужно владыке подсвечника; одному владыке — где сокрыто истинное знание, другому — где несметные сокровища. Мне подходит последнее, ответил я ему и прихватил подсвечник с собой.

Хитрый старик! Я оставил его в живых, а он меня обманул. Точнее, не поведал об очень важной детали — о том, что подсвечник может выполнить свое главное предназначение только в содружестве с главным знаком в пространстве. То есть вселенским знаком. Знаешь, что это? Полярная звезда, главный знак Северного полушария, центр нашей сферы. Именно Северного, и именно тех широт, где Полярная звезда стоит почти в зените, что к Мексике уже не относится. Вот так! Потому что, во-первых, этот подсвечник отнюдь не ацтекский, а — не удивляйся — европейский! Да-да, каким-то чудным образом он попал к ацтекам именно из Европы. Слушай, как я это узнал...»

Довер берет паузу, потом усмехается:

— Нет, все-таки я закажу еще рюмочку. Да, разволновался, простите. Ведь я, месье Армуш, веками так долго не разговаривал, отвык. Эй, мадмуазель!.. Так вот, — продолжает он, уже отхлебнув, — после этого Морган и рассказал мне то, о чем я вам поведал вчера, а именно: почему сей подсвечник, так сказать, европейского производства. Однако тайна-то в нем есть, есть, как оказалось!

Был у Моргана на Ямайке очень ценный для него человек. Действительно очень ценный, и именно для Моргана. Средних лет еврей по фамилии, как сейчас помню, Ротфилд. Ювелир и антиквар в одном лице. Едва лишь став губернатором Ямайки, Морган выписал его из Лондона, где, несмотря на упорный антисемитизм, всегда пользовались знаниями и деловой сметкой осевших в Англии иудеев.

Этот самый тихий Ротфилд не плавал с нами по бурным морям, а сидел на Ямайке в Кингстоне и ожидал очередного вызова адмирала. Когда в руках Моргана оказывался стоящий товар, то есть драгоценности, Ротфилд по вызову являлся во дворец и оценивал. Оценщиком он был, конечно, высококлассным. Благодаря этому Морган отделял «самое-самое» и оставлял его при себе, а остальное, и в большом количестве, отправлял через Атлантику ко двору, в казну.

После нашей мексиканской экспедиции Морган призвал Ротфилда, чтобы тот оценил драгоценности ацтеков. Иудей честно сделал свое дело, указав на «самое-самое», но в числе прочего покрутил в руках бронзовый подсвечник и вот тут-то, к удивлению адмирала, поведал ему, что сей изящный предмет никак не может быть по происхождению ацтекским. Почему — вы, месье Армуш, уже знаете, а я узнал это только в Австралии.

Морган, по его словам, был в ярости, однако тихий Ротфилд попросил еще раз пересказать слова старого ацтека про то, что этот подсвечник «много знает». Успокоившись, Морган пересказал. Ротфилд молча крутил-вертел в руках бронзовый предмет.

В общем, месье Армуш, оказалось, что этот подсвечник не только (и не столько!) красивая вещица для свечей, а действительно инструмент. Я тогда далеко не всё понял из того, о чем мне говорил Морган, поскольку совсем не мастак в топографии, однако вот какая штука! Ну ладно, прямоугольный треугольник, но благодаря Ротфилду выяснилось, что у подсвечника есть подвижные части — чашечки для свечей, которые, поворачиваясь, могут подниматься и опускаться. Чтобы это продемонстрировать, Ротфилд на глазах у Моргана приложил к тому определенные усилия: подсвечник-то уже старый! А на дне средней чашечки через ее центр нанесены две пересекающиеся под прямым углом риски. Короче говоря, понял Морган, с помощью этих хитростей, ну и ориентации одной из чашечек на Полярную звезду, этот самый подсвечник можно использовать для точного определения какой-либо точки на местности. То есть у вас в руках все пространственные ориентиры... Да, штука старинная, уж лет двести ей тогда было, а компас и примитивный

секстант-угломер в то время всюду использовали на море и на суше, поэтому кому бы пришло в голову, что этот бронзовый подсвечник — топографический инструмент? Да никому! Вот только тихий иудей Ротфилд догадался: никак пару раз видел подобные поделки, копаясь в средневековых драгоценностях... И вот после этого, месье Армуш, давайте я снова передам слово Моргану. Слушайте.

— Ну, ты всё понял? — спросил он. Я сделал вид, что понял, хотя, повторяю, никогда не был силен в вычислениях. — А где искать, тоже понял?

— Адриатика, каньон... — начал я, но он перебил:

— Черт тебя дери, эскулап! Да, Адриатика, но полуостров, полуостров! Истрия называется, запомни! И там тот каньон, и там река, и там та самое место — наша поляна, где ты, помнит-ся, предлагал мне построить форт. — Он рассмеялся. — Смотри, это для скудоумных.

Морган тяжело поднялся и извлек из бюро сложенный пополам лист мягкого картона. Я глянул в него. Рисунок. Северная дуга Адриатического моря, на восточном исходе которой, среди изрезанных побережий, довольно крупный полуостров; почти в центре его западной части — впадающая в море река; к этому самому месту рукой Моргана пририсована жирная стрелка со стороны моря. И всё, если не считать мелкой строчки внизу: 1688, Олберн.

— Понял? — повторил он уже не в первый раз. Я опять кивнул. — Истрия, Истрия, вдолби себе в голову! — И сел, часто дыша...

Поверьте, месье Армуш, в тот момент я больше думал о его заболевании, а не о каких-то ацтеках с их драгоценностями. Но Морган думал именно о последнем — навязчиво, как человек (больной человек), обязанный выполнить определенный, может быть, главный, долг. Ему было важно всё, даже мелкие подробности.

— А вот послушай еще, Довер, это очень существенно, — заговорил он, когда у него стихла одышка. — М-да, как точно я

сделал!.. Нет, плесни-ка мне рому на дно рюмки. За такое можно и выпить... Так вот. Значит, мы нашли хорошее местечко на дальнем склоне, почти у вершины, сделали лаз, внутри расширили его и там припрятали сундуки. На эту работу ушел целый день. А теперь мне надо было правильно и четко зафиксировать это место — где спрятан клад. Как зафиксировать? С помощью подсвечника, конечно.

Отгоризонтировав положение его основания, я взял засечки через центральную чашечку на две ближайšie вершины. Затем покрутил две другие чашечки и выставил их на нужную высоту. Ночью взял засечку через третью чашечку и центр на Полярную звезду. Однако теперь возникла новая задача: как все эти углы и высоты закрепить на самом подсвечнике? Ты меня понимаешь? Да не кивай — по глазам вижу, что нет!

Дело в том, эскулап, что все детали на подсвечнике следовало зафиксировать, причем намертво! Ведь если, не дай Бог, хоть какая-то деталь случайно повернется даже на небольшой угол или изменится высота чашечек — всё пропало! Скажем, завтра я несу подсвечник, вдруг спотыкаюсь и задеваю по нему коленом. Всё, конец!

Но нет, меня не обыграешь, вот так! Прямо у места захоронения клада я приказал моим людям развести небольшой костер и в тигле-пулелейке расплавить порцию свинца. Что и было сделано: пули-то при нас всегда. А дальше я залил жидким свинцом все подвижные детали подсвечника. Всё! Теперь его можно было хранить вечно и где угодно, потому что изменить в нем ничего уже нельзя. Понял, француз!..

Кажется, я что-то понял. А по лицу Моргана разлилось довольство, он даже улыбнулся, как-то расправив свою «маску Гиппократа».

— Наутро мы двинулись в обратный путь, на нашу поляну. Уже немного спустившись, я высмотрел ее через подозрительную трубу. Да, долго идти и сложно, по крутизне, но оказалось, наша поляна и склон с местом, где, замаскировав его, мы спрятали сокровища, все-таки на одной прямой. Но это меня не взволновало: мало ли тут склонов и вершин, которые с поляной на од-

ной прямой! Нет, координаты, координаты, а они — это мой подсвечник!

Но вот в чем главная печаль. — Морган поморщился и даже сплюнул себе под ноги. — Рисунок — Бог с ним, по нему никто, кроме меня, ничего не найдет, а вот подсвечник, подсвечник, который и есть единственный указатель! Этот подсвечник у меня украли. У меня! У которого ни шиллинга, ни песо никто не смел взять!... Это случилось здесь, в этом доме, лет десять назад. Со мной жил один человек из старой команды, и мы всё ждали, когда отдаст концы наш мудрый король, чтобы еще через некоторое время вернуться в Европу за сокровищами. Но наш король оказался крепким малым. Короче говоря, этому ублюдку Енсену, похоже, надоело ждать, он обчистил меня и пропал. Взял, в общем-то, сущие мелочи, потому что свои драгоценности я поместил в ценные бумаги и всё храню в банке. Но он утащил подсвечник, понимаешь, подсвечник! Я с ним не расставался и прятал в тайнике, но... Вот так. Поэтому я тебе, Довер, и не писал всё это время. О чем писать? О том, что мой план лопнул?

Лопнул? Нет, меня не обыграешь, хоть теперь я одной ногой уже в могиле. Не обыграешь, повторяю! А значит, слушай дальше, француз.

Этот Енсен, беспальный Енсен, ты должен его помнить, потому что не кто иной, как ты, ампутировал ему пальцы после сражения за панамский Порто-Бело.

— Ошибаетесь, сэр Генри, — не преминул вставить я, поскольку во врачебных делах люблю точность. — Этому Енсену я ампутировал три пальца правой руки — да, *amputatio tre dextra*, — а потом два оставшихся образовали как бы клешню, которой он исправно пользовался на потеху всей команде.

Морган хохотнул:

— Ты прав, эскулап, помню... Ладно, дальше. Этот беспальный Енсен, как мы его звали, утащил мой подсвечник и сгинул. Дурак, он ведь не догадывался о предназначении магического предмета, однако лишил меня возможности поиска. Меня и себя, между прочим. Воистину дурак!.. Понятно, думал я, он про-

даст подсвечник на каком-нибудь базаре, получит неплохие деньги — старинная штука все-таки и из бронзы, — а потом будет пропивать их. Да черт с ним, с Енсенем, дело-то в подсвечнике! Возможно, думал я потом, он опять станет предметом торговли и его можно будет найти на одном из рынков Европы, или Востока, или... Но я никак не мог вернуться в Европу по понятной тебе причине. И ждал. И вот дождался этой моей болезни. И вскоре понял, что уже никуда и никогда не двинусь.

Знаешь, такому человеку, как я, непросто смириться. Несколько лет ушло на это. Но настал день, и дошло: меня не обыграешь, да, но теперь... теперь должен быть кто-то, кому я открою эту тайну. Да нет, завещаю ему — и вовсе не подсвечник, поскольку он только указатель, а сокровища, остающиеся в каньоне. Конечно, это ты, Довер. И я вызвал тебя. И ты приплыл. Молодец. Держи мой рисунок!

— Сэр Генри, — начал было я, но он махнул рукой:

— Слушай и не перебивай адмирала!.. Ценные бумаги, которые в банке, я тебе их завещаю, обернешь в деньги, операция не мудреная, расскажу. Похоронишь меня, это теперь скоро, и вернешься в Европу. Ты сказал мне, что имеешь частную практику. Вот, продашь ее, тоже немалые деньги. И еще ты сказал, что не женат, — опять же удачно. Одинокий человек — это свободный человек, а свободный человек — это странник. Именно таким подвластно понимание мира, его сути. Поэтому ты, Довер, обязан найти подсвечник! Ты начнешь странствовать по рынкам, базарам, по странам Европы, потом Восток, ну и так далее, если удача не придет к тебе уже вскоре. Отыщешь его, купишь, а затем... затем, ты понял — в каньон. Всё, что там, — твое, и распоряджайся им, как считаешь правильным. Это мой тебе завет. Всё! И никаких слов благодарности!..

Сказав это, Довер смолк. Но через минуту продолжает свой рассказ.

— Вот так, месье Армуш, вот так. Дело было в январе, а в августе того же 1688 года Моргана не стало. У него был рак, знаете ли. И Доверовы порошки уже не приносили ему облегчения от сильных болей. Все мы, бывшие пираты, помираем от рака.

Какая-то кара Господня. Хотя, да, не всё ли равно, от чего. Но все-таки в пятьдесят три года...

За несколько месяцев до смерти он принялся упорно учить меня топографии и картографии, в том числе тому, как с помощью подсвечника, если я его отыщу, найти клад ацтеков. Учил и злился, если мне не удавалось что-то запомнить сразу. В общем, навязчивость очень большого человека, простим ему. Но во многом я разобрался, как ни странно. Да только зачем?..

Я похоронил его там же, в Олберне, на небольшом англиканском кладбище. Заказал и поставил скромную плиту, на которой, как просил Морган, всего три слова: «Адмирал волею Англии». И всё, представляете, и всё!

Есть ли там теперь это кладбище, не знаю — полагаю, вряд ли: ведь более трех столетий прошло. Небось сплошные коттеджи, площадки для гольфа. Но кости Моргана там целы, уверяю вас как врач. Кости людей, да и прочих животных, не подвержены тлению. Так и лежат в глубине. Поэтому под нами — земля костей. Да, мы с вами живем на планете костей. Планета костей! И никакая вселенская сила этого не изменит...

Довер коротко кидает взгляд вверх, потом спокойно говорит:

— Желаете знать, что было дальше, если коротко? Я выполнил наказ Моргана: вернулся домой, продал свою врачебную практику и всё это время странствовал по разным землям, по рынкам и базарам, но везенья мне не было. Ну что Агасфер! Много претерпел, а того самого подсвечника так и не нашел. Состарился. Да нет, не то что состарился, поскольку стариком стал давно, а вот силы ушли, будто усохли. И в конце концов я пришел сюда, в Ершалаим. Почему в конце концов? Потому что недавно почувствовал, что во мне тоже завелась серьезная болезнь, последняя, а где умирать христианину, как не в городе Господа нашего? Я пришел сюда и — о чудо! — увидел мой... наш подсвечник. Морган, как всегда, оказался прав: этот подсвечник — такой же странник, и надо, чтобы один странник нашел другого. Хотя теперь нас трое: подсвечник, я и вы, дорогой месье Армуш.

Вот и вся моя история — простите, если утомил. И мне недолго осталось. Я хороший врач и уж кому-кому, а себе поставить диагноз могу без труда. У меня рак печени, а еще и с блокадой желчных протоков. Видите, как пожелтел? Скоро стану совсем желтым, как золото ацтеков, ха-ха! Вероятно, это месть за наши грехи. И потому золото не досталось ни Моргану, ни мне... А вы грешны, месье Армуш? — вдруг спрашивает Довер.

— Да, грешен, — после паузы отвечает Армуш.

— Ну, визнавать не буду, дело интимное... А я, я хочу быть похороненным здесь на католическом кладбище. Оно тут есть, мне сказали.

— Тут всё есть. У большой базилики, что напротив северной стены Старого города.

— Да, я католик, а вы, простите за деликатный вопрос, вы кто по вере?

— Порой мне сложно дать определенный ответ, — тихо говорит Армуш. — Мои древние предки, Арамуши, чтили единого бога, Владыку, но он нередко изменял себе и своим чадам. Потому у меня к нему непростое отношение. Мне кажется, мы соседствуем. Я не имею права его судить, а уж он меня тем более. Да-да, мы соседствуем. Как два жильца в одном доме, но нам желательно не пересекаться в подъезде.

Довер только разводит руками:

— Что ж, это ваша проблема. И значит, напоследок. Вы уже поняли? Я вам открылся, моя история, моя тайна перед вами, у меня теперь нет ничего, кроме злосчастного рака и скорой смерти, а у вас есть подсвечник. Но вот что еще. — Довер прячет руку за полую сюртука и извлекает оттуда сложенный вдвое лист мягкого картона. — Это тот самый рисунок Моргану. Я отдаю его вам, месье Армуш. Теперь только вы — владелец тайны, подсвечника и этого рисунка. Вы обязаны отыскать те самые сокровища и затем распорядиться ими по своему усмотрению. Ну, негоже им столько лет томиться в земле!

Армуш молчит, и так длится, верно, с минуту. А Довер, как ни странно, улыбается.

— Я никогда не брал и не беру чужого, — наконец проговаривает Армуш.

— Не сомневаюсь. Но с давних пор это уже не чужое, это ничье. Как сказал Морган, и ацтеков тех нет. Берите и владейте. Я знаю, что вы этим достойно распорядитесь. Договорились? Спрячьте, спрячьте рисунок, месье, все-таки рука самого Моргана, раритет! Вот и чудесно.

— Странно, — говорит Армуш.

— Что странно?

— Всё. Как задал Владыка, мы — это непересекающиеся маршруты: кто с севера на юг, кто наоборот. А вот мы пересеклись. Зачем? Или исходное опять неверно? Вы мне отдаете тайный ключ к поиску сокровищ, а зачем? И что изменится в мире, если я их отыщу?

— В мире ничего, — чуть напрягает голос Довер, — в мире — ничего, изменится в вас.

— Это интересно! — усмехается Армуш.

— Не иронизируйте, прошу вас. Давайте выполним завет Моргана. Он знал, кому отдавать тайну. Он — мне, я — вам... И кстати: ну ладно, пусть я хороший врач, но в точных науках, увы, не разбираюсь, поэтому уроки Моргана по топографии осилил едва и кое-как. А вы, вы поняли из моего рассказа, как воспользоваться подсвечником?

— Вполне. Я хорошо учился по математике и географию обо-жал. К тому же потом плавал немало.

— Ну, слава Богу!..

В ночном кафе тихо, если не прислушиваться к голосам у стойки бара; оттуда же звучит ритмичная мелодия, но спасибо, едва-едва. «Похоже, пора прощаться», — думает Армуш, однако уже не в первый раз за эти вечера с Довером ловит себя на одной мысли. Хотя и неловко как-то. Но вот наконец решается.

— О том, чтобы не доверять вам, и речи нет. И то, что писаная история людей полна вранья, знаю тоже. Но я не провидец или всезнайка, хоть не столько участник, сколько наблюдатель, но

знаете, стереотипное мышление порой подводит. Конечно, услышав от того человека с клешней... от вашего Енсена, что купленный мной у него подсвечник — это подсвечник самого Моргана, я потом кое-что узнавал: ну, интересно все-таки. По сведениям, которые мне попались, Моргана с Ямайки вызвали в Англию, посадили в тюрьму, да, его ожидала казнь, но после вмешательства короля опального адмирала не просто простили, а вернули на Ямайку в качестве военного советника губернатора. Вот! А вы, месье Довер, живописали мне совсем другой сюжет: вместо Англии — побег, Средиземное море и затем Австралия, где Морган скончался и вы его похоронили. А Енсен убеждал меня, что Морган — вечный и когда-нибудь явится за своим подсвечником, и я не сомневался в этом, потому хранил его и ждал хозяина, ждал и ждал. Согласитесь, эти два сюжета не так-то просто совместить в одной бедной голове.

— Соглашаюсь и, более того, понимаю. Я ведь и сам кое-что узнавал про, так сказать, дальнейшую жизнь Моргана. О, Пресвятая Дева! Надеюсь, вы убедились, что я не сумасшедший? Повторяю вам: всё случившееся с Морганом... вернее, вокруг Моргана после 1672 года, после его внезапного побега, было выгодно королевскому двору. Ну, высочайшая милость, ну, почти триумфальное возвращение на Ямайку. Он был им еще нужен, очень нужен! Он — точнее, его образ. И тогда они придумали... да, двойника. Придумали и создали этого двойника, причем очень убедительного двойника — такого, кого признали как истинного Моргана не только чиновники в Кингстоне, но главное, его пираты. Удалось. Кстати, в мировой истории подобные номера проходили неоднократно. Хотите доказательств — ну, про Моргана, конечно?

— Нет, не хочу, — отвечает Армуш, — я вам верю.

— И все-таки. Нет, не для вас, для себя, дайте высказаться! Этих доказательств три: первое и третье — прямые, второе косвенное. Первое прямое — рисунок Моргана, который теперь у вас: там его рука и выписанные им дата и место — 1688 год, Олберн. Такое сфальсифицировать, поверьте, мне было никак не под силу. Третье доказательство, тоже прямое: вот вы найдете тот наш каньон, а там, благодаря подсвечнику Моргана, уз-

наете точное место и отроете сокровища ацтеков — и что же еще доказывать? Этого более чем достаточно.

Но есть еще одно доказательство — да, косвенное, но очень важное, как я уверен. По официальным британским данным, Морган в 1674 годе вернулся на Ямайку, и главным его заданием как военного советника губернатора по приказу короны было знаете что? Очистить воды Карибского моря от пиратов! В чем адмирал-пират очень преуспел всего лет за десять. Последнее — правда, как правда и то, что этого не мог сделать Морган, истинный Морган, или, если вам угодно, Морган-1. Морган-1, хоть с совестью у него были проблемы, никогда на такое не пошел бы. У пиратов существовал свой непререкаемый кодекс чести, уж поверьте мне: брать чужое — только пальцем помани, а гробить своих — никогда. Поэтому утверждаю: гробил своих не Морган-1, а Морган-2. Вот вам три моих доказательства, — и тут Довер тихо усмехается: — ну, не пять, как в случае доказательства бытия Божия, а три, но этого вполне достаточно.

Армуш только кивает и поднимается.

— Жаль, но будем прощаться, что ж.

— Да, конечно. Однако еще один вопрос, уж простите любопытного француза. Где и как вам достался этот подсвечник?

— Так я уже сказал об этом! Купил на большом развале базара в Александрии у упомянутого вами человека с клешней на правой руке. У вашего Енсена. Такого нельзя было не запомнить. Тем более что, получив деньги, он вдруг зашептал мне, будто сумасшедший: «Я болен, я страшно болен, у меня неизлечимая болезнь! Это проклятие Моргана, того самого адмирала-пирата! Он явится за этим подсвечником, явится, поверьте, сударь, хоть через двести лет, он вечный, если не бессмертный! Это вещь его. Уж вы ему отдайте. А я избавляюсь от нее, всё, всё, теперь я чист перед Господом!..» Вот так этот предмет и попал ко мне. И я всё ждал, что Морган явится за ним. Я ошибся: не знал, что он вскоре умер, как вы мне поведали.

— Значит, и бандит Енсен умер от рака! — вздыхает Довер и поднимается из-за стола. — Вот так всех нас, вот так!.. Да сопутствуют вам здоровье и удача, месье Армуш.

Они выходят из кафе. Ночь. Сверху выпирают библейские звезды, в траве и мелких кустах оглушительно стрекочут цикады.

— Простите за деликатный вопрос, месье Довер, — кашлянув, говорит Армуш. — Вам нужны средства?

— Нет, теперь совершенно нет, поверьте. Мне ничего не надо, я очень устал за столетья странствий, а еще и смертельно болен. Вот этого, — тут Довер снимает шляпу и привычным жестом оглаживает золотой значок, — этого мне вполне хватит на последнее. Продам. Уж вы-то знаете цену золоту древних. Поэтому делайте свое. *Sum qui que* — каждому свое, как говорили латиняне. Честь имею.

— Цобэ, цобэ! — покрикивает Армуш, сидя в повозке-развалюхе, но та, вот чудеса, нормально катится, да и осёл вполне хорош, торговец не обманул. Вот только жарко очень, а на повозке нет ни тента, ни, понятно, крыши, не то что у мчащихся здесь же автомобилей. Впрочем, этим же не могут похвастаться всадники, колесницы или двухколесные арбы. Иудеи, арабы, римляне, турки, странники и паломники, европейские наглые туристы — кого только нет тут, на Святой земле, в частности вот на этой прекрасной дороге, называемой шоссе, которая ведет из Ершалаима в Хайфу, и именно туда, в порт, Армуш держит путь уже третий день. Воистину всё смешалось в этом богоугодном мире, чего совсем не предвидел Владыка, да простим ему.

Повозка, спасибо ослу, бойко катится, а Армуш вспоминает, как покинул Ершалаим.

— Хай, — представился он, явившись на Армянское подворье в Старом городе.

— Хай, — спокойно произнес черный монах, но видимо удивился. Хай — так называли себя древние армяне.

Армуш любил это место. Тут всегда было тихо и как-то отрешенно ото всего, что происходило буквально рядом за невысокими стенами обители. И зелено. В кипарисах выпевали дрозды, и кедр, будто птица кондор, изредка и мягко, неслышно кивал опухшими длинными горизонтальными ветвей.

Миновав башню Давида, Армуш прошел сюда сквозь приоткрытые ворота и позвал пальцем молодого монаха в черной сутане.

— Хай, — сказал, когда тот приблизился.

— Хай, — ответил черный монах, но видимо удивился.

— Позови мне настоятеля, сынок, — продолжил Армуш по-армянски и чуть приподнял увесистый кожаный мешок, который держал в руке.

Монах смутился:

— Настоятель не выходит к прихожанам, простите, отец. А в чем дело?

Армуш и виду не попал, отступил на пару шагов и присел на широкую мраморную скамью.

— Так ты скажи ему, сынок, что пришел старый Армуш и кое-что принес для Храма.

Монах покрутил головой, затем направился к церкви, на ходу подбирая длинные полы, взошел по белым ступеням и исчез за кованой дверью. Армуш сидел на прохладной мраморной скамье и слушал пенье дроздов в кипарисах. Минут через десять из двери вышел настоятель в белом, а за ним пристроился черный монах. Кряхтя, Армуш поднялся, прихватил мешок, проследовал по аккуратной дорожке, выложенной из плоских камней среди травы, и остановился в шаге от ступеней церкви. Настоятель стоял наверху у двери. Его седая борода поблескивала под игрой светотени.

— Мир тебе! — спокойно произнес Армуш на северо-арамейском.

— И тебе, — услышал в ответ на том же наречии.

— Я покидаю этот город и обязан оставить Храму вот это. Ты, конечно, понимаешь, о каком именно Храме я говорю. О том самом. — Армуш опустил кожаный мешок на первую ступень белой лестницы, выпрямился и глянул в глаза настоятелю. Тот смотрел неотрывно, безо всяких эмоций. Армуш понял:

— Да, это ценные вещи, а некоторые очень ценные, но все они приобретены мной лишь праведным образом. Это так, арамуши никогда не лгали.

Настоятель огладил бороду и опять коротко глянул на мешок у ног гостя.

— Я давно не слышал речей на северо-арамейском.

— И думаю, вряд ли теперь услышишь, — усмехнулся Армуш. — Мир тебе, — повторил. — И твоему народу, — добавил, уже повернувшись.

Он не увидел, как настоятель перекрестил его в спину, а затем кивнул черному монаху: дескать, подними мешок и ступай за мной...

Да, вот именно так Армуш простился с Ершалаимом. Теперь он держит путь в Хайфу, в порт, сидя в повозке-развалюхе за лоснящейся спиной бойкого осла. Там, в порту, сказали ему, он найдет нужное. И еще через день это и происходит, хотя выбор не мал: большие железные корабли (один из них даже куда выше башни Давида), корабли поменьше, но тоже современные, всякие одномачтовые яхты, шхуны, но вот у дальнего пакгауза Армуш вдруг замечает пришвартованный туда парусник типа бригантины. Выясняется, что завтра на рассвете это судно отваливает курсом на остров Родос, а оттуда в Пирей. «Это мне подходит, — решает Армуш. — Значит, Греция. Значит, путь домой начинается на паруснике».

Заплатив, сколько ему сказали, он поднимается на только что отдраенную, еще пахнущую морской водой деревянную палубу. Лениво хлопает почему-то до конца не убранный парус на фоке, в борт так же лениво бьет мелкая волна.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КОТЛАС

Он приходит в Архангел, но уже не на паруснике, а на вполне современном судне: что-то изменилось во времени, пока длилось долгое плавание. Ищет и ищет Антанту, однако безрезультатно. Неделя уходит на поиски. Кто-то советует: «Может, она ушла выше по Двине, в Котлас, пошукай там...» Что остается? Сесть на видавший виды колесный пароход — и туда, в Котлас.

А здесь уже сентябрь, большая осень. Одни птицы летят на юг, другие на север. Встречные, но непересекающиеся маршруты, никаких пробок и ДТП. Серые клокастые небеса, по берегам Двины стынет молчаливая тайга, изредка дождит, и не исключено, со дня на день закружат белые мухи. Истошно орут чайки, паря за кормой в ожидании дармового корма. Это мы уже проходили, всё помним.

Пар изо рта. Спасибо, в каюте включено отопление, а на нижней палубе аж до полуночи работает буфет, где дают бутерброды и жидкий кофе в картонном стаканчике. Он приятно обжигает пальцы. Время от времени подходит очередной мужик в засаленной куртке и предлагает соединиться — то есть выпить на троих. «А второй уже есть, есть, — уверяет, — и шмот сала при мне, пошли!..»

Так три дня. Потому что от Архангела до Котласа три дня. Ничего не изменяется. Тот же губошлеп, например. Шлепает и шлепает лопастями по студеной воде, и этот ритмичный звук то навеивает тоску, то придает уверенность, что ты еще существуешь в реальном мире.

После Верхней Тоймы и особо за Красноборском на Двину падает сплошной туман, отчего даже днем, при зажженных бортовых и габаритных огнях, пароход еле продвигается к цели, но ночью встает вовсе, регулярно подавая гудок. Трубный звук разносится по плененной туманом, невидимой реке. В такую ночь даже звери не выходят на охоту.

Однако к утру всё меняется. Туман клоками утягивает вверх, уже проявились, будто из небытия, очертания берегов, заработали лопасти колеса, и, стало быть, скоро Котлас, еще часов пять. Так и выходит...

От пристани — крутой подъем по деревянной лестнице на высокий берег; далее — грязная после осенней ярмарки рыночная площадь с пустыми каруселями; далее — автобусная станция. Надо ехать в центр, где, сказали, есть гостиница.

В автобусе почти никого. Подходит контролерша — пузатая тетка с пузатой кожмитовой сумкой — и хрипло предлагает обилетиться. А вслед за этим из-за спины контролерши возникает звонкий голос, полный удивления и радости:

— Армик!

Как складывается судьба человека, знали только древние египтяне, но это не спасло их от исторического исчезновения. Праотец Авраам и его род ничего не знали о судьбе, однако их потомки до сих пор населяют те же и близкие земли, а еще так сложилось, что и некоторые дальние. Где тут справедливость? А нету ее, и всё: справедливость никак не плывет по реке времени. А что по ней плывет? Закон Владыки.

Армуш тоже ничего не знал о судьбе, а сейчас о ней не знает сидящей в автобусе Арам, или, как ему крикнули, будто из детства, Армик. Он вскидывает голову и видит: Антанта! Вот и нашлась — считай, сама, без его очередных поисков. Лет двадцать пять ей нынче, а тогда было семнадцать. А ему?

— Садись, — говорит он, сглотив комок в горле, и кивает на свободное место рядом. — Садись, Антанта. Что-то мы не виделись давненько, — усмехается, уже взяв себя в руки.

Она усаживается, прихватывает его за локоть и трется кончиком носа о плечо. Будто в детстве.

— Армик, ты как тут оказался? — шепчет-мурлыкает доволь-но. — Я так рада!

Неужели она обо всем забыла?

— Вот, приехал... с тобой повидаться, — выговаривает он с трудом, но искренне.

— Ну, молодец! Наконец-то! — И вновь трется кончиком носа о его плечо. — А кстати, эй, куда ты путь держишь на этом автобусе?

— В центр, снять номер в гостинице.

Антанта чуть не подскакивает:

— Ты с ума сошел, какая гостиница! Если бы ты видел нашу гостиницу! Да дело не в этом. Какая гостиница, когда тут я? У меня своя комната и своя кухня, понял! Ты что, Армик? Нет, бери сумку и за мной, скоро моя остановка.

Неужели она обо всем забыла?

— А ты тут кто, кем? — спрашивает он, когда они уже идут по тихой улочке.

— Я? — Антанта растягивает губы в озорной улыбке. — Я — старшая! Старшая медсестра в больнице, в хирургии. Вот так, о! — И теперь хохочет. — Всё в порядке, — говорит, отсмеявшись. — Потому и комнату получила после житья в общежитии. Всё хорошо... А ты сам-то кто, кем?

Законный вопрос, а как ответить?

— Я... Законный вопрос, но... давай потом, попозже.

— А как хочешь. Потом так потом, я не любопытная. — И указывает на длинное, почерневшее дерево, двухэтажное строение в проулке. — Во, этот мой Хилтон-отель! Зато почти все удобства.

— Почти — это как?

— Много будешь знать, скоро состаришься! — опять улыбается Антанта. Заметно, что ей хорошо.

— Я уже состарился, и очень давно, — говорит он, но, странно, она его не слышит.

— Значит, так, — слышит он, — у меня еще час, я ушла на обед, сейчас перекусим с тобой, а потом я в больницу, сегодня у

меня ночное дежурство. Приду завтра утром, часам к двенадцати, зато весь день свободен. Роскошь!..

Уже у нее в комнатке, поедая пельмени, он несколько раз укороткой бросает взгляд на ее лицо, Сколько ей? Ну, двадцать пять. А когда он уехал, ей было семнадцать. Что-то изменилось, но и будто ничего. Это как? Ведь века прошли!.. Арам чуть прикрывает глаза, и там привычно совершается это его навязчивое перевоплощение: вместо озорного лица Антанты вдруг возникает лицо сидящей напротив старухи. Да-да, именно той самой, которую он однажды разглядел сквозь марево на шуке, — в парандже, но без чачвана; она вдруг оказалась у края ковра, и Армуш еще попытался представить, как она выглядела в юности, но ничего не вышло, а старуха тут же исчезла, словно испарилась.

Арам трясет головой, сбрасывая наваждение, и говорит:

— Отличные пельмени, сто лет их не ел, да нет, много больше. Наверное, сама готовила? Ну да, ну да. Просто молодец!.. А скажи, Антанта, только не удивляйся... ты никогда не бывала в Ершалаиме?

Она едва не поперхивается:

— Где, где?

— Есть такое место на Ближнем Востоке, очень древнее. Там Старый город, разные люди, разные религии, базары всякие, роскошь и бедность...

— Погоди, погоди, Армик! — перебивает она и приподнимает руку, чтобы ей не мешали. — Э... То ли год, то ли два назад мне приснился странный сон, до того странный, что я его до сих пор помню. Будто я оказалась в каком-то, да-да, древнем городе, явно не нашем, не русском, кругом горланят не по-нашему, а вокруг множество товаров. В общем, да-да, рынок, пыльно, жарко, перед глазами что-то мелькает. И тут вижу: большой ковер на земле, со всякими на нем сверкающими вещицами, несомненно очень дорогими, а в центре этого ковра сидит старик. Я только поглядела на него, и он стал таять, но мне показалось... Ну, ты же понимаешь, что это сон! Но мне почудилось,

что он — это ты, Армик, только очень-очень старый... Нет, честное слово, бред! Я ведь о тех краях ничего и не знаю. И какой-то старик, будто похожий на тебя! Ты ведь совсем еще молодой, тебе столько же, как и мне, двадцать пять, только, вижу, серебряные ниточки у тебя в шевелюре на висках... Ладно, я пошла в больницу, а ты тут хозяйничай, я тебе всё показала. И спи спокойно. Буду завтра к полудню. Пока. Как славно, что ты приехал!..

Неужели она обо всем забыла?

Это из области патопсихологии: говорят, что преступник рано или поздно возвращается на место совершенного им злодеяния. Навязчивость опять же.

Арам (или Армик, как его звали в детстве) совершил злодеяние в семнадцатилетнем возрасте, и не где-нибудь, а в городе, где рос, где жил с семи лет. Место преступления — город детства; вот такой здесь расклад. Это — Архангел. Потому и приехал туда искать Антанту. Столько веков прошло, а пересеклись неведомые небесные маршруты — и потянуло. Арам (впоследствии старик Армуш), разглядел в потемках души указующий перст судьбы, когда в Ершалаиме расстался с неким тоже стариком, который перед смертью поведал ему о невероятной тайне. Может быть, тайне последних столетий. Теперь разгадка этой тайны оказалась в руках Арама-Армуша, и его неминуемо повлекло в Архангел. На место преступления, к Антанте. Хотя нашлась она выше по течению Двины, в Котласе, но это мелкая деталь: большой осенью он уже успел здесь надышаться...

Этот чернявый мальчик и эта желтоволосая девочка познакомились 1-го сентября, когда пришли в первый класс. Школа в Архангеле, куда они пришли, находилась почти в центре города, на высоком берегу Двины над портом, за широкой спиной «банного Ломоносова» (последнее — старая шутка жителей Архангела: корифей всевозможных наук представлен на памятнике с облаченным в тогу мощным голым телом, но, поскольку античные намеки скульптора никак не взволновали северян, они

быстро и сугубо по-русски смекнули, что это — простыня, которой оборачивают тело в бане после парной; поэтому в иные праздники на постамент к голым ногам бронзового исполина ставили несколько бутылок пива, которые, однако, благополучно исчезали утром, когда приходил час похмелья).

Итак, худой чернявый мальчик и желтоволосая девочка-худыха, чем-то похожая на улыбающегося Буратино, объявились в первом классе школы за спиной «банного Ломоносова». А особенность этой школы состояла в том, что она была десятилеткой. Вот так наши герои и проучились там в течение всех десяти лет, причем сидя за одной партой. Никто их не принуждал к подобному постоянству: случайно сложилось еще в первом классе, а дальше... вероятно, их вполне устраивало сидеть вместе.

А ведь контраст явный: он — чернявый, не слишком подвижный, спокойный, разговорчивый в меру, всё схватывавший буквально на лету, не отличник, но устойчивый «хорошист»; она — блондинка с, к сожаленью, вскоре пропавшими веснушками, хохотушка, заводила, обостренно честная, но в успеваемости неровная, поскольку не без приступов лени — то пятерочница, то троечница. Нередко бывало так: тихонько, но настойчиво она стучала локтем вечного соседа в бок и шептала: "Убери руку, чтоб я видела, дай списать!" Сосед всегда повиновался и потом был рад, что за эту (очередную) контрольную они получили по четверке.

Его, Арама, все называли Армиком, а вот он ее... Классе, кажется, в пятом, когда проходили историю СССР и добрались до Гражданской войны, училка-историчка поведала в том числе про Антанту — союз агрессоров-империалистов, против которого доблестно сражалась наша Красная армия. Поведала и добавила: «Вообще-то, ребята, чтоб вы знали, слово «антанта» значит согласие, но эти господа понимали под той Антантой «сердечное согласие». То есть вместе всем сердцем». Армику это вдруг понравилось — не про ту Антанту, а про свою соседку по парте, и с тех пор он стал называть ее именно и только Антантой — Сердечное согласие. Странно или нет, прозвище прижилось — все в школе только так к ней и обращались.

Армик и Антанта. Класе в восьмом их называли уже женихом и невестой. Ну а возможно ли иначе, если они всегда и везде вместе, не только в стенах школы? Именно так. А они и в голову не брали: время еще не пришло. В общем, друзья-приятели, не разлей вода.

Но время уже зашептало: она, Антанта, не только рубаха-парень, она, погляди, — женщина. Армик невольно бросал косые взгляды — и отворачивался, краснея душой. Им было по шестнадцать, когда летом, в редкую для Архангела жару, они пошли искупаться на Двину, и Антанта предстала в купальнике, едва скрывавшем нечто для Армика новое, завораживающее. Нет, он, конечно, знал, что подобное есть у женщин, но это ведь Антанта! Худыха-буратинка с острыми локтями и вечно пораненными коленками!

Так прошел их последний год, десятый класс. По-прежнему сидели за одной партой, и ничего не изменилось, если не считать того, что теперь чаще помалкивали, особенно Армик, а Антанта уже не прижималась к нему боком и не стучала в бок острым локтем. Спросить бы его: «Ты ее любишь? — и он пожал бы плечами, добавив: — Это как?» Спросить бы о том же Антанту, и она... А вот что ответила бы она, оставим на скорое дальнейшее.

Скорое дальнейшее явило себя, когда им было по семнадцать. Конец июня, сдали последний экзамен, предстоял выпускной вечер. Все счастливы. Как и прочие девицы, Антанта мастерила себе бальное платье. Днем пришел Армик, они перекусили, решив к вечеру прогуляться. Он сидел на кухне, слыша, как в комнате строчит швейная машинка. Потом звук стих, и Армик открыл дверь в комнату — как всегда, по-свойски, без всякой задней мысли. Антанта стояла перед зеркалом, и на ее теле не было даже того купальника, скромные размеры которого так поразили Армика год назад на пляже. В руке — лифчик, на кресле рядом с зеркалом разостлано только что законченное бальное платье.

Она увидела его через зеркало, зажмурилась, одновременно прикрыв себя этим самым лифчиком, этой эфемерностью, и

спокойно, но властно произнесла: "Выйди!" Он повернулся и уже спиной услышал: «Как же это, Армик, без стука?» Какой стук! — помнится, шарахнула дурная мысль, потому что за долгие годы общения с Антантой не выработался в нем сей элементарный рефлекс взрослой поры жизни. Всё детство, отрочество, игры, контрольные всякие — вот так, знаете ли!..

Он вышел с этой самой дурной мыслью в дурной голове, и тут что-то с ним случилось. Потом много веков пройдет, и он так и не поймет — что. То ли настало время разыграть южному темпераменту, то ли на еще немой клавиатуре души прозвучали первые звуки любви, то ли сам Владыка повелел: «Вернись, возьми ее, люби ее, это она, она, истинно твоя!» Но мог ли так повелеть Владыка без ее на то соизволения? Ведь грех, грех!

Дальнейшее был грех. Физически сильный, рослый Арам и астеничная, к тому же вся голая Антанта. Он ее почти растерзал за эти пять минут. Она не кричала, лишь стонала, прикусив палец. Потом сбросила Арама с окровавленного покрывала и проговорила тихо, явно только себе: «Не отстираешь. Значит, выбросить придется». И, забрав покрывало, скрылась в чуланчике, где висел старый рукомойник, а под ногами вечно гремели всякие тазы. Арам тупо сидел на растерзанной постели. Надо что-то сказать, когда она вернется, упорно повторял себе, надо что-то сказать, но сказала Антанта.

Вернулась, присела рядом, бок о бок, а лицо каменное. Где ты, хохотушка-буратинка?

— Я тебя люблю, давно люблю, с первого класса, а ты совершил преступление. Нет, не грех — преступление. Потому что я любила тебя с тех пор и всегда мечтала о тебе, особенно в последнюю пору, понимаешь? Эх, как мечтала! Уже знала: вот окончим школу, ну еще, может быть, годок, и поженимся. Но только так, чтобы я стала женщиной, твоей женщиной, именно в первую брачную ночь. Ни днем раньше. А зачем раньше-то? И через девять месяцев я рожу нам ребеночка. Только так... А ты всё испортил, исковеркал, искромсал меня, изгадил мою мечту. Ты преступник, оказывается, а я-то думала, что сижу за одной

партой с любимым, почти святым... Уходи. Уходи, исчезай. Чтобы тут тебя не было и я тебя больше не видела...

Он исполнил ее повеленье. Не явился на выпускной вечер, а через недолгое время и вовсе пропал. В Архангеле его больше не видели. Ходил слух, что он подрядился матросом на рыболовецкое судно, порт приписки которого Мурманск. Ну а дальнейший маршрут следования Арама во времени и пространстве (Zeitraum'e, если в одно слово, как придумали большие любители словесных соитий немцы) с трудом поддается пониманию, если вы упертый реалист.

Он вернулся на место преступления, а она что, всё забыла?

Нет, конечно. Однако ее «всё», ее время, уместилось лишь в восемь лет, а пространство и вовсе копеечное: вверх по Двине от Архангела до Котласа. Но это ее, Антанты, данность, ее правда.

Она — временная, а Арам — странник. Таких мало. Например, тот самый Довер, вдруг объявившийся в Ершалаиме. Или упомянутый им пресловутый Агасфер. Или небезызвестный Мерлин. И еще кое-кто. Их Zeitraum — совсем другая категория, и это уже иная правда.

И как теперь ему, Араму, общаться с Антантой, с этим бенгальским огнем? Вспыхнула, рассыпалась, очаровывая холодными звездами, но пара мгновений — и каленый огарок. Это ее правда, и поди разберись, чья лучше.

Чья лучше, повторяем, если он, Арам, не только странник, но и преступник? А и обратно: преступник — потому и странник? Что там тот Агасфер! Хотя, возможно, первый и главный странник, не раз думалось Араму, это сам Владыка: создаст и уйдет в безразличии, а тут у тебя сердце о ребра набивает мозоли...

Эх, вздыхает он, что ж, пора! Пока Антанта не вернулась с ночного дежурства — тихо уйти, скрыться. Она жива, это главное, такая же симпатичная, устойчивая. Старшая! — хохотнул

он. Даже свою квартирку в коммуналке получила!.. Встретит приличного мужчину, выйдет замуж, родит раз-другой, проживет еще лет шестьдесят. И забудет его, мальчика Армика из школы за спиной «банного Ломоносова». Хотя это вряд ли: первый мужчина, тем более преступник, не забывается. Вот несчастье-то!..

Он перекидывает через голову ремень холщовой сумки, где подсвечник и кое-какие другие важные предметы, сверху запахивает полы теплой куртки и выходит в большую осень. Но судьба не отпускает его отсюда, потому что уже через минуту видит Антанту. Она спешит с дежурства. Машет ему рукой, а приблизившись, говорит иронично-улыбчато:

— А, ясно, сбежать надумал! Ну-ка, кругом и марш домой! Кстати, возьми пакет у женщины, там продукты всякие, рука аж усохла. Джентльмен!..

Потом она готовит пышную яичницу с предварительно обжаренными кусочками сала, и Арам поедает это одним махом. Вдруг хорошо ему. Антанта сидит напротив, жмурится.

— А теперь — сюрприз номер раз! Кофе я раздобыла. Знаешь, какой кофе? Редкость, им-порт-ный! Сейчас сварю тебе. Никак соскучился по кофю-то, странник?

Арам даже вздрагивает: странник, сказала она! Но успокаивается.

— Спасибо, сварил, очень хорошо. А хочешь, я сам сварю, — предлагает, — это у меня вполне здорово получается — кофе по-восточному.

— О! Ну давай, никогда не пробовала. А я сейчас — три-четыре минуты.

Она возвращается в халатике и в тапочках на босу ногу. Арам понимает:

— Устала с ночи, да? Ложись, поспи.

— Ни капли не устала, — слышит в ответ. — Но... действительно лягу, вот только твой кофе допью, вкусно-то как!.. Лягу.

Это мой тебе сюрприз номер два, а вообще, конечно, главный. Понял? Выйди на минутку, я разденусь и лягу, а ты ко мне...

Потом Арам часто вспоминал эти часы, этот день. Чтобы задать контраст событию, в оконное стекло загрохотал дождь, стекали струи, стуча о жёсть подоконника, — в общем, небо истерично рыдало, а Антанта смеялась. Не стонала, прикусив палец, как тогда, восемь лет назад (ее восемь), а тихо смеялась, а потом мурлыкала, выгибая спину. Странное дело: Арам понял, как истошно любит ее и как они далеки друг от друга, не духовно, а именно физически. В какой-то момент он даже испугался, что сейчас рассыплется, подобно извлеченному из египетской пирамиды папирусу, и только кучка мелкого праха останется на кровати Антанты. Тогда — кровь, теперь — прах. Вот такие контрасты.

А еще она, святая душа, сообщила ему следующее. Что за эти восемь ее истекших лет она ни с кем из мужчин не общалась. Нет, не потому что не хотелось в принципе (да, бывало, а как же!), но не желала она никого — только Армик, когда вернется. Теперь, когда это наконец произошло, пройдет девять положенных месяцев, и будет ребенок. Потому что сегодня — именно тот день, когда всё складывается. «Ты, Армик, — сказала Антанта, — вовремя вернулся, именно в самый нужный день. — И добавила, улыбаясь: — А если ты исчезнешь, как мне кажется, то не беспокойся: всё у нас с тобой хорошо. Отныне ты свободен — не от меня даже, от греха, того самого».

Вот оно, вот! — понял он в тот момент. Вот, оказывается, для чего он ехал к ней за три века и тридевять земель, искал и нашел! Вот, оказывается, для чего: чтобы услышать: «Ты свободен». Ни греха, ни преступления. Вернее, было это, было, но отпустили, сказали душе: свободна!

И у него затряслись плечи. Антанта склонилась над ним, повернувшись на живот, и стала мягко оглаживать ему спину. Что-то шептала, но разобрать что, он не мог. А потом, уже прощенный, свободный, Арам вернулся к ней, Антанте, в ее сегодня...

Дождь не прекращается, стемнело, а они всё лежат, обнявшись. Живой Арам спрашивает:

— А почему ты, сердечное согласие мое, так и не интересуешься, кто я, где был, ну и прочее? Странно.

— Тебе хочется рассказать?

— Нет, пожалуй.

— И ладно. Я же сказала тебе, что не любопытная. Ты со мной, а что до прочего... Нет, все-таки одно, — усмехается, — потому что все-таки я женщина. Жена у тебя есть?

— Нет. И не было.

— Вот и славно, — кивает Антанта. — Значит, ты мой. С детства и до сейчас. И до конца. Мой. А где и кто — дело десятое. Ты свободен, но ты мой, вот такая история.

— Странно выходит на этой планете костей. Планете костей — так определил один мой знакомец. Тут создаются и такие истории — добродетельные.

— Какая-то планета костей, ты о чем?

— Да, не бери в голову.

— И не буду. Хорошая у нас планета. И потому — вот что. Ой, как здорово, что сейчас вспомнила! Расскажи мне еще раз про твой Арарат, про детство. Про поездку с дедом. Помнишь, ты мне не раз рассказывал? Почему-то я очень любила эту твою историю. До сих пор будто всё вижу: горы, долина в виноградниках, река, — слышу, как птицы поют, чую жаркие запахи... Ну, расскажи! Папик и торник, так?

Арам улыбается:

— Да, так: дедушка и внучек по-армянски. Только ударения ты опять ставишь не там. Надо на последнем слоге: папик, торник. Запомни наконец, троечница!.. Ладно, слушай.

Я родился в Ехегнадзоре. Там, как говорил мой дедушка Гевоорг, семья жила когда-то большим домом, но после известного

события... ну, которое в 1915-м году, почти все разбрелись, сам дедушка перебрался поблизости в Гладзор, а мама увезла меня в Эривань, к какой-то дальней родственнице. Там мы и осели, и было мне всего пять лет.

Эривань назывался так почти до начала большой войны, а потом — Ереван, как и сейчас. Но тогда для меня это был Эривань, большой город, шумный, звонкий, с булыжными мостовыми, а главное, преогромным базаром, куда свозили товары со всей Армении. Наверное, с той поры я и влюбился в базар: можно ходить с мамой часами, толкаться, выбирать всякое, торгуясь, а в глазах аж рябит ото всего, что тут есть! Но на маму, помню, базар не производил особого впечатления; она вообще стала молчаливой после того события, когда, в числе очень многих, как я узнал потом, был убит и мой отец. Зато помню, как она повторяла: «Тут безопасней, но не до конца, не до конца!» Я не понимал смысла этой ее навязчивой фразы.

Весной, обычно в мае, когда горы совсем освобождались от снега и просыхали возвышенные дороги, за мной из Гладзора приезжал дедушка Геворг, папик Геворг, и забирал на всё лето к себе. Конечно, это было здорово, хотя в первое время я тосковал по маме. Но тихий зеленый Гладзор с шумной речкой казался мне куда лучше шумного Эривана. Однако дело было даже не в самом Гладзоре, а в дороге туда. Вот эту дорогу, это наше путешествие с папиком из Эривана в Гладзор я запомнил на всю жизнь.

Кем папик был, мне уже неизвестно, но кажется, когда-то он кое-что имел, потому что к тому времени у него еще осталась коляска. Я ее обожал. Четырехколесная, с откидным верхом, на рессорах, два маленьких кожаных диванчика напротив друг друга. Мягко, просторно. А сам папик сидел спереди на «козле», как он говорил, тоже покрытом кожей, и управлял лошадью. Лошадью! Впрочем, лошадь была не его — он брал ее, так сказать, напрокат.

Ну вот, значит, май, за мной в Эривань приехал папик Геворг, переночевал, а на завтра мы поехали. Я сижу в коляске и пою от счастья.

— Не трать силы, торник, — опять оборачивается ко мне де-душка, — не трать их попусту, нам ехать два дня, еще пригодятся тебе силы.

— Да, папик, — тут же отвечаю я и продолжаю петь, но теперь тише.

Наконец мы покидаем пыльные предместья Эривана и долго катим на юг, к Араратской долине. Но это действительно долго, даже я устаю. А что делать, надо терпеть. В середине дня останавливаемся, перекусываем тем, что нам заготовила мама, и снова в путь.

— А когда Арташат? — в который раз кричу я пипику в спину. Он не оборачивается, но его спина отвечает мне:

— Скоро, торник, скоро, еще час или два.

Арташат — это городок, где мы заночуем у какого-то давнего друга папика. Саманный домишко, во дворе небольшой хлев для осла и нескольких овец; там остро пахнет пометом. Рядом — летний очаг из почерневших камней, от которого пышет вкусно. «Иди, иди сюда, мальчик! — зовет оттуда друг папика. — Баранина, горячий еще лаваш, холодное мацони! Кушай, мальчик, кушай, дорогой, дай Бог тебе здоровья!..»

Утром снова в путь, и вскоре мы въезжаем в Араратскую долину. Слева по нашему ходу — каменистые сбросы без хоть какой-то зелени, а справа — благодатная картина: вдоль дороги и намного вглубь — рощи алычи («Ткемали, — повторяет мне папик, — запомни: ткемали!»), она недавно отцвела и теперь ее бело-розовые лепестки лежат тут коврами, а в просветах между деревьями уже видны виноградники. Виноградники тянутся вперед и вправо, долго вправо, до голубеющей где-то очень далеко высоченной горной гряды. Ее вершины затянуты кучковатыми облаками, но вдруг нам несказанно везет, и я наконец вижу. И кричу:

— Папик, вот он, Арарат, да?

Папик, поскольку сидит на «козле» не оборачиваясь отвечает мне спиной.

— Да, торник, это он, Масис. Наш Масис. Рассмотрй его хорошенько.

Ну да, я уже столько раз видел его на всяких картинках и рисунках. Большой Арарат, Малый Арарат. Двугорбый, как верблюд. Вершины в снегу. Мерцают так, что глаз не оторвать. И даже отсюда мне слышно, какая там, на этих вершинах, тишина. Другой мир.

— Это наш Масис, — повторяет спина папика. — Нам с тобой повезло сегодня. Он открывается тем, кто странствует с добром в сердце.

— Это как?

— А потом, потом, торник! Пока же запомни: мы вышли отсюда, с его склонов. Наши давние предки Арамуши жили там. Масис — наша первая родина. Да нет, главная.

— Так поехали туда! — радостно кричу я. — Это же близко!

Папик поводит плечами.

— Во-первых, почему ты кричишь, у меня хороший слух, понял? Во-вторых, это не близко, это очень далеко, так тебе лишь кажется, будто рядом. А

в-третьих... там граница, понимаешь, и Масис, он теперь там... не с нами.

Я ничего не понимаю.

— Как это — не с нами, если мы оттуда?

— Такое случается на земле, торник. Что ж... Но это, мы знаем, временно. Надо потерпеть, да... Перед Масисом — наша река Аракс, но она и есть пограничная. И даже к ней не подойти поэтому. Но ничего, ничего, надо потерпеть. Там, за Масисом, наше самое большое озеро, Ван называется, запомни, и там самый наш главный храм, запомни тоже... Запомнил? — спрашивает вскоре. — И не кричи больше, а смотри лучше.

У меня хорошая память, я всё запоминаю. Гляжу на Масис не отрываясь. А коляска папика всё катит, катит. На ветвях ткемали сидят стайки серо-бурых птиц и вдруг, разом сорвавшись,

перелетают на другое место; вместо них в моих ушах остается пенье, оно никуда не перелетает.

— А! — явно улыбается спина папика. — Это наши говорушки. Смотри, как хвосты держат, прямо к небу! Они прилетают сюда из далеких южных пустынь, когда там становится очень уж жарко. У птиц нет границ, как хорошо! Говорят, говорят, ну прямо базар — потому и говорушки. А смотри, усядутся на большой ветке, прижмутся боками, выставят к небу хвосты и запоют. Слышишь?

Я слышу. И еще вскоре слышу новый звук, низкий, но нежный и будто веселый. Папик показывает мне палец из-за спины.

— Это? На зурну похоже, да? Правильно. Зурна, как говорил мне отец, значит праздничная флейта. Что такое флейта, знаешь? Ну, такая длинная серебряная дудка с дырочками. Дуешь в мундштук, а пальцами перебираешь дырочки или клавиши. Хотя, говорил мне отец, зурна по звучанию больше похожа на гобой. Что такое гобой, знаешь? Ну ладно, ладно, слушай дальше.

Я слушаю. Зурна то громче, то вовсе шепотком. Откуда она тут, на дороге?

— Ты пить хочешь? — спрашивает папик.

— Давно уже, жарко-то как!

— А что ж молчишь?

— Терплю.

— Это ты молодец. Тогда я тебе скажу. Это речка в камнях поет, вот там, под склоном. Она бежит в долину к Араксу, но уже через месяц усохнет, совсем ручейком будет. А пока поет. Вода в ней — лучше нету. — И одергивает лошадь. — Пить хочешь, сказал, да? Ну, бери кувшин, спускайся, только осторожно. Тут упасть на сухих камнях на склоне — совсем просто, а еще и кувшин разобьешь, что очень плохо, понял? Боком спускайся, боком, медленно, и кувшин береги! — слышу я уже сверху от дороги.

Роца остается выше, а тут, между острыми камнями, только колючки и низкий кустарник. Мои голые ноги уже в мелких порезах. В сандалии забился песок. Но как зазывно мерцает река внизу! Голубым и ярко-белым, когда переваливается через валуны. И всё громче и громче поет при приближении.

Я осторожно укладываю кувшин у самой воды, скидываю сандалии и, балансируя на скользких камнях, позволяю реке дойти мне до коленей. Уже не чувствую боли от порезов, потому что ноги охватывает жуткий холод. Лоб мой в поту, а ноги во льду. Быстро на берег! Потом, обувшись, опять захожу в воду, укладываю кувшин между камнями горлышком против течения, а сам хлебаю из ладошки эту хрустальную водицу. Сводит зубы. Мама, если б увидела, упала бы в обморок: «Армик! Горло застудишь, с ума сошел, сынок!»

Путь вверх — самое тяжкое. Сразу нестерпимо жарко, острые камни, те же колючки. Главное — не выронить, не разбить кувшин! Как-то мне это удается, хотя, расплескав, я приношу только полкувшина. «Молодец! — спокойно говорит папик и извлекает из короба свой любимый винный стаканчик. Аккуратно наполняет его водой из кувшина. Протягивает мне: — Пей, торник, ты заслужил, я после тебя... А! — потом утирает седые усы, — я же сказал, это лучшая вода в Армении...»

Мы опять катим, и, кажется, я задремываю. Меня баюкает коляска. Папик время от времени разговаривает сам с собой, а о чем, не понять. Например: «И чего это Лия, твоя мать, моя дочь, надумала увозить тебя отсюда куда-то на север? Ослушница! Всё тут может повториться, твердит. Ну, да, может, но Господь наш все-таки есть, и кто-то должен оставаться на своей земле, а, Лия?»

Мы едем еще час, два, дорога забирает всё левее, левее, всё выше и выше, и как-то начинает таять вдалеке мой Арарат, мой Масис, и вот уж вовсе скрывается за очередным поворотом. А что до птичек-говорошек и той самой зурны — праздничной флейты, то я их уже давно не слышу.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СТЕЛА МАРИС

Да-да, всё смешалось в этом богоугодном мире, чего совсем не предвидел Владыка, а тут еще сей странный звук. То ли он изнутри, то ли снаружи. Ах, вот в чем дело! Это скрипит Земля на оси, давным-давно не смазанной. Оттого и планета поворачивается натужно, неравномерно. А значит, время иногда замедляет ход, и, вместо того чтобы быть верноподданной все-ленской астрономии, то есть всегда бодрствующей, Земля в такие периоды сонно покачивается в гамаке, сотканном из параллелей-меридианов. Тут и происходят события, о которых знают немногие, а верят в них и вовсе единицы. Если они не правы, то гореть им в костре инквизиции. Однако...

Однако теперь другие времена, хотя о нравах говорить не стоит. Меняются атрибуты, а суть остается неизменной; это и есть планетный гомеостаз (внутреннее постоянство), и, чтобы устойчиво выживать, люди подвержены ему в полной мере. Поэтому известный сакраментальный вопрос «что есть истина?» смешон по определению.

— А вы, простите, кто — историк?

— Я? Историк, историк! — И раздается тихий смешок.

— Чего ж тут веселого?

— И вправду ничего. Извините. Просто сразу вспомнилась одна известная фраза из одного известного романа. Там еще было такое продолжение: «Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!»

— Не понял! Каких прудах?

— О'кей, не берите в голову. Просто цитата к месту, не более того. Русский роман, чего там только не намешано! Да здесь и прудов тех самых нет...

Это именно так. Тут почти райское местечко, Stela Maris называется, как гласит дорожный щит при въезде. Всё одноэтажное — коттеджи, ресторанчики, поэтому даже небольшой теннисный стадион выглядит чуть ли не монстром. И тихо: залив Адриатического моря, ласкающий Стелу Марис с ее прибрежной сосновой рощей, ведет себя вполне лояльно. В общем, повторим, почти райское местечко, особо привлекательное для туристов среднего класса.

Деревянные коттеджи разбросаны в сосновой роще совсем близко от моря. Главное, обувать шлепанцы, поскольку мягкий ковер из сосновых иголок может и поранить. Дальше — пляж или, если в другую сторону, — магазинчики, сувенирные палатки, ресторанчики и прочее. Идиллия. Идиллия, коли вам не скучно жить одному в двух комнатах плюс кухня, плюс терраса, плюс уютный дворик со столиком под навесом и лонгшезами. Одна просьба, если вам не лень: поливать клумбы, чтобы не сохли агавы и другая местная флора.

Но с другой стороны, нет лучшего места для медового месяца! Или, с третьей стороны, для десятка дней высокой любви, когда вам уже под сорок и вы наконец встретили ту, которая единственная, не в пример двадцатилетней красавице-дурехе. Но всё это — и первое, и второе, и третье — прекрасно по-своему, не стоит ерничать. Есть еще и четвертая сторона. А если вы не забыли, число «четыре» в нашем повествовании значит многое.

Скажем, в коттедже А нынче поселился некий господин, предпочитающий устойчивое одиночество, а в коттедже Б, что совсем рядом, — странная пара: мужчине, как и господину из коттеджа А, лет пятьдесят, а его даме — ну, под восемьдесят, похоже. Может быть, она его мать? Почему бы и нет.

Проходит несколько дней, и господин А, лентяй, поднимающийся поздно, видит со своей терраски эту пару, уже возвращающуюся с пляжа. Господин Б в шортах и с полотенцем через голое плечо, а пожилая дама, прямая как трость, в шляпке и в легком брючном костюме. Следуют к себе они тихо, и если переговариваются, то их голосов не слышно. Очень удобное соседство: ведь господин А жуть как не любит шума.

Потом он видит их сидящими у себя во дворике за столом под навесом. Время от времени господин Б встает, скрывается в коттедже и вскоре ставит перед дамой какое-то блюдо или графин с соком. Короче говоря, ухаживает. А может быть, думает господин А, он ей вовсе не сын, а, скажем, дворецкий или... ну, некто играющий для богатой старухи роль услужливого любовника? М-да, чего только не придет в голову!..

Где-то к десяти вечера, когда над Стела Марис распахивается усыпанный алмазами черный бархат, господин А, как правило, идет в ресторанчик на берегу залива, и именно в тот, где живой пианист негромко играет на живом пианино. Еще лучше, если это джаз. Мягко светятся китайские фонарики. Публика тут спокойная, ибо не слишком молодая. Господин А заказывает традиционный стейк, рыбный салат и бутылку «Грольша». Вскоре ему совсем хорошо, и он слушает пианиста. Потом прогуливается вдоль залива, шурша обувью по мелкой гальке. Потом возвращается в свой ресторанчик и заказывает кофе с «Хеннеси». «Нет, — говорит себе в очередной раз, — больше я никуда не поеду! Я тут отдыхаю — тут, ясно!..»

Странно или нет, но в некий вечер там же, ресторанчике, господин А видит своего соседа господина Б, однако без дамы, одного. Сидит один за дальним столиком, что-то потягивает и явно слушает музыку, мягко выделяваемую пианистом. Похоже, такое вечернее одиночество ему, господину Б, вполне по душе. Ну да, рассуждает про себя господин А, его пожилая дама наконец улеглась, заснула, а он пошел побродить, что-то выпить слегка, побыть наедине с собой. Может, и так, почему бы и нет.

Это повторяется несколько вечеров, и наконец, когда их глаза, разделенные прочими столиками, случайно встречаются, господин А и господин Б кивают друг другу, поскольку каждый из них признал соседа по коттеджу. И кивки эти явно доброжелательные, не только вежливости ради. В общем, вполне понятно и совсем не странно, что в следующий раз они оказываются уже за одним столиком. Сколько ни цени одиночество и сколько ни справляй его, а одиночество вдвоем тоже имеет свою цену.

Поскольку принято как-то обращаться друг к другу, выясняется, что господина А зовут Свен, он норвежец, а господин Б — Георг, он приехал сюда из США. И всё, больше никаких вопросов, в том числе про пожилую даму господина Георга. Зачем? Это их дела, главное сейчас, что обоим мужчинам несомненно хорошо: похоже, они одного возраста, похоже, предпочитают тихий комфорт, похоже, вовсе не любопытные. Однако...

Можно долго молчать или говорить ни о чем (о погоде уже бессмысленно: она здесь пока никак не являет разнообразия), но если вы часами сидите вдвоем за одним столиком вот уже третий вечер и, повторим, вам хорошо, то что-то как-то проклюнется, даже помимо воли. Симпатия находит адресат, и в случаях крайних могут открыться невероятные сближения.

Вот мы и возвращаемся к коротко означенному выше. Кстати, заметим, что разговаривают наши господа по-английски, причем оба с акцентом.

— Да-да, согласен, — кивает господин Георг, — теперь другие времена, хотя о нравах говорить не стоит. Меняются атрибуты, а суть остается неизменной. Это и есть планетный гомеостаз, то есть внутренне постоянство, и, чтобы устойчиво выживать, люди подвержены ему в полной мере. Поэтому известный сакраментальный вопрос «что есть истина?» смешон по определению.

Господин Свен почти смущен этой тирадой.

— А вы, простите, кто — историк?

— Я? Историк, историк! — тихо смеется господин Георг.

— Чего ж тут веселого?

— И вправду ничего. Извините. Просто сразу вспомнилась одна известная фраза из одного известного романа. Там еще было такое продолжение: «Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история!»

— Не понял! Каких прудах?

— О'кей, не берите в голову. Просто цитата к месту, не более того. Русский роман, чего там только не намешано! Да здесь и прудов тех самых нет.

Это, повторим, именно так. Зато тут есть другое. Ну, если быть точным, не конкретно в Стела Марис, а относительно неподалеку отсюда, в часе езды, если у вас есть машина.

— Кстати, у меня есть машина, — без всякого намека вдруг сообщает господин Свен. — Взял напрокат. Прокатный пункт вон там, — и указывает где. — Взял — а зачем? Пару раз объездил окрестности, и надоело. Может, это потому, что я тут не в первый раз.

— Можно сдать обратно, господин Свен.

— Просто Свен, хорошо?

— О'кей, а я просто Георг.

— Чудесно... Да нет, пусть стоит пока. Это я про машину. Вдруг пригодится?

Георг пожимает плечами. Потом спрашивает:

— И как тут не в первый раз?

— Э, сразу не ответишь. Хорошо, странно, нормально... ну, и вполне по средствам. Ладно, все-таки хорошо... А вы, Георг, тут впервые?

— Да, — кивает собеседник, — мы тут впервые — мама и я.

Все-таки она ему мать. Слава Богу! — думает Свен и машет официанту.

— Закажу, пожалуй, еще рюмочку «Хеннеси». А вы, Георг? Давайте, я угощаю, а?

— С удовольствием, А потом я вас угощу.

— Идет! — И оба улыбаются.

— А почему, простите, вы сказали, что тут вам странно и хорошо? Если что-то не так, снимаю вопрос.

Свен уже греет в большой ладони рюмку с коньяком.

— Странно и хорошо? — переспрашивает. — Хорошо, хорошо! Это ж, Георг, благословенные субтропики! А я человек северный, норг, и дело мое — летать на вертолете над ледяными горами, снежниками, над прибрежным океаном. Такая работа. Я полицейский, знаете ли. Экологическая полиция — есть такая служба у нас на Шпицбергене, конкретно в Лонгьире. Вот я оттуда. Всяких непутевых экспедиционеров ловим, если они медведя завалили. Археологов иностранных, гляциологов, кого-то еще. Акт, протокол, потом штраф, ну и прочее. Однако всё доказать надо. Такая работа. Бывает, весь день в воздухе.

— Да, никогда не думал, что окажусь за одним столиком с полицейским! — смеется Георг.

— Не беспокойтесь, — принимает шутку Свен, — я же сказал, что на защите наших заповедных медведей, а к уголовным делам отношения не имею.

— И на том спасибо!

— Да, за год так намерзнешься! Хоть я давно привычный, а в отпуск именно сюда тянет, кости погреть. О пенсии стал мечтать. Это еще пять лет, знаете ли. Вот выйду на пенсию и перееду на континент, южнее, в Тронхейм, например. Все-таки он на море, а без моря я уже никак не могу. Кровь, наверное: ведь все мои предки только и делали, что плавали. Кто рыбу ловил или на китов охотился, кто разбойничал на морях. Да, и это было: мы же норги, то есть норманны. Разбойники, завоеватели.

Интересный поворот сюжета! — думает Георг. Потомок морских разбойников в образе сегодняшнего полицейского! Да, прав был отец: всё смешалось в этом богоугодном мире... И еще: странно, что про свое «странно» Свен не проронил ни слова. Ведь это его фраза: тут ему странно и хорошо.

— Смотрите, — говорит Георг и извлекает из кармана местную монету. — Это к вопросу о ваших медведях. Да нет, просто совпадение. Пять кун. Видите?

— Знаю, конечно. Шикарный мишка! Бурый, однако, не наш белый, наш покрупнее. И надпись смешная: medvjed, — читает Свен, сощурившись.

— Это на западно-славянском и в латинском написании.

— Ну и ладно.

— А странно все-таки, — проговаривает Георг будто самому себе, — странно: медведи у вас, медведь тут, пусть и на монете.

— Совпадение, вы правы, не более того... Э, Георг, а вы грозились заказать нам еще по рюмочке — так сказать, на сон грядущий?

А ничего не меняется в Стела Марис: как и погода, время тут будто остановилось. Даже дальний колокольный звон из невидимой отсюда базилики, регулярно возвещающий о начале службы, — свидетельство тому, что упомянутый выше гомеостаз, то есть постоянство, есть единственная неразменная золотая монета истины сущего...

Георг поужинал вместе с мамой во дворике возле коттеджа и еще через пару часов, удостоверившись, что она улеглась у себя в комнате и читает, пожелал ей спокойной ночи и пошел прогуляться. Еще минут через сорок, надышавшись йодным настоем воздуха у залива, он входит в полюбившийся ему ресторанчик, где живой пианист наигрывает негромкий джаз, а за своим столиком уже сидит тот самый норг, норманн, потомок морских разбойников, полицейский со Шпицбергена; короче говоря, тот самый Свен. Всё должно быть как обычно, но вдруг — неожиданность.

Сегодня здесь шумно, в центре зала — длинный стол, за которым что-то обсуждает компания еще довольно молодых людей обоюбого пола. Вот они и галдят, впрочем, без признаков излишней подзаведенности, хотя стол уставлен бутылками и закусками. Георг удивлен, но наконец видит своего Свена; тот уже машет ему, привстав из-за столика в углу зала.

— Целое пиршество! — усмехается Георг, присаживаясь. — Что это вдруг?

— Э, иногда бывает. — говорит Свен и затем почти хохочет. — Ей-богу, всё одно к одному!

— То есть?

— Сейчас расскажу. А вы пока закажите себе что-нибудь. Не беспокойтесь, они скоро разойдутся, опять будет тихо. — Он закуривает и терпеливо ждет, пока официант приносит Георгу кофе и десерт. Вдруг спрашивает: — А кофе на ночь вам не вредит?

— Напротив. Прекрасно сплю. Похоже, это свойство мне досталось от отца: он обожал кофе на ночь, как рассказывает мама. Правда, умел готовить его здорово. Кофе по-восточному, не то что, простите, этот.

— М-да, а вот я, простите тоже, на ночь предпочитаю пару рюмочек, как вы заметили. Вероятно, опять же от предков: они, норги, всё время должны были согреться. Наследственность!

— Именно, именно... Но вы, Свен, хотели поведать мне про эту шумную компанию.

— Конечно! Не удивляйтесь: это — старатели. Да-да! Ищут золото. Ну, как на Клондайке, ей-богу! Но... какое золото?

— Какое? — тут же задает вопрос Георг.

— А, вот в том и штука!.. Ладно, уж коль сегодня так случайно сложилось, то расскажу, если вам интересно.

— Очень.

— Было это, если точно, ровно четыре года назад, — начинает Свен. — Я приехал сюда, на Истрию, по турпутевке, в отпуск. Мне посоветовали: и достаточно комфортно, и совсем не дорого. Отлично, погрею кости!.. Действительно, так и было. Адриатика, тихо — ну, рай. Но поскольку по натуре я человек заводной, на одном месте скучаю, то стал ездить на всякие экскурсии, тем более тут есть что посмотреть. И вот однажды...

Ехали мы в Бриони — летнюю резиденцию Гито, что на острове в Адриатике, теперь там музей. Дорога шла высоко в горах, и где-то через пару часов сделали короткую остановку: размять ноги и так далее. Наш гид, точнее гидша, симпатичная женщина средних лет, поманила нас к краю обрыва. Я глянул вниз — и дух перехватило! Поверьте, я знаю, что такое горы,

тем более при виде сверху, когда летаю на вертолете. Но тут... Это был каньон, узкий и глубокий, а на дне его искрилась река. Голые вертикальные сбросы, хотя кое-где есть лесистые участки. Такого глубокого каньона я в жизни не видел. И тишина! Понимаете, и кругом, и особенно там внизу — мертвая тишина, будто... будто это другая планета. Ну, я не романтик, но меня такое впечатлило. Не зря поехал на эту экскурсию, подумал.

Однако оказалось, что увиденное — только наполовину «не зря». Вторая половина — услышанное.

Сели мы в автобус, катим дальше, и гидша рассказывает. Будто давным-давно, в семнадцатом веке, сюда приплыл знаменитый пират Морган, который тогда уже скрывался от английского правосудия, вошел с моря по реке в этот каньон, обосновался там на некоторое время и закопал в только ему известном месте на каком-то склоне свои несметные сокровища. И отплыл не куда-нибудь, а в Австралию. В общем, сбежал, схоронился, в надежде через годы вернуться сюда и взять, так сказать, свое... Вот такая легенда живет тут с нами, продолжала гидша, а откуда она пошла, неизвестно. Кто-то когда-то сболтнул все-таки. Может быть, один из членов команды Моргана. Легенда жива до сих пор. Люди приезжают и ищут тот самый клад. Уже многое перекопали. Нет, не местные, они давно перекопали первыми. Теперь — те, кого и называют старателями. Разные люди, иностранцы, для них это уже, похоже, некий вид спорта, ну и поживиться никто не прочь. Хотя в последние годы они тут всё реже.

Вы знаете, Георг, меня чуть в кресле не подбросило! Отчего? А оттого, что у каждого, как говорят англичане, свой скелет в шкафу. Мой скелет — это наша семейная легенда. Еще одна легенда, вот так! Но обе они, черт возьми, сходятся. Чудеса!

Э, я закажу себе еще рюмочку «Хеннеси». А вам? Ну и правильно, не повредит... Так вот, ха-ха, про скелет. Легенда нашего рода гласит, что одним из моих предков был некий Енсен, мой, стало быть, пра-пра-пра, который плавал вместе с Морганом. Именно с тем самым. И пиратствовал с ним за милую душу. И будто бы удрал с ним в Австралию. Что с этим моим пра-

пра-пра стало потом, покрыто мраком, но никак не иначе, он вернулся в Норвегию и кой-кого родил, и пошло-подлилось, иначе как бы я сейчас разговаривал с вами? Теперь вы принимаете, почему меня чуть не выбросило из кресла, пока вещала гидша?

— Стало быть, Свен, ваша фамилия Енсен? — спрашивает Георг. Он с трудом сдерживает чувства, хотя это и незаметно его соседу по столику.

— Именно Енсен, — кивает тот.

— Хотя Енсенов в Норвегии, простите, пруд пруди?

— Несомненно. Но тогда почему среди других Енсенов не бытует эта самая легенда?

— Да, очень интересно. А еще каких-то сведений про этого вашего пра-пра-пра у вас нет?

— Ничего. Кроме одного, пожалуй. Он так и не разбогател. Все мои предки, кого я помню, работали как черти. Какие там сокровища, какое наследство! Ваш покорный слуга живет только на свое жалованье. Но не жалуется, мне вполне хватает... Кстати, — кивает Свен на компанию старателей, — видите, я был прав — они уже уходят. Обсудили очередную неудачу по части кладоискательства. Смешно, но они не знают, что искать там с некоторых пор уже нечего!

— Вот как? Вы уверены?

— Георг, говорю ответственно: да.

— Ничего себе! Заинтриговали. Чувствую, у вашей истории есть продолжение?

— А, ну да, ведь вы историк? — усмехается Свен.

— Нет, это была шутка. Я биолог, сейчас работаю по контракту в Массачусетском институте.

— А сами откуда?

— Сложный вопрос. Верней, вопрос простой, ответ сложный.

— И ладно... Значит, что потом. Было ли продолжение этой истории? Было, а как же! Думаете, перед вами вполне разумный, спокойный человек? Нет, перед вами авантюрист!

— Наследственность опять же, — улыбается Георг, хотя ему не просто интересно — он напряжен.

Свен согласно кивает:

— Именно, гены чертовы! Ну, слушайте.

Тогда, четыре года назад, я буквально заболел рассказом нашей гидши, но ничего не предпринимал, дожил до конца тура и вернулся к себе на Шпиц. Работал. Всё как обычно. Однако постоянно думал о том самом каньоне. Полагаете, я мечтал разбогатеть или стать знаменитым? Ни то, ни другое. Легенда, легенда, и не одна, а целых две, но обе в одну точку! Ну, не может быть так, что это сплошное вранье, упрямо считал я. Стал просматривать литературу о Моргане, но оказалось, читать почти нечего, это раз, а два — источники ничего не упоминали о том, что он, сбежав от англичан, приплыл на Адриатику, а потом и вовсе оказался в Австралии. И ни слова о сокровищах. Такой конфуз!

И тут я сказал себе: мой пра-пра-пра, конечно, был хищником, но за просто так с хищником Морганом не ударился бы в бега. Что-то ему светило, и отнюдь не малое. Может быть, зная о делах в каньоне, он вскоре решил обдурить самого Моргана? Решил или нет, но у него ничего не вышло: как я уже говорил вам, от тех сокровищ ему и единой монетки не перепало. А мне перепадет, вдруг родилась во мне уверенность, и я докажу — себе докажу, — что если две легенды бьют в одну точку, то это — как сходящиеся нити пеленга.

Ну, я же не зря сказал, Георг, что перед вами авантюрист. Ага, спокойный, законопослушный полицейский!..

Короче говоря, ровно через год я снова оказался по турпутевке на Истрии, вот в этой самой Стела Марис, и снова поехал на экскурсию в Бриони — а на самом деле еще раз глянуть сверху на каньон и переговорить с гидшей, если, конечно, экскурсию будет вести именно она. Мне повезло — авантюристам понача-

лу обычно везет. Сверху, с обрыва, гидша указала мне место, где Морган будто бы разбил свой лагерь. Плоская поляна над рекой. Значит, сокровища зарыты где-то поблизости? Ищите, не почувствовав серьезности моих намерений, отшутилась гидша, поблизости тут давным-давно всё перекопано, и не только поблизости, а там тоже. И указала на противоположную стену каньона. Ну да, ну да! — отшутился я в свою очередь.

Но ту поляну я запомнил. Взял машину напрокат, прикупил плотную одежду, перчатки и поехал туда. Спуск, пока были силы, занял часа два. Я ж не скалолаз все-таки. Спасибо, что не сорвался. Однако заветной поляны не достиг. Вот если бы снизу, со дна каньона, с реки!.. Еще через пару дней, несмотря на еще не зажившие ранки на ногах и ушибы, приехал туда снова, причем обувшись уже не в кроссовки, а в специальные ботинки, которые мне порекомендовали в обувной лавке. Увы, результат оказался почти таким же: я спустился заметно ниже, чем в прошлый раз и, может быть, в конце концов и достиг бы поляны, но вовремя понял, что сил на обратный путь, на подъем, уже не хватит. Вернулся сюда, в Стела Марис, и долго приходил в себя. Ты не полицейский, а неудачник, повторял себе. С тем и вернулся домой, на Шпиц.

В прошлом году я оказался здесь снова с твердым намерением достичь результата. Для этого надо было хорошо экипироваться. Мотки веревок с карабинами, крючья, «кошки». Это мне в Лонгвире подсказали гляциологи. Достал, прикупил — рюкзак получился внушительным, поскольку еще и палатка. Опять же взял здесь машину напрокат. Выждал несколько дней, акклиматизировался после холодов Шпица — и вперед...

— Так, так, так! — вдруг усмехается Свен после короткой паузы. — Да, маленькая передышка. Давайте-ка по рюмочке, идет? И по чашечке кофе, хоть он тут, согласен, не самый лучший? Вот и чудесно. А я покурю пока.

— А я закажу, — соглашается Георг.

— Сделайте одолжение.

В ресторанчике тихо. Легкий говор посетителей, пианист выделяет импровиз на тему «Каравана» Дюка Элингтона.

Слышно, как на заливе покрикивают бакланы; обычно ближе к ночи они усаживаются на рассыпанных по воде камнях и время от времени переговариваются. Всё хорошо.

— О чем я сейчас подумал? — опять усмехается Свен, загасив сигарету. — О том, что рассказывать продолжение этой истории я могу часами, со всякими подробностями: это было слишком невероятно, во всяком случае для меня, в мои-то годы! Что могло? Организм в постоянном тонусе — профессия у меня такая... Да, могу рассказывать часами, но зачем? Тщеславие? Нет, это не по мне. Поэтому постараюсь покороче, тем более что во все не я — главный герой всей этой истории.

Мне удалось наконец спуститься до той самой поляны, поляны Моргана. Там я разбил свой маленький лагерь: набрал хворосту, нарубил дров, установил палатку, потому что понял, что придется здесь заночевать, когда вернусь с противоположного склона. Потом — спуск на дно каньона. Потом — переправа через холодную реку, причем с надувным мешком, в котором снаряжение и одежда. Потом — подъем по новому склону, противоположному, если смотреть со стороны поляны. Потом — полное разочарование.

Мне повезло подняться до самой вершины, и на пути я видел следы многочисленных раскопов, старых, то есть почти заросших, и свежих. Я их не просто видел, а, конечно, обследовал, но нет: мои предшественники-старатели тут ничего не нашли, уверяю вас... И вот таким, разочарованным, к концу измотавшего меня дня я вернулся на поляну Моргана, где, спасибо моей предусмотрительности, меня ждала палатка, заготовленные дрова, а в рюкзаке — еда и термос с кофе. И тут, помню, я сказал себе: а почему полное разочарование? Нет, это, напротив, удача: они, дураки, искали вовсе не там, где надо! А где надо? — возник естественный вопрос. Но ответить на него мне не удалось, потому что сон сковал мой мозг, казалось, намертво.

Но нет, было утро, хорошее утро, я себя неплохо чувствовал, и голова соображала. Прямо напротив меня просматривался противоположный склон, где, перебравшись через реку, я вчера

побывал и дошел до вершины. Смех и грех, сколько усилий попусту!.. А где не попусту, спросил я себя?

Взгляд налево: там река внизу и совсем не видимая отсюда сторона каньона, где я нахожусь. С противоположной стороной уже всё ясно. Взгляд направо: каньон вдалеке медленно заворачивал влево и потому... потому, вдруг дошло до меня, та его далекая сторона, казавшаяся отсюда опять же противоположной, на самом деле... на самом деле сторона та же самая, где я сейчас и сижу? То есть если удастся продвигаться вдоль этого, моего, склона, а вовсе не перебираться через реку напротив, то можно обследовать этот склон, этот сброс, и выйти к его вершине, которая, кстати, отсюда все-таки просматривается.

Задача была поставлена. Помню, я хорошо позавтракал, прихватил необходимое и пошел. Главное, не свалиться на дно каньона, предупреждал себя. Знаете, Георг, мне это удалось. Герой! А вы говорите, авантюрист, неудачник!.. Ладно, едем дальше. Вернее, идем. Вернее, карабкаемся.

Много я пропускаю, ой как много, чтобы не утомлять вас! Поэтому только по сути. Все-таки пришло мне в голову, что с вершины горы, куда я поднимаюсь, должна быть видна поляна Моргана: ведь с нее, сидя там, я кое-как видел эту вершину. Ну вот, так и вышло. При мне были бинокль и фонарь, но о фонаре позже. Поднявшись уже прилично, я хорошо разглядел в бинокль место моей ночевки, даже палатку. И стал подниматься дальше.

Там всё заросло низкими колючками и каким-то кустарником — похоже, тамариском. Вот за одним из этих сухих кустов я и увидел небольшой провал. Точнее, дыру. Ну, если встать на корточки, то вполне можно в нее втиснуться. Оставив снаружи рюкзак со снаряжением, за исключением фонаря, я в нее втиснулся. И был поражен: это даже не лаз, а приличного диаметра ход, вглубь которого можно двигаться, лишь пригнувшись. И он явно неприродного происхождения, поскольку свет моего фонаря отмечал на стенах следы от лопат и других орудий труда.

Через минуту, верно, я чуть не помер от страха. Мимо меня, задев и даже отбросив в сторону, промчался некий зверь. Ко-

нечно, я спугнул его светом фонаря и звуком шагов. Кто это был? Пещерный медведь (вот, медведь опять же!)? Вряд ли. Может, лиса или какой-то крупный грызун. Я его не разглядел, только, повторяю, чуть не помер от страха. Но успокоился, поскольку опять воцарилась мертвая тишина. В жизни такой тишины не слышал!

Финал этой пещерной одиссеи вышел скоро. Еще минут через пять лаз несколько расширился. Фонарь высветил тупой конец. Всё. В нос ударил тяжелый запах — не иначе, именно тут квартировал и попутно оправлялся зверь, которого я спугнул. Но! Но под ногами у меня замерцало нечто.

Именно замерцало. Черная тьма, свет фонаря и — два окованных сундука с откинутыми крышками. Я остолбенел. А потом, поверьте, опустился на колени и подполз к этим сундукам. Я не верил своим глазам. И правильно делал. Потому что сундуки оказались пусты.

Вот так-то, мой дорогой Георг! Ну что, еще по рюмочке, да, а то я, простите, разволновался. Ничего-ничего, всё окончится хорошо, как в сказке! Закажите, это за мой счет...

Представьте себе идиота, который сидит на коленях в черной пещере и долго таращится на пустые днища сундуков, поводя туда-сюда фонариком. То еще зрелище! Но что меня всегда спасало, так это устойчивая нервная система. Да, сказал я себе, тут кто-то побывал до меня, да, взял сокровища Моргана, но... но я оказался прав! Две легенды в одну точку просто так не попадают, и я нашел это место! Иди себе с миром, Свен, сказал я себе, всё хорошо, ты молодец.

Я поднялся с коленей и напоследок еще раз прошелся кругляшком света по сундукам. Ничего. А затем прошелся по земле. Там опять же что-то сверкнуло. Пришлось вновь опуститься. Крохотная фигурка, плоская. Явно старинная. Я оттер ее от земли. Никак золотая, подумал. И оказался прав, но это выяснилось после, когда я вернулся домой. Как и то, самое главное, что эта фигурка — ацтекская. Вот такой подарок сделал мне ненароком похититель клада Моргана. Хотите поглядеть на нее, Георг? Она с тех пор всегда при мне.

Свен приспускает «молнию» куртки, расстегивает ворот рубашки и через голову снимает цепочку.

— Да, уже на Шпице тут просверлили маленькую дырочку, как вы видите, чтобы можно было носить. Теперь на мне две цепочки: с крестом и вот с этой золотой фигуркой ацтеков. Думаю, я ее заслужил.

— Вполне заслужили, Свен, — кивает Георг.

— Однако это не конец истории. Потерпите еще две минуты. Потому что я обнаружил там еще кое-что.

Георг не верит своим ушам:

— Неужели?

— Не понял, вы о чем?

— Продолжайте, прошу вас.

— А, ну да. Где-то в метре от сундуков валялся... именно валялся, перепачканный, весь в земле, старинный подсвечник. Это не крохотная поделка, его просто так не обронить. Значит, подумал я, подсвечник оставили специально. А как иначе: всё забрали, а эту дорогую штуковину оставили? Да, оставили, конечно, а почему? Может, за ненадобностью? Не знаю. И несомненно, не бросили под ноги; это зверь тутошний свалил, шастая туда-сюда... Что мне оставалось? Конечно, я взял подсвечник с собой. Привез домой, на Шпиц. Выяснилось, он из бронзы, эпохи средневековья. Предлагали продать. Нет, это мое. Так и стоит у меня дома вот уже год. А на Рождество я зажег в нем четыре свечи. Мне было хорошо... Всё, конец. Такой вот детектив от норвежского полицейского.

После паузы Георг спрашивает:

— Любопытно — а почему ровно через год вы вновь приехали сюда? То есть сейчас?

— Это совсем просто, — тут же откликается Свен. — Отдохнуть, это раз, мне действительно нравится Истрия и Стела Марис. А два... ну, знаете, как говорят, преступника всегда тянет на место преступления. Я не преступник, но, черт возьми, тянет сюда, тянет! Старческая сентиментальность, наверно.

— Бросьте, какой вы старик!

— Ну да, пусть так.

— А скажите, вы не задавались вопросом, кто же опередил вас, кто взял сокровища Моргана?

— Задавался, думал, но коротко. Конечно, не придурки-старатели. Ясно, этот человек был умнее меня. И что-то знал изначально. Знал место, потому что каким-то образом вычислил его точно. Но это — за пределами моего разумения. Нет-нет, мне и моего хватило. Я поставил точку именно в своей истории.

— А если ее чуточку продолжить? — усмехается Георг. — Если я вам скажу — кто?

— Что — кто?

— Кто вас опередил, Свен.

— Вы... серьезно?

— Нет, не я, успокойтесь! — почти хохоча, отмахивается Георг. — У нас с вами вышла престранная встреча здесь, в Стела Марис. Реальность, которой не может быть, но которая все-таки случается. Вы — потомок того самого Енсена, который украл подсвечник у Моргана. А я — потомок, точнее сын, того самого человека, который купил у бывшего пирата Енсена этот самый подсвечник и затем, благодаря ему и волею непредвиденных обстоятельств, спустя столетия отыскал сокровища Моргана. А вам — так получилось — в конце концов достался этот самый подсвечник. Вокруг него такие страсти кипели, и не одно столетие! Тот еще детектив, поверьте, почище вашего!

Как однажды определил подобную ситуацию русский писатель Гоголь — немая сцена.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЕРШАЛАИМ

Священно число «четыре»!..

Старый Армуш опять в Ершалаиме, опять сидит на шукке в центре своего старого ковра, опять мелко торгует и опять ждет.

Нет, теперь не адмирала-пирата Моргана (царствие ему небесное) и не магистра медицины Довера (то же). Армуш ждет ту самую пожилую даму, которая однажды явилась ему здесь — в парандже, но без чачвана, — и тут же будто испарилась. Давно это было. Ну, для нас давно, а у Армуша свой счет со временем.

Он знает, что в конце концов дождется. Поэтому ему не изменяет хорошее настроение, жара не слишком угнетает, а по вечерам, когда шук пустеет, погружаясь во тьму, и на небесах проявляются, будто на фотографии, библейские звезды, он спокойно ужинает в ближней лавке традиционной для него горячей лепешкой с кружкой овечьего молока. А потом, уже ночью, заворачивается в свой ковер. Всё смешалось в этом богоугодном мире, но Армуш давно простил Владыке подобное сумасбродство, и потому тоже, что ему-то, страннику, постоянство (гомеостаз) никогда не изменяет.

Значит, он ждет. И, конечно, в конце концов дождется. Хоть в очередной раз перессорятся местные вожди, попыташь прогнать один другого со Святой земли, а Владыка вновь сделает вид, что ничего не замечает. Да путь перессорятся и даже поубивают друг друга — шук здесь будет всегда, ибо шук вечен.

Старый Армуш сидит на вечном шуке и ждет. Будет день, и из знойного марева вдруг выплывет эта пожилая дама, в парандже, но без чачвана. И тогда, сотворив известное только ему перевоплощение, Армуш, яко юноша, подскочит к краю ковра и громко скажет этой девчонке:

— Антанта, где тебя носило столько времени, сердечное согласие мое?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Некто Армуш действительно отыскал на полуострове Истрия в Адриатике клад Моргана, закопанный там адмиралом-пиратом в 1672 году, и, как в том не сомневался врач-пират Довер, достойно им распорядился.

Почти все сокровища, особо те, которые представляли историческую ценность, Армуш передал знаменитому Антропологическому музею в Мехико, то есть вернул их на родину владельцев, ацтеков. Немалая сумма ушла, так сказать, на командировочные расходы, поскольку пришлось помотаться по свету. Еще немаловажное — это два надгробия, установленные Армушем: одно на кладбище в Гламоргане, Уэльс, родине Моргана, куда перевезли прах адмирала из Австралии (надпись там та же: «Адмиралу волею Англии»); второе — на католическом кладбище в Ершалаиме, с надписью: «Магистр медицины Довер». Ну и наконец, всё оставшееся было отдано Антанте и ее подрастающему сыну Георгу (а вообще-то Геворгу, как вы уже догадались).

Напоследок Армуш наказал Антанте съездить вместе с Геворгом, когда он станет взрослым, на Истрию и с высоты каньона глянуть на поляну Моргана и на вершину, где, благодаря подсвечнику и, конечно, всем описанным выше обстоятельствам, материализовалась эта невероятная, правдивая история, времени у которой нет, как его нет у птиц, безвременно летящих на встречу друг другу.

ЖИЗНЬ С КРИСТИНОЙ.

1. НА ГОРЕ

Глава 1

— Скажи, а почему Большой Ульген на Кодорском хребте, а Малый вот здесь, на Бзыбском? — сквозь одышку спрашивает Кристина.

Мы делаем еще несколько шагов по снежнику. Наконец я отвечаю:

— Спроси у тутошнего главного картографа.

Теперь она, кажется, смеется:

— Вершинам давали имена не картографы, а местные, тутошные, как ты сказал. И не вчера, а тысячелетия назад.

— Спасибо за справку. И вообще — хватит, много говоришь. Ты же знаешь: на горе — нельзя.

Тут мы улыбаемся уже оба. Это мне видно — то, что Кристина улыбается. А чуть раньше она смеялась одними глазами, чего, понятно, не разглядишь за темными стеклами ее очков — потому я и сказал «кажется». А улыбаемся мы оба оттого, что это уже вошло в смешную привычку — говорить, чего на горе (то есть при подъеме) нельзя; например, нельзя разговаривать без крайней необходимости (так устаешь быстрее), нельзя кричать (а то, не дай бог, лавину сотворишь), нельзя курить, нельзя подниматься без темных очков (схватишь снежную слепоту), нельзя есть снег (жажда будет еще сильнее), нельзя останавливаться в глубоком следе (так ступни замерзнут), а надо вытоптать небольшой кружок и стать в нем, чтобы перевести дух. Чего-то еще нельзя, но об этом в другой раз.

Тут, где мы в сей момент, уже за тысячу метров высоты, снежник и приличное превышение. Всё по времени года и по погоде. Еще немного, и время года не будет иметь значения, поскольку наступит безвременье. Жить в безвременье престранно-интересно, то есть и чудно, и чудно. Это нам предстоит.

Пихты теперь чуть ниже нас. Огромные, черные восклицательные знаки на белом фоне, и такие же тени от них — узкие, длинные, как свалившиеся с небесной крыши почерневшие апрельские сосульки, свалившиеся на снег и потому не разбившиеся. Лежат себе на боку.

Зона лесов уже ниже, теперь глубокий снежник и еле приметная тропа на нем. Тропа... интересно, кто тут поднимался в последний раз? Наверное, с неделю назад. Тем не менее, тропа различима, значит, нет шансов заблудиться. Еще несколько часов подъема, и за новой грядой будет видна наша цель. К концу светового дня или в раннем сумерке, надеюсь, успеем. Вот тогда, в сумерке, вдруг остро запахнет сырой снежной хвоей. Странно, лес много ниже, а запахнет хвоей, остро и сыро. Не забудешь этот запах.

Козья деревня была вчера. И Кордон был вчера. Последнее общение с редкими людьми. В Козьей деревне — с абхазами, на Кордоне — с нашими.

Только гора, глубокое ущелье с рекой осталось далеко внизу и слева. Тишина-то какая — мертвая. Никого-ничего. Огненный пятак солнца, но этот космический костер как-то не греет. Греют только собственные движения. Значит, лучше не останавливаться, разве лишь чтобы перевести дух.

— Ты как? — спрашиваю я Кристину.

— Со мной Анцва, а с тобой?

— Выдумщица!

— Ну а все-таки? — произносит она лукаво.

— Все-таки?.. Нет, я язычник...

Постояли пару минут, переминаясь с ноги на ногу, и двинулись дальше, дальше и выше. Хотя превышение пока еще слишком большое. Вот за этим гребнем, на новой гряде, будет склон — да, всем склонам склон! — вот тогда и начнется превышение. Зато будет видна цель — конец подъема. А когда видна цель, то и жизнь имеет смысл.

И все-таки всегда и во всем отыщется положительное. Например, даже в этом дурацком «на горе нельзя». Идешь рядом с женщиной, и она молчит. Пусть даже это любимая женщина, а хорошо, что она молчит. Второй день молчит, пока мы на горе. Хотя ночью... Ну, ночью мы не поднимались, а лежали в спальнике на Кордоне, когда заночевали там. Можно было и в Козьей деревне, но она, хоть и существенно выше, однако чужая, в ней одни абхазы-горцы, а они не слишком приветливы. Лучше ночевать у своих, тем более у них дом хороший, из крепкого сруба, сухо, деревом пахнет, а не скотиной, как в деревне. Вот там и заночевали. А перед тем поужинали с охранниками. Нормальные мужики, оголодавшие до общения. Что охраняют — ясно (заповедник и водоканал, то есть ущелье с рекой), а вот от кого? Разбойники ушли в другие края, золотое руно давно похищено, всякие там красавицы Медеи, хвала богам, перевелись, равно как перевелись и почти все чужие, пришлые. А местные, они народ спокойный, послушный — сказали им, тут заповедно-охранная территория, и никакой лишней сюда не сунется, только те, которые из Козьей, но они-то старые знакомые. А вот что

до Армянской деревни, которая еще чуть повыше, то там уже никого: стоит деревня пустой, все дома пусты, ушли армяне из своих каменных домишек, всё бросили и ушли, только овец и баранов продали, то есть тех, которые у них еще остались, то есть которых не забрали, не отобрали.

Вот на Кордоне и заночевали, перед тем отужинав во дворе у очага с двумя мужиками-охранниками. Огромные собаки крутились у ног. Огромные, мохнатые, но спокойные, молчаливые. Привыкли: кругом никого, только хозяева, а если кто и поднимается вдруг, так его по узкому ущелью издалека-снизу хорошо видно, никуда он не денется из этого узкого горлышка, в конце которого и стоит сей крепкий дом — Кордон. И ежели кто и вовсе незнакомый придет снизу, то команда известна: «Предъявите пропуск!» Вот я и предъявил, на Кристину и себя, пропуск от Управления водоканала: дескать, двум лицам, ученому-этнологу, гражданке такой-то, и ее сопровождающему с целью охраны, гражданину такому-то, разрешается проследовать по территории заповедной зоны до метеостанции, пребывание в коей разрешено сроком на десять дней. А да, еще там написано, что не положено отклоняться от ущелья и высокой тропы.

Про десять дней, это смешно, конечно: время там прекратит существование, что мне известно. Но в пропуске положено указать срок. Ладно, десять так десять. Смешно...

Значит, вчера ночью на Кордоне, когда мы наконец улеглись в спальнике, Кристина уже вовсе не молчала, а всякое наговорила мне, прижавшись всем телом, чтобы не уходило тепло. Это ее хлебом не корми, это она обожает: просвещать меня после сладких минут любви. Просвещать сопровождающего ее лица с целью охраны.

— Помнишь знаменитую телеграмму в Афины?

— Какую телеграмму?

— Цитирую. «Подплывая к Колхиде, вижу благодатную землю. На обратном пути завоюю. Ясон».

— А, ну да, только это была не телеграмма, а факс. Конечно! У них же на «Арго» был факс!

— Хорошо, пусть факс. Может, я и спутала.

— Спутала, госпожа ученая! Ладно, и что дальше?

— Вот с этого всё и началось. Герадот Герадотом, а после похищения золотого руна Ясон с подельниками-аргонавтами колонизовал Абхазию, которая была одной из провинций Колхиды. И начался античный период в истории Абхазии — греческий. А потом, понятно, был период римский. А потом византийский. А потом, уже в средние века, османский. А потом, конечно, российский.

— Погоди, не тараторь, выдумщица, поконкретней.

— Да запросто! В составе Османской империи Абхазское царство или княжество было до 1810 года, а затем, после изгнания турок, свято место заняла Российская империя, хотя кавказское побережье она завоевывала еще долго. Много людей полегло — и среди русских, которые, значит, колонизаторы, и среди горцев, в их числе и абхазов.

— Про некоторых русских помню. Например, про погибших там декабристов. Бестужев, Одоевский...

— Молодец! Именно так. Сообщаю. Точнее, даю справку.

Александр Бестужев, который Марлинский, годы жизни: 1797 — 1837. Литературный критик, публицист и прозаик, сторонник романтизма. Был широко известен, а в 30-х годах XIX века его даже называли «Пушкиным прозы». До декабрьских событий вместе с Рылеевым издавал знаменитую «Полярную звезду», его отмечал и ценил Пушкин, затем Белинский, а в 80-е годы повести Марлинского переиздал Суворин, а это знаковый момент, потому что, когда автора переиздают через полвека после смерти, то сам понимаешь!

Понятно, был в армии, точнее в гвардии. Уже в чине штабс-капитана Лейб-гвардии драгунского полка за участие в заговоре декабристов был осужден, лишен всего, что полагалось, и сослан в Якутск, оттуда в 1829 году переведен в действующую армию на Кавказ — рядовым с правом выслуги. Это особая милость — под пули, но «с правом выслуги». Участвовал во многих сражениях, получил чин унтер-офицера и Георгиевский крест, был произведен в прапорщики. И успевал много писать, много и хорошо. С 30-го года его повести — сначала безымянные, затем под псевдонимом Марлинский — стали издаваться в Петербурге.

А воспользоваться тем самым правом выслуги он не успел: погиб в 1837 году во время стычки с горцами в лесу у мыса Адлер. Тело его так и не нашли, что нетипично и странно, ибо русские всегда подбирали своих после боя...

Дальше. Теперь второй, тобой упомянутый.

Александр Одоевский, 1802 — 1839. Из известного дворянского рода. Корнет Лейб-гвардии конного полка. Был близок с Рылеевым и Бестужевым-Марлинским. Романтический юноша! Вот и увлекся романтикой заговора, и одним из первых был принят в Северное общество. Однако уже во время следствия быстро отошел от идей декабризма. Его осудили по 4-му разряду на 12 лет каторги. Отбывал наказание в Чите и Петровском заводе. Потом, с 1832 года, в ссылке на поселении, и там он уж совсем простился с прошлыми декабристскими идеями. Вскоре высочайшим указом был переведен «в порядке милости» рядовым на Кавказ в Нижегородский драгунский полк.

А на Кавказе, воюя, сблизился с Лермонтовым, творчество и литературный стиль которого стали ему очень близки. Сам же Одоевский из некогда просто романтика превратился в религиозно-философского романтика, хотя в его лирике поэтическое мастерство несомненно. А вот что касается знаменитого «Ответа декабристов Пушкину» на «Послание в Сибирь», то этот «Ответ» приписывается Одоевскому без точных оснований. Коротче говоря, авторство нельзя считать доказанным. Если он и автор «Ответа», то это довольно странно, потому что тогда для него куда более характерно мягкое воспевание самодержавия, панславизм и оправдание колониальной политики. Вот такая эволюция.

Его не стало в 37 лет, как и Пушкина. Но не от пули, а из-за малярии. Это случилось в 1839 году в форте Лазаревское недалеко от Сочи. Лермонтов посвятил ему «Памяти А.И.О.» Впоследствии, уже при Советской власти, предположительно на месте могилы в курортном парке у моря установили мраморную плиту с его именем. Вот и всё, если вкратце и сугубо формально.

— Да, ну и память у тебя! — в очередной раз восхищаюсь я. — Небось в институте зубрилой слыла?

— Это не только институтские знания, это следствие духовной привязанности. Сама себя, как пса бродячего, посадила на цепь, — в очередной раз объясняет мне Кристина.

— Цитируешь?

— Всё-то ты знаешь!

— Эх, если бы!.. Погоди, мы ушли от темы. Так, выходит, знаменитое «Из искры возгорится пламя» написал вовсе не Одоевский? А большевики его почитали именно за это! Ведь ленинская «Искра»... Потом даже плиту установили в парке.

— Ха-ха! — смеется она. — Это в точности неизвестно, Одоевский написал или нет.

— А что твоей науке известно в точности? — иронизирую я.

— Ну, скажем, то, что последующий народ всегда правее предыдущего.

— Это почему?

— Запомни: историю пишет последующий народ, и потому он всегда прав. То есть тот, который угнездился в данном месте, вытеснив или переважив аборигенный этнос. Он и прав, получается. Это закономерность, а на закономерности нет смысла обижаться. Вот твои истории...

— Я не пишу историй.

— Но ты их переделываешь по-своему. Ты сводник. Сводишь персонажей из разных эпох да еще утраиваешь им очные ставки. Ты исторический сюрреалист.

— Да? Интересный термин, надо его обдумать... Ладно, пусть я такой, однако поклонник забавного. Знаешь, что ответил государь Александр Второй, когда его мягко укорили за то, что, продолжая завоевание Кавказа, Россия колонизует местные народы? Он гордо ответил: «Мы их не колонизуем, а цивилизуем!» Значит, ты верно сказала: русский народ всегда прав, поскольку он тут последующий. И не только тут.

— Я так сказала? Никогда! У каждого своя правда, а общей правды нет. Это верно и для конкретных людей, и для народов. А исторический диагноз — кто эволюционный победитель.

— С ума сойти, и с такой женщиной я состою в интимной связи!

— Кажется, еще полчаса назад ты об этом не жалел.

— Именно так.

— Тогда победитель — я, — луково смеется Кристина. — И с тобой, и вообще. Ты при мне, это раз, а два... когда-то была Колхида, теперь есть Абхазия, потому что есть ее народ... Ладно, давай спать.

— И верно, пора. — Я сладко зеваю.

— Э, погоди!... Слушай, ну ясно, что на горе нельзя, а перед тем, как выходить на гору, можно?

— Если очень захотеть.

— Тогда вперед, я очень захотела...

Вот так было той ночью на Кордоне. А сейчас мы на горе, и высота уже полторы тысячи, похоже. Потому что последний на нашем пути гребень позади, а впереди, на вершине крутого снежного склона наконец видна наша цель. Она еще далеко, но она видна. А если видна цель, то есть смысл, так?

— Смотри, — сдерживая частое дыханье, произношу я и вытягиваю руку. — Видишь? Вот она, метеостанция.

Кристина смотрит, затем снимает очки и, шурясь, вглядывается, куда я указываю. И кивает удовлетворенно:

— Вижу, да. Ну и чудесно. — И тут вспоминает про одного персонажа из истории, которую я ей рассказывал. — Цезарь там есть, еще жив?

— Что значит «еще жив»? Цезарь бессмертен...

Мы начинаем крутой подъем. Очень крутой. Одно хорошо: снег тут уже неглубокий — значит, не проваливаешься, если вдруг промахнешься мимо старого следа (похоже все-таки, что кто-то поднимался тут с неделю назад!). Дышать тяжело. Спасибо, снег не так слепит, ибо дело к сумеркам. Небо наливается затухающей синью. Половинка лунного диска всё ярче и ярче, колет мне в левый глаз. Так колет, что там даже кратеры и моря видны. Лучше не смотреть на этот закинутый в небеса алмаз. Лучше смотреть вперед на домик метеостанции, до которого еще около часа подъема.

Цезарь, да. В прошлый раз, много лет назад, он высмотрел нас сразу, лишь мы появились на последнем гребне. И залился грозным лаем на всю мертвую округу. И затем бросился вниз, нам навстречу. Пришельцы, черт возьми! Черная лохматая зверюга несется на тебя — жуть! Но тут же возникла фигура Володи на вершине. Выскочил из дома, что-то по-своему крикнул

псу, и тот перешел с осторожного (чтоб устоять на лапах) галопа на шаг. Мы, конечно, остановились: что будет? Цезарь подошел, весь подобрался, вытянув шею, обнюхал, сел. И вдруг завилал хвостом, шурша им по снегу. Узнал, меня узнал — точнее, признал... Тогда, много лет назад, это была другая история, с другой женщиной и другим мной. Меня и звали по-другому. И всё было иначе, страшно поначалу, странно потом, с печальным, но все-таки светлым концом. Всё было по-другому, только Цезарь был тем же Цезарем, и метеоролог Володя-абхаз был тем же Володей и тем же абхазом, только борода его была рыжевато-черной, а не седой, как нынче.

Это я различаю, когда Володя-абхаз уже приблизился к нам, чтобы помочь. Так всегда, так положено. Гости, к тому же здорово уставшие на подъеме. К тому же тут женщина. Вон, еле дышит, бледная, как смерть. Надо взять у нее рюкзак. И на Цезаря ласково шикнуть: молодец, службу знаешь, но пошел-ка в дом, бандит, поднимайся!

— Эй, Аркадий, никак ты? — восклицает этот постаревший абхаз, узнавая меня. — Ну да, ты. Ай, здорово! И не изменился почти! Ай, молодец!

Мы обнимаемся. Потом он помогает Кристине стащить рюкзак, потом вынимает из кармана ватника плоскую бутылку с горячей еще водой и протягивает нам. Это вовремя, это согревает, когда озяб и чертовски устал.

— Попейте, попейте, — говорит Володя-абхаз, — попейте и пошли, уже скоро, еще немного.

Мы начинаем это последнее «еще немного».

— Скажи, какие-то гости поднялись к тебе недавно? — спрашиваю я его.

Он кивает:

— Ага, поднялся тут один, с неделю назад, да. Странный такой, по-русски хорошо говорит, а не русский. Словак, сказал. А кто это такой, словак, а, Аркадий? Вроде русский и не русский. Откуда он тут взялся? У нас внизу таких никогда не было, даже в Сухуми никогда не было. Русские, да, грузины и армяне, да, даже семья греков, да, хотя все эти ненаши теперь уже ушли, а вот таких, как он... словак, да?... таких не было. И старый почти — седой, с бородкой. Но улыбается, да. Живет у меня, а что

живет? Не знаю. Просто живет, да. А и пусть живет, мне не жалко, готовить научился на печке, даже лепешки испек, а днями сидит на лавке у склона и на солнышке греет кости. Я спрашиваю: вы кто, в кого верите, кем работали? А он: я лесник, и даже не просто лесник, а самый главный лесник... Во чудак, да? Какой-то лесник, у нас тут таких не было... Ладно, как вы говорите, бог с ним, а мы пошли, пошли, а то мне скоро данные снимать на площадке и за рацию садиться. Пошли, пошли, еще немного... Вас как называть, женщина? — обращается к Кристине минут через пять. — А, вот как, интересно! Звать вас интересно, говорю, да. И кто вы, в кого верите? Ах, как интересно, да! Почитаете нашего Анцву! Но ведь вы не наша, да, это как? А, ну ладно, потом, потом, обязательно потом. Но интересно, да. А вот ты, Аркадий, всё еще язычник, да? Да-да, я помню, помню...

Глава 2

Когда они познакомились и стали общаться, Аркадию показалось несколько странным, что женщина с таким именем (Кристина, а в славянском варианте — Христина) вовсе не христианка, хотя вроде и верующая. Вот именно «вроде», потому что понять, во что она верит и в кого, было невозможно. Сплошная путаница. А к тому эта самая Кристина оказалась невероятной выдумщицей, и исторические события в ее голове путались, склеивались, иногда просто перевирались и насыщались тем, что в психологии-психиатрии называют конфабуляциями, то есть измышлениями с переносом событий из одного времени в другое. Вот уж кто исторический сюрреалист! Хотя знала она многое, отличалась профессиональной памятью, точностью датировок и знакомством с общепринятыми в науке оценками. Как всё это совместить? Странно, не правда ли?

Но назвать Кристину вруньей тоже нельзя. Некая простоватая искренность отличает ее. Казалось, что, устав путаться в собственном восприятии истории, она когда-то плюнула на себя и стала верить именно тому, что ей казалось в данный момент. А

плюс ко всему — дефицит юмора. Например, если она упоминала о телеграмме, посланной Ясоном с «Арго» в античные Афины, то эта была ее, Кристины, правда, и к этому относиться с юмором мог кто угодно, только не она. Или сказанное вскользь, что она верит в древнего колхидского бога Анцву (единого бога, а не одного из компании других богов), это тоже было Кристининой правдой, но правдой на сегодняшний день, поскольку завтра или через год покорить душу этой женщины мог другой бог (например, даже кровожадный бог ацтеков Вицли-Пуцли) или какой-нибудь идол какого-нибудь народа-племени.

Подвиг Аркадия состоял в том, что такую Кристину он принял, вскоре поняв, что шизофренией тут не пахнет. Тут пахнет историей, историей народов, пусть порой и вставшей с ног на голову. Тут неожиданные интерпретации и заключения. Тут доисторическая поэзия, которая не есть стихотворчество, стихосложение, а есть чистое сочинительство историй Земли, где не разберешь, что тут реальность, что миф, а что предутренний сон, явившийся из темного света души.

С Кристиной интересно. Это главное. Однако не менее главное и то, что с ней чудесно как с женщиной, то есть тоже интересно. И еще: она союзник. В том смысле, что подыгрывает Аркадию, когда он сам творит свои истории, или, как говорит Кристина, занимается сводничеством.

Чего она только не выдумывала! Например.

— Да ты что, кельты-бритты были милейшими людьми! Спокойные, мирные, неагрессивные.

— Ну да, только воины зверские.

— Ой, что говоришь! Да когда англы и саксы пока еще только занимались разведкой, что там и кто, то есть еще до завоевания Британии, они говорили, что там живут спокойные чудики, поэтому завоевать эти новые земли — делать нечего. Вот и приплыли войском из своей германской Ютландии, и завоевали, и от римского влияния там, в Британии, не осталось и следа. Вот уж кто завоеватели! Как и покорившие затем этих англосаксов викинги-норманны. Вот они-то и прибрали к рукам английское королевство уже окончательно. Помнишь, Вильгельм-завоеватель раздолбал англосаксов при Гастингсе, если точно, в

1066 году, и от них-то, норманнов, и пошли королевские дворы по всей Европе, так что сегодняшняя благочестивая королева Англии — какой-нибудь потомок того самого викинга Вильгельма, большого бандита, между прочим.

— Это даже мне известно, — кивает Аркадий.

— А почему же тебе неизвестно, сэр, что кельты были милейшими людьми? Как и абхазы. Да, вот эти абхазы. Они никогда никого не завоевывали, жили себе мирно-спокойно, кушали плоды и купались в своем Понте Эвксинском. Кстати, с древнегреческого это значит «Гостеприимное море», да будет тебе известно, а теперь оно Черное, фи!.. А вот по их благословенной земле кто только ни шастал! И хетты, и персы, и греки, и римляне, и турки, и грузины, и русские. И что? Абхазы — что ж делать! — всем покорялись, однако особо не озлобились. А почему? Собой остались, в своей исходной вере — кто в язычестве, кто в единобожии, поклоняясь богу Анцве, единому и вездесущему. А здешнее мусульманство и христианство... По нашим данным, большинство местного населения — все-таки язычники, даже если они называют себя христианами или мусульманами. Первые, то есть так называемые христиане, не посещают церкви и не соблюдают постов, а мусульмане едят свинину, пьют вино и не делают обрезания. Здорово, да? И все религиозные праздники, хоть православные, хоть исламские, сводятся к застолью. Пей, кушай на здоровье, пой песни, веселись!

— Вот это правильно. Пожалуй, я за такую религию — религию застолья.

— Но тут нюанс, — продолжает Кристина, и глаза у нее блещут. — Многие абхазы уверяют, что они вовсе не язычники, вот! А кто же они? Они утверждают, что верят в Единого Бога Анцву. Да-да, в него. Есть даже гипотеза, что абхазская религия — это реликт, пример изначального монотеизма, то есть еще добиблейского! И именно их религия — одна из древнейших религий единобожия на Земле. Похоже, так. И знаешь, большинство здешних людей признаются, что имеют традиционные святилища, хотя вообще-то я не исключаю, что часть таких святилищ — языческие. Поди разбери! Абхаз, он особь скрытая, не всякому чужаку открывается.

— И тебе тоже?

— Мне... — тянет Кристина, — ну, мне другое дело. Я ведь тоже поклоняюсь Анцве. То есть пока...

Вот такая Кристина, ученая выдумщица, этнолог, кандидат этих мудреных врушкиных наук. И почему она любит Аркадия, а он ее?

— И еще, — вспоминает она в другой раз, — знаешь, как абхазы называют свою страну? «Страна апсов». Апсы — это древнее именование их народа, самоназвание. И еще: свою страну они называют «Страна Души». Как тебе это нравится — красиво, да?

Аркадий усмехается (с Кристиной бесполезно спорить — полезно только усмехаться):

— Такой «души», что, когда они устроили межнациональный мордобой, то в конце концов выдавили отсюда почти всех не-своих — попросту говоря, выгнали, заставили бежать или покинуть свои дома. Грузин, армян. Ну, только русских особо не трогали. А в Сухуми, например, кто теперь хозяева в богатых армянских домах? Ага! Ты же сама видела и всё это знаешь.

— Не уверена, что такие случаи типичны, — неуверенно замечает Кристина. Но поскольку она простовато-честная, как уже знает Аркадий, то дальше слышит вот что: — Да-да, по прошлой переписи, в Абхазии было чуть более полумиллиона жителей, из которых собственно абхазов — только около 18 процентов. А теперь, после военного конфликта с грузинами, общая численность населения сократилась почти три раза, и, да, в основном за счет нетитульных наций — грузин, армян, русских и других. Поэтому, вероятно, теперь доля абхазов среди населения Абхазии стала существенно выше прежней, довоенной. Хотя точных данных на сегодня нет.

— А злые языки утверждают, — добавляет Аркадий. — что теперь доля абхазов в Абхазии не только много выше прежней, но они и живут лучше, потому что заняли жилища беженцев и вообще поживились за счет последних.

Кристина пожимает плечами, потом вздыхает, потом просит дать ей закурить.

— Сейчас можно, сейчас мы не на горе, где ничего толкового нельзя, вот и дай мне сигаретку, господин сводник, сэр, ненавистник кельтов и прочих древних народов.

Дать сигарету любимой женщине, это Аркадий может.

Всему есть свое пространство и время, а вот для метеостанции на Малом Ульгене сложилось по-своему. Пространство тут имеет место быть (см. соответствующие координаты), но вот время...

То, что мы называем временами года, здесь расплывчато и смазано. А как иначе, если вокруг — уже зона всегдашних снегов и даже в июле под ногами снежник, пусть и набухший, комковатый. Далее — облачность: в любой момент она может затянуть вершину горы с ближними склонами, и это протяжное серо-белое одеяло укутает так, что и в паре метров от себя ничего не видеть — слепота, и коли ты минуту назад вышел из избы и, скажем, поднимаешься на метеоплощадку, то лучше сразу же остановиться и переждать, пока сойдет облако, а то свалишься куда-то, сделав неверный шаг. Да и температура тут плюс-минус одна и та же — считай, некий термостат. И пихты, которые виднеются далеко ниже, они всегда при своей пушистой хвое, а лиственные деревья там, ниже, не произрастают — значит, не увидишь, как опадает листва, а затем и голых ветвей. Где осень, где весна? Получается, здесь их нет, только по календарю.

И для нас тут тоже некое безвременье, для всех, кроме Володи-абхаза (кстати, это двойное имя закрепилось за ним издавна и стало единым, собственно именем, а никак не указателем его национальности). Вот для Володи-абзаха время существует предельно точно и строго-настроено, но это не то время, которое как бы вообще, а время вполне локальное, конкретное. Через каждые три часа он обязан подняться на метеоплощадку и снять показания приборов, всяких там анемометров, гигрометров и прочих штук, самая нехитрая из которых — это всем знакомый и хорошо узнаваемый флюгер. Сняв и записав эти самые показания — и днем, и черными ночами с помощью фонарика, — он возвращается в дом, садится в своей комнатке за радио и передает данные в метеоцентр Сухуми, причем передает специальным метеокодом в виде цифровой сводки. Да-да, именно по радию, как было двадцать, тридцать и пятьдесят лет назад. Техни-

ческие перемены почему-то не коснулись этих мест . «Время вообще» тут то ли остановилось, то ли его действительно вовсе нет.

Значит, для Володи-абхаза жизнь — это и есть через каждые три часа, в любую погоду. А когда же он спит? А, в общем-то, никогда. Он постоянно в ауре вечной дремоты, некого плавуна, как он сам определяет. Ходит по метеостанции в своем плавуне, иногда реагирует на тебя, иногда нет. Но раз в три часа вскакивает по будильнику, как солдат по тревоге. И ничего, жив-здоров, и нормально себя чувствует. Работает, поджидая, когда поднимется сменщик, то ли через месяц, то ли через полтора, это от глубины снежного покрова зависит, и если он слишком глубокий, то, случалось, и не осилишь подъем.

Так и было до недавно, но в последний год сменщик перестал подниматься, потому что исчез, уехал отсюда, ибо он грузин, а грузины почти все записались в беженцы. И — ничего не поделаешь — Володя-абхаз тоже записался — жить-работать на метеостанции уже постоянно. А как уйдешь — ведь кто-то должен снимать показания приборов и общаться по рации с Сухуми, да и Цезаря кормить надо, он большой любитель до этого дела.

Вот и вышло, что Володя-абхаз стал тут тоже особью безвременной, если не считать его «раз в три часа». И значит, хорошо, что мы поднялись к нему, а неделей раньше поднялся словак Александр, хорошо потому, что общение, это раз, и всю готовку гости взяли на себя, это два, поэтому наш метеоролог питается теперь не всухомятку и урывками, а полноценно и регулярно.

А что до остальных, которые теперь тут, и того или тех, кто еще может здесь оказаться, то и говорить нечего — безвременные.

— А есть ли у нас какие-нибудь пряности? — обращается Кристина к Володе-абхазу. Она возится у печки, готовя борщ. Печь большая, с широкой плитой и разными металлическими кругами поверху.

— Э, пряности? — переспрашивает полусонный хозяин. Наконец понимает вопрос: — Э, да, нет.

— Так да или нет?

— Ну, я же сказал — нет. Нету пряностей. Не забросили летом. Может, забыли, а может, этого в списке не было, вот и не заказали на базе.

— А жаль, — говорит Кристина, — для борща бы не помешало.

— Так вы, пани Кристина, возьмите лимон, лимон, — с лежака подает голос Александр, — лимон у пана имеется, я видел. Лимон для борща вполне особо прилично, так моя матушка делала.

— Лимон есть, да, — сообщает Володя-абхаз, — сейчас схожу в погреб, принесу. — И поднимается от печки, прихлопнув за-слонку.

— А скажите, пан милейший, — останавливает его Александр, — как вам сюда продукты... э, как это вы сказали — забрасывают?

— Летом, на вертолете. Раз в год, да, летом. Зимой, знаете ли, погоды часто дурные, то есть облачность низкая тут у нас в горах. Высота же, да, почти под две тысячи, до Бога Анцвы недалеко. Так я говорю, Кристина? Так, да, правильно я говорю, я знаю. — И опять Александру: — Вот забросят по большому списку, всего полно, чтобы, считай, на год. А что? Ведь на одного человека. Тут человек один. На весь Ульген, и на много-много километров вокруг. Один человек и его приборы. А, вот еще Цезарь. Вот и всё. И хорошо. Внизу война шла, а у меня тут даже выстрелов не слышно. Какая война, да? Тут сплошной мир. Только за приборами следи и сеансы не просыпай. Вот когда база в Сухуми мне не отвечала две недели, тут я не понял: что случилось внизу? Но потом ответила, и я успокоился. А потом мне сказали: была война с грузинами. Вот так, а зачем? Это я себя спросил: зачем война? Потом Анцву спросил. И он промолчал.

— Умный Бог, — тихонько, только себе, замечает Аркадий.

— Ладно, я в погреб за лимоном, — сообщает Володя и идет к двери.

— Будьте так добры, пан милейший, — улыбается Александр ему вслед, а затем улыбается Кристине: — Я вас научу, пани, как лимон для борща пользоваться.

— Спасибо, пан... э...

Дело в том, что Кристина никак не привыкнет называть семидесятилетнего Александра просто по имени, без отчества, как он просит. Старик ведь, неловко как-то! Даже у Аркадия поинтересовалась ночью, шепотом:

— Слушай, сэр, а как его по отчеству?

— А черт его знает! Не знаю. Знаю только, что он сын столяра и родился в какой-то тихой словацкой деревне. Он человек без отчества, зато первый секретарь компартии Чехословакии и один из отцов «Пражской весны». Но всё это было уже давно, а потом он погиб. Нет, не убили — попал в автокатастрофу. И еще многое, чего я знаю. И я тебе это говорил. Поэтому зови этого сына столяра Столяровичем или просто паном Александром, тут не ошибешься.

— А зачем ты позвал его сюда? Ведь он милейший старик, приятный во всех отношениях.

— У тебя все приятные во всех отношениях, — ласково усмеяется Аркадий.

— Ну, так уж и все! Так зачем позвал, спрашиваю?

— Много знать — вредно. Спи! — И он целует ее в ухо.

— Сплю. А еще кого позовешь?

— Кого?.. Кое-кого.

В этот момент раздается приглушенный звон будильника из-за стенки.

— Ну вот, Володе-абхазу опять на службу! — вздыхает сердобольная Кристина. — Если б умела, хоть иногда сама снимала бы эти чертовы показания приборов, а он хоть одну ночь поспал бы толком.

— А ты научись — думаю, дело не хитрое. Только смотри — там по ночам голодные волки бродят.

— Да ты что, серьезно?

— Если серьезно, не волки, а медведи. А если уж очень серьезно, то там бродит только ветер, свет от звезд разгоняет. Там столько звезд, когда безоблачно!

— Еще не видела.

— Ну, вот сойдет хмарь, будет ясная ночь, и увидишь. И никогда не забудешь, никогда...

Аркадий как подгадал: ясная ночь случилась назавтра. Днем было облачно, даже сумрачно, поэтому и в засветло, и вечером сидели в доме, и каждый занимался своим делом: Кристина решила напечь оладий, Володя-абхаз исправно служил метеорологом, а пан Александр и Аркадий валялись на спальниках и читали, время от времени выбираясь на воздух, чтобы покурить на лавке у самого склона с замутненным из-за облаков видом окрестностей.

Кстати, о чтении. Тут, на метеостанции, еще с издавна имелась, можно сказать, своя библиотека, хоть и маленькая: однажды вертолет забросил сюда сотню книг, полученных в дар от сухумской городской библиотеки по просьбе Управления заповедниками Абхазии; правда, подбор этих книг был странноватым — в основном, детские и юношеские, то есть сказки, мифы, рассказы о животных и мореплаваниях, фантастика Жюль Верна и Стивенсона, роман Майн Рида, ну и что-то еще в этом роде, словно отсылали эти книги в дар не метеостанции, а школе. Но что чудесно, были они прекрасно изданы, с красочными иллюстрациями, и хорошо тут сохранились, потому, видимо, что сменяющие один другого метеорологи, включая Володю-абхаза, охотниками до чтения не были и в руки эти книги не брали, хотя, черт их знает, может быть, им «репертуар» не подходил. Аркадий же сейчас читал, чтобы хоть чем-то себя занять, а вот старый Александр читал запоем, книгу за книгой, будто детско-юношеское восприятие мира вернулось к нему вновь. То есть пока дурачилась погода, он проводил эти дни в большом удовольствии. А вот Аркадий с Кристиной явно скучали.

В тот вечер, о котором речь, уже поздно, сидят они в большой комнате за общим столом и попивают чай напоследок. Володя-абхаз, вернувшись с метеоплощадки, направляется к себе за рацию и, следуя мимо, произносит одно слово, спокойно-небрежно, будто ничего не произошло.

— Звезды, — произносит спокойно-небрежно и уходит. И не видит, как мы вскакиваем в радости, как быстро натягиваем на себя куртки и спешим в коридор, а затем на крыльцо. А там запрокидываем головы и глядим.

Проходит, верно, минута, и Кристина говорит:

— Да, никогда подобного не видела.

— А я подобное видел, — вздыхает Александр, — в Турции видел, тоже в горах, меня туда возили, в верхний Дом приемов, высоко, очень высоко.

— Ох, вы и в Турции были? — удивляется Кристина, не отрываясь от созерцания звездных россыпей.

— Был, пани, был. Послом там был. Правда, недолго, всего год. Это когда меня сняли.

— Не поняла! — говорит пани и теперь смотрит на старого Александра. — Как это, сняли — и послом? Посол — это ведь о-го-го!

Тот улыбается, а Аркадий поясняет:

— Понимаешь, пани Кристина, была у нашей власти такая привычка: после отстранения от высокой должности отправлять ставшим негодным товарища в почетную ссылку — послом куда подальше. Но ненадолго: вскоре отзыв на родину, и вот тогда — уже полное политическое небытие.

— Да-да, это вы верно заметили, пан Аркадий, — улыбается Александр, — небытие.

Забывушка Кристина не унимается:

— А с чего... с кого вас сняли?

— С должности первого секретаря компартии Чехословакии.

— А, да-да, теперь вспомнила, мне Аркадий рассказывал. Ничего себе! То есть с главного?

— С самого главного в стране. Хотя есть и президент, конечно, но это так, выставочная должность.

— Значит, послом? Ну и как там, в Турции? Я там еще не была.

— Там? — вздыхает Александр и тут предлагает: — А давайте посидим на лавочке, посмотрим на звезды, покурим.

Лавочка — рядом, в паре метров, над самым обрывом склона. Они садятся на нее, а старый Александр перед тем успевает сбросить куртку, чтобы Кристина уселась не на холодные голые доски. Она благодарит, но не забывает спросить в ответ:

— А вы-то сами не замерзните?

— Не стоит беспокоиться, пани, — отмахивается он с улыбкой и достает из нагрудного кармана кожаной безрукавки трубку и зажигалку. Пыхтит, закуривает, опять смотрит на звезды.

— Да, чудесно, чудесно!.. А ваши сигареты при вас? Вот и хорошо, курите, курите.

— Дай и мне, — Кристина протягивает руку к Аркадию. — Ну и как было в Турции-то, пан Александр?

Он поводит головой из стороны в сторону:

— Как? Никак. Мне никак. Поначалу очень депрессия была. После всего. Понимаете, август 68-го, танки в Праге, подавление надежд, домашний арест, этот спектакль на заседании ЦК, отстранение от должности, опять почти домашний арест. И вот, решение о назначении послом в Турцию. А мне всё равно. Что ж, пусть так, мне всё равно. Депрессия. Прибыл в Анкару, стал входить в курс дела. А всё равно. Мои замы все делали, секретари посольства, которые по обязанности еще и следили за мной, докладывали в Прагу. А мне всё равно. Такая большая депрессия была. Супруга моя очень беспокоилась, бедная, чтобы я... как это по-русски?.. чтобы я не тронулся умом, вот, ха-ха! И я не тронулся, нет. И что меня спасло? Вы не можете знать, вы не поверите. Меня спасли ковры.

Аркадий усмехается, а Кристина не понимает:

— Ковры? Какие ковры?

— Турецкие, — улыбается Александр, — турецкие ковры.

Он раскуривает погасшую трубку и продолжает:

— Понимаете, так. Вскоре после назначения меня повезли в Стамбул и решили показать знаменитый базар. Я ходил, смотрел... ну, базар, да... и тут меня ввели в очередной павильон. И я увидел: ковры! Я ничего подобного не видел. Они лежали на больших прилавках, висели на стенах, как... как это?.. как яркие водопады. Понимаете, считается, что самые знаменитые ковры — персидские. Не знаю, может быть. Но мне сказали в Стамбуле, что турецкие ковры тоже очень знаменитые и по рисунку даже более интересные... более умные, что ли. Что такое умный ковер? Я понял. Он таит в себе рассказ о судьбе. У каждого из нас своя судьба, и надо найти такой ковер, где расписана именно твоя судьба. Надо долго вглядываться в вязь рисунка, в знаки этого рисунка и увидеть картину твоей судьбы. Но это надо уметь. Я это понял, понял еще там, в павильоне на базаре, потому что на одном из ковров увидел рисунок моей судьбы. Вот я, сказал я себе. Александр, сказал я себе, вот он, ты! Смотри:

тут и прошлое твое, и настоящее и твое будущее... В общем, я распорядился купить тот ковер для меня, но хозяин павильона, богатый турок, тоже распорядился: он сказал, что этот знаменитый восточный ковер приносит в дар господину послу из небольшой, но гордой европейской страны. Так и сказал: гордой. И еще он сказал мне, что господин посол всё верно понял и умно увидел. Да-да, так и сказал, мне повторили перевод: умно увидел. Я понял, что мы с ним поняли друг друга... Его люди погрузили мой ковер на тележку и отвезли к нашей машине у ворот базара. Потом мы вернулись в Анкару, и я повесил этот ковер на стене в моей спальном комнате. И мы стали друзьями. Если мне не спалось по ночам, а не спалось мне тогда часто, я включал ночные светильники и глядел на мой ковер, читал мою судьбу и разговаривал с ним. Моя супруга полагала, что все-таки я тронулся умом, но это не так. Я нашел друга. Но это был еще мой первый друг. Э, потом...

— Потом были другие ковры, — вдруг говорит Кристина.

— Верно, пани, — удивляется Александр. — Как вы догадались?

— А вы же сказали раньше — ковры, а не ковер, то есть во множественном числе.

— О, вы внимательно слушаете, спасибо.

— Это у нее профессионально — внимательно слушать, — вставляет Аркадий.

— А кто вы по профессии, пани?

— Любитель историй, мифов и легенд, — по-своему отвечает за Кристину Аркадий.

Александр кивает:

— О, интересно!.. Да, потом были другие ковры, с другими рисунками, другими судьбами и рассказами о них. Премного интересно и поучительно... Я покупал эти ковры там же, на базаре в Стамбуле, когда оказывался там. Покупал на свои деньги, конечно, потому что никогда не пользовался своим положением, а к тому же знал, что нахожусь под наблюдением. Да, немалые деньги, но ковры, ковры! Без них я уже не мог. Это были мои друзья, с которыми наконец я мог разговаривать, с которыми интересно. Мне стало вдруг интересно, я не один, понимаете? В Турции, а не один, то есть будто и не в ссылке... Я разве-

сил эти мои ковры по стенам по всему дому и только и ждал часа, когда меня привезут с работы из посольства, чтобы пообщаться с друзьями. Но через год меня отозвали на родину, куда я и вернулся со странным чувством: да, домой, а впереди — неизвестность. Конечно, я вывез с собой мои ковры. Опять развесил их по дому, теперь в Праге, и в основном только с ними и общался, однако... Уже вскоре меня исключили из компартии и отправили в мою родную Словакию. Естественно, туда я перевез своих друзей, мои ковры. Это было в 1970-м году. А там, в Словакии, знаете, кем меня назначили?

— Знаю, — подает голос Аркадий. — Наконец-то вы заняли истинно прекрасную должность.

— Верно, мой друг пан, верно, — улыбается Александр. — Меня назначили, пани Кристина, главным руководителем лесничеств Словакии. То есть я стал Главным лесничим. А!

— Здорово! — радостно кивает Кристина. — Головокружительная карьера! — добавляет без иронии, искренне.

— Именно, — соглашается Александр, но это выходит у него все-таки грустно. — Покой, тишина, постоянные поездки по лесам, а их у нас в Словакии очень много. Жил в Братиславе, со своими коврами, конечно, так и служил Главным лесничим республики до самой пенсии. Да, мне исполнилось шестьдесят в 1981-м, и меня тут же отправили на пенсию. Вот и вся, как вы сказали, пани, головокружительная карьера.

— У коммунистов, — опять вставляет Аркадий.

— Да, правильно. Потому что потом, через несколько лет...

— Но это уже другая история, — опережает его Аркадий и поднимается с лавки. — Что-то я примерз малость, пошли-ка в дом спать.

— Верно, верно, пошли, пора, а то я заговорил вас, молодые люди, уж простите словоохотливого старика.

— Ой, да что вы! — улыбается Кристина. — Мне жуть как интересно! И что было дальше, и что было раньше. И почему вы, пан Александр, так хорошо говорите по-русски, мне тоже интересно.

Аркадий хмыкает про себя, пока они поднимаются на крыльцо. Кристине всё интересно. Она любопытная. Хотя, если по ее версии, любознательная.

— Хорошо-хорошо, в следующий раз обязательно расскажу, пани, — отвечает довольный Александр, но вдруг приостанавливается и опять запрокидывает голову к небесам.

— Как это прекрасно — видеть такие звезды. Вот ковры... почему я о них вспомнил, увидев эти звезды? Эти звезды напомнили мне о моих турецких коврах. Это так же прекрасно. С ними можно разговаривать, любуясь. И понимать, что ты не один. Эти звездные рисунки, смотрите. Эти реки и письмена, письмена судьбы. Плыть по этим звездным рекам и читать судьбу, читать...

— Кстати, разрешите поинтересоваться, если не секрет, — уже у двери в дом спрашивает Аркадий, — вы сказали, что на одном из ковров была расписана ваша судьба, в том числе и ваше будущее, так? Ну, и каким оно там было, это будущее?

— Неожиданно светлым, — слышит в ответ. — И так и вышло.

Кристина все-таки уговорила Володю-абхаза помочь ей разобраться с приборами на метеоплощадке, чтобы самой снимать показания. Поначалу тот отнекивался, но если упорная Кристина что-то задумала... Через несколько дней она вполне освоила не столь хитрую премудрость, иногда даже вставляла по ночам и приносила в дом к рации листок с многочисленной цифирью. Нашему метеорологу оставалось только стучать морзянкой. И хорошо: теперь он все-таки уже не через каждые три часа выбирался наружу, где иногда по ночам было довольно холодно, да и на звезды Володя-абхаз не глядел и с ними не разговаривал, в отличие от старика Александра.

Разговаривал Володя-абхаз преимущественно с Кристиной, к которой особенно привязался. Их дружба стала даже трогательной. Аркадий понимал, что дело тут в ее рассказах об истории Абхазии и, конечно, о специфике местной религии. Метеоролог заворожено слушал нашу выдумщицу и тоже ей кое-что открывал, но в конце концов их духовно объединил именно бог Анцва, да так, что несколько раз эта религиозная парочка куда-то пропадала на час-другой в перерывах между обязательными сеанса связи по рации. Оказалось, как вскоре открыла Аркадию

Кристина, Володя-абхаз водил ее к своему святилищу, которое уже давно соорудил в небольшой пещере на соседнем склоне. Вот туда, если склон не был затянут облаками, он и водил поклонницу его Бога, тем даже беря грех на душу, поскольку эта вера не поощряла пребывания в культовом месте всяких там любителей покопаться в исторических традициях. Однако конкретно Кристине, решил Володя-абхаз, туда являться можно, ее пребывание там не смутит Анцву и не осквернит святилища. Понятно, это никак не относилось к Аркадию, не то язычнику, не то и вовсе атеисту, и уж тем более к явившему неизвестно откуда старику Александру, какому-то словаку, поскольку он однажды обмолвился, что, да, когда-то был членом компартии, хотя вообще-то его духовной ориентацией всегда оставался европейский социализм или социал-демократия. Короче, полная ерунда! Коммунисты, они оголтелые безбожники, с ними всё ясно, но скажите, что это за хреновина — какой-то европейский социализм и социал-демократия? В общем, в отличие от Кристины, Александр не стал центром притяжения на метеостанции.

Кстати, о последнем, о поклоннике социал-демократии. Как-то раз Аркадий увязался за Кристиной на верхнюю площадку и там сказал ей:

— Слушай, дорогая. Пожалуйста, не расспрашивай Александра о его раннем прошлом.

— Почему?

— Потому что оно было коммунистическим, и ему тяжело это вспоминать. Вот потом — ну, там их «Пражская весна», «бархатная революция» — это пожалуйста. Но это уже его вторая жизнь. А была еще и третья, и четвертая.

— Ничего себе, четыре жизни! — хмыкает Кристина. — Ну ладно, если о первой не спрашивать, то тогда расскажи сам.

— Хорошо, расскажу, что знаю. Значит, родился он, как тебе уже известно, в словацкой деревне в семье столяра. То ли этот столяр был коммунистом, то ли только сочувствующим или его просто завербовали, но так или иначе он вдруг оказался вместе семьей у нас в Союзе. Сначала они жили где-то в Средней Азии, в Киргизии или Узбекистане, и Александр учился там в русской школе. Потом они переехали в Нижний Новгород, который за-

тем стал Горьким, где Александр и окончил среднюю школу. Вот откуда совершенное знание русского языка, поняла?

В 1938 году он вернулся на родину, вскоре война, оккупация, и он активно участвовал в антифашистском движении, даже был ранен, кажется, дважды. Потом... потом в Чехословакии воцарился социализм по-советски, с этих пор Александр на партийной работе. Но параллельно учился на юридическом факультете Братиславского университета, получил диплом юриста, а затем... затем он опять в Москве, но теперь — в Высшей партийной школе при ЦК КПСС, которую и окончил в 1958 году. Тогда ему было 37 лет. Он вернулся домой, и тут — стремительное восхождение по партийной линии, сначала в Словакии, то есть в Братиславе, потом в Праге. И вот венец карьеры: в 1968 году, после смещения тогдашнего лидера Новотного, нашего Александра избрали главой компартии Чехословакии, ее первым секретарем. То есть фактически главой страны, и заметить, в 47 лет, а это не типичный случай, даже, пожалуй, исключительный в пределах соцлагеря. Конечно, такой головокружительный взлет произошел с ведома и согласия нашего Политбюро. А вот почему выбор пал именно на него, не знаю. Может быть, потому, что «наш человек», недаром столько лет прожил в Москве. Но это уже мои домыслы, а всё, что сказал раньше, — архивные факты.

— Да, лихо! — резюмирует Кристина. — А что дальше?

Аркадий медленно достает сигарету и, закуривая, посматривает на один из приборов.

— Эй, небожительница, глянь-ка, барометр падает.

— В каком смысле? Он на месте.

— В смысле — давление падает. Внизу будет шторм, а у нас ветер и облачность.

Кристина нахмуривает лоб:

— Ага, падает, точно. Значит, опять облака ниже нас, вот черт!

— Нет, на сей раз так и надо.

— Что надо?.. Погоди, ты рассказывал про Александра, и я спросила, что было дальше, после того как он стал главным у себя в Чехословакии.

— Дальше? Дальше — это уже его вторая жизнь, тут-то и начинается что-то нетипичное. Если, как ты иронизируешь, я твою исторический сюрреализм, то для нашего Александра история написала серию катаклизмов, полную перевертышей: вверх — в бездну, опять вверх — опять в бездну, в небытие. Хотя этот чтец судьбы по коврам считает, что последние годы его жизни оказались неожиданно светлыми, как он сказал. Но об этом как-нибудь потом, любознательная моя.

Однако до этого «как-нибудь потом» случилось еще одно событие, которого ожидал Аркадий. А пока...

Барометр упал, нашла густая облачность, и когда вокруг метеостанции на вершине горы изредка чуть рассеивалась молочная туманность, можно было разглядеть плоские гряды облаков ниже на склонах. Казалось там, ниже, уже ничего-никого, и от сущего мира если что и осталось, так это метеостанция на вершине. И всё небо заволокло, отчего валил и валил густой мокрый снег. Не выйти из дому, чтобы походить по ближней округе, даже Цезарь сидел на крыльце, с него не спускаясь, ибо увязал по грудь. А внизу, как сообщил Володя-абхаз после очередного сеанса связи с Сухуми, бушевал шторм. Нет, море и шторм, это не здесь, это на другой планете, а здесь никого-ничего, и время остановилось, а вообще-то его тут и нет. Кто это выдумал — время!..

В такую пору только и делать, что сидеть у печки и пить водку с хорошими людьми. Ну, хорошие люди тут есть, а вот с водкой проблема. Была одна бутылка, да ее давно выпили. И летнее вино выпили («летнее», это то, канистру с которым еще в июле доставил вертолет вместе с запасом продуктов). Значит, что остается? Попивать чай, играть в шахматы с Александром или почитывать детско-юношеские книжки с чудесными картинками. Вот у Володи-абхаза и Кристины хоть есть какое-то занятие — несмотря на снегопад, через каждые три часа выбираться к приборам, записывать показания, потом их зашифровывать и по рации передавать сводку в Сухуми. А что — хорошее занятие, очень нужное нынче, когда погода и не думает ме-

няться, законсервировалась — можно смело давать прогноз на пару недель вперед. Консервная банка Абхазии.

— А вот и нет, — возражает выдумщица-трепушка Кристина. — Не консервная банка, а место творения. Модель мироздания. Тут в Абхазии сотворена лучшая модель мироздания, честное слово!

Володя-абхаз, который самый благодарный слушатель Кристиных мифов, усаживается напротив своей почти учительницы, которая младше его на полторы жизни, и, открыв рот, изготавливается слушать. Зная, о чем пойдет речь, Аркадий продолжает оценивать явно проигрышную позицию на шахматной доске, а Александр, напротив, отрывает от нее взгляд и с интересом смотрит на Кристину. Она продолжает, но вдруг адресуется не к Володе-абхазу, а к Аркадию, будто не прекращала с ним давний спор:

— Да, мне по душе именно их модель мироздания. Почему? Поэзия! Мифы — это первичная форма поэтического сознания. Недаром еще Фазиль Искандер — кстати, он родом из Сухуми — недаром он сказал, что история не может не быть поэтизированной. Поэтический взгляд на историю есть единственно возможный взгляд — так он сказал. Слышишь, Аркадий?

— Слышу, слышу, — отвечает тот, занимаясь тем же — изучением позиции на доске, — ну, так он поэт, писатель, разве он мог изобрести что-то иное?

— Он не изобрел, а понял: да, история всегда поэтизирована, — самозабвенно возражает Кристина. — Отсюда даже не ошибки, а вранье. Но даже и не ошибки, и не вранье, а поэтизирование эпизодов прошлого. Без этого народ не может, это система его выживания, один из способов выживания, а если может, то это лишь пока-народ, потому что у него нет будущего. Наука об истории и история в народе — это не всегда одно и то же. Увы и ах: наша наука должна понимать, что у истории нельзя отбирать ее мифы. Вот, например, наши русские вечные споры об Иване Грозном или о Петре, или о Сталине, или о нашей несчастной Великой войне — что это? Это, по сути, споры о том, быть мифам или не быть, быть поэтизации прошлого в нашем историческом сознании или не быть, а если быть, то какова

«допустимая доза» для такого кровосмешения истины и вымысла.

— Согласен, в этом вашем мнении есть разумное зерно, пани Кристина, — встревает в дискуссию Александр, — но вот я не историк и не ученый, а бывший политик, поэтому я за факты и только за факты, за правду, какой бы она ни была, иначе наши дети...

— Вы не только бывший политик, но и бывший лесничий, — подает голос Аркадий, по-прежнему глядя на шахматную доску, — поэтому пусть наши дети любят сказки, разве не так?

Александр успевает сказать лишь: «Э, да, но...», и тут опять вступает Кристина:

— А картина мира абхазов — это и есть первичная поэзия. Их мифология — поэзия осмысления Природы. Природа — макрокосм, а человек в ней — микрокосм. Это первые попытки познать роль человека, смысл его жизни, того, как он появился на Земле, что ему тут надо и что его ждет в будущем.

— Именно! — кивает Володя-абхаз. — Именно, да. И что дальше, Кристина?

— Дальше? Мифы о мироздании — это космогонические мифы, а они наиболее древние. Вот и выходит, что абхазская мифокосмогония — очень древняя, подобной нет у предков русского этноса, то есть среди племен, из которых он сложился. Я понятно говорю?

— Понятно, понятно, — опять кивает ее пожилой ученик, тем самым вдохновляя учительницу.

— Тогда дальше. По мифологии абхазов, первичен Космос, а человек и другие живые существа появились позже по воле Анцвы, единого Бога.

Тут Аркадий наконец вскидывает голову:

— Да? А я слышал, что твой Анцва — вовсе не единый бог, а стоит во главе целой компании богов... ну, ладно, во главе языческого пантеона богов, наподобии того, как было у древних греков с их Зевсом. А что — хорошая компания!

— Нет-нет, это по языческим понятиям, а мы, а я...

— Спокойно, Володя! — вскидывает руку Кристина и всем телом разворачивается к Аркадию. — Анцва — вообще первый Бог в религиозной сознании человека, реликтовый, я ж тебе не

раз говорила. Это уже доказано. Добиблейская модель единобожия. Слово «Анцва» и означает «Бог». Он первотворец и демиург, он блюститель порядка и справедливости. И он обитает на небе. Недаром в мифологии абхазов понятия «небо», то есть «верх», и «Анцва» родственны.

— Да-да, именно, да! — опять кивает Володя-абхаз. — Он — всё, вокруг и в каждом, он идеал.

— А вот тут, Володя, не совсем так, — поправляет Кристина. — Анцва действительно всё, но как божественная личность он не идеален, и именно это прекрасно! Анцве присущи некоторые людские слабости и даже пороки. Например, он самолюбив. У христиан, особенно у ранних, — это грех, но Анцва и сам такой, и в людях такое терпит. Но не терпит, если кто-то не подчиняется его воле. Тут он нетерпим и не оставит человека безнаказанным. То есть он и нетерпим, и мстителен. Вот и получается, что этот Единый Бог очеловечен куда более, чем иные Единые, более поздние. Поэтому ему не надо оправдываться за всякое им содеянное, в том числе и за себя, свои слабости или пороки. Его — такого — всегда поймут люди, те, кто в него верит. Скажи, Аркадий, разве всё это не лучшая модель мироздания? Как же абхазы должны быть внутренне счастливы и достойны, имея такого Бога!

— Я им завидую. — Аркадий поднимается из-за стола. — Завидую. — И идет к двери, чтобы покурить на крыльце. — Слушай, дорогая моя, а зависть есть грех, так? Ну ладно, я завидую. А твой Анцва завидовал?

Кристина, молодец, смеется:

— Не строй из себя тупого, дорогой мой! Кому или чему Анцва мог завидовать? Других богов не было, другой Земли тоже. Зависть — свойство сугубо человеческое, а не Божье. Понял?

— А, вот теперь понял. И просветлел. Ты многознающа и правильно-умна, я прав, что люблю тебя. Теперь самое время покурить.

— И я люблю тебя, и тоже покурю с тобой, — говорит Кристина.

— И я тоже с вами, пожалуй, — улыбается старый Александр и тянется за трубкой, чтобы набить ее табаком...

Вот тогда, стоя на крыльце, они и увидели, как из снегопада, из молочного тумана возникла фигура в черном, заснеженном мокром одеянии. Кажется, в старомодном френче. Человек сделал последние шаги на вершину и, отдуваясь, остановился. Странно: сидящий тут же Цезарь разок гавкнул для приличия и опять задумался о чем-то своем.

— Вы дошли, вы дома, проследуйте к печке поскорее, надо обсушиться и отдохнуть, — удовлетворенно говорит Аркадий пришельцу. — Прошу!

Глава 3

На второй день очередной гость вполне освоился. Другие гости ему не мешали, а хозяин, Володя-абхаз, относился к крайне редким на метеостанции гостям терпимо, даже хорошо: во-первых, долгожданное общение, а во-вторых, готовку на плите берут на себя. Вот только некоторые из нынешних гостей все-таки странные. Ну, Аркадий и его Кристина, они люди нормальные, свои, а вот Александр какой-то чужой, хоть и отлично шпарит по-русски; теперь другой гость: лет сорока пяти, серьезный, молчаливый, неулыбчатый, иногда даже капризный. И одет нелепо, в каком-то полувойском френче, как пояснил Аркадий. Ну, пусть во френче, темно-зеленом, почти черном, без погон, и не поймешь, кто он, откуда, из каких краев, одно ясно — русский, только речь его будто из прошлых времен, похоже, которая была при царе-батюшке. Вот и выходит, странноватые эти гости. А и ладно, пусть живут.

И как его называть, этого второго, как к нему обращаться? Похоже, даже Аркадий путается: то скажет «ваше превосходительство», то «господин адмирал», то просто «дорогой Александр Васильевич». А вообще-то пришелец, он и есть пришелец, и нечего дурака валять!

А и ладно опять же, пусть разбираются, они люди праздные, а у метеоролога на занесенной снегами и закрытой густой облачностью метеостанции дел полно. Кстати, надо и гостей привлечь к работе: с крыши снег покидать, окна откопать, а то уж до половины занесло, метеоплощадку тоже от снега освободить

и откопать там осадкометр и второй, нижний, термометр. Да, жуть сколько снегов напало, что-то Анцва щедр нынче, большая вода будет в марте, большая, все ручьи и реки взбунтуют, все, какие с гор в море бегут! Большие травы будут внизу на склонах и в долинах, большие урожаи лимонов, мандаринов, инжира, айвы и прочего, прочего.

Ну, это про нижние дела, а на метеостанции... На второй день, освоившись, этот пришелец закапризничал: папиросы ему подавай! Его папиросы, видите ли, отсырели и промокли из-за снегопада во время подъема, а отсырели они потому, видите ли, что были в обыкновенной пачке, а не в его любимом серебряном портсигаре, который он отдал-подарил то ли конвоиру, то ли солдатику из расстрельной команды. Во дела, да? Подарил, значит, только одну папиросу себе оставил напоследок. Во пришелец! Ну ладно, да. Так, значит, поскольку тут все-таки Черное море внизу, говорит, так нельзя ли, сударь (это он Аркадию), снести с Батумом, с тамошней папиросной фабрикой Джавахишвили, чтобы заказать у него для бывшего командующего флотом сразу пачек двадцать его прекрасных папирос. Ну, вам же известно, конечно, сколь прекрасны и знамениты эти батумские папиросы Джавахишвили... Никак не получится, отвечаем мы, потому что с городом Батуми связи не имеем, да, и не то что по рации, но и связи дипломатической, ибо сей город а Аджарии, а она в Грузии, а с Грузией... В общем, вот так, да, никак не получится с вашими папиросами, так что можем предложить сигареты (это Аркадий ему говорит) или покурить трубку (а это пан Александр предлагает, и не ту трубку, которую курит сам, а вторую, запасную, которая, оказывается, всегда при нем на всякий случай; во, какой предусмотрительный этот словак, да!). Значит, помялся-пожался этот престранный пришелец, хмурился, молчал, гордо мучился еще полдня и в конце концов соизволил снизойти до запасной трубки пана Александра. Тот сказал: «Берите, берите, очень обяжете, и не стоит благодарности, я очень рад оказать вам услугу!» Во, какой благородный и культурный пан у меня на метеостанции нынче, да...

Ночью Кристина шепчет Аркадию в самое ухо:

— Ты зачем его сюда притащил? Ты что?

— А ты его узнала? — в свою очередь шепчет Аркадий.

— А ты меня всё за выдумщицу держишь или вовсе за дурочку? Конечно, узнала! Читала кое-что, читала, интересовалась. Он же, во-первых, ученым был, исследователем, и каким знаменитым! Стажировался у Нансена, потом две полярные экспедиции, которые вошли в историю российского освоения Севера. Его именем Толль остров назвал в Карском море у берегов Таймыра, а его ледовыми лоциями по Севморпути пользовались даже во время Отечественной войны, пользовались и не знали, чьи это лоции, кто их составил. Эх, если бы не война... да не Вторая Мировая и даже еще не Первая, а русско-японская! Вот она и свихнула его с истинного пути, с пути блестящего морского исследователя, сокровенной мечтой которого было знаешь что? Эх ты, серый, не знаешь! Найти Южный полюс! И нашел бы, да началась русско-японская война, и он — сразу туда, в морские сражения. Знаки отличия от самого адмирала Макарова, а за заслуги в обороне Порт-Артура царь пожаловал ему Золотую саблю с надписью «За храбрость». Потом плен, потом...

— Помолчи! — перебивает ее Аркадий. — Давай-ка оденемся и выйдем на крыльцо, только тихо. Вставай, пошли, заодно покурим.

Осторожно, чтобы не разбудить спящих здесь же гостей-соседей, они одеваются и проскальзывают за дверь в коридор, потом выходят на крыльцо. И видят: мать честная, звезды! И тихо, и снег не валит, и вся Вселенная видна, кажется. Вот так подарок после двухнедельного пиршества средиземноморского циклона над черноморским Кавказом! Ну и славно. С утра солнце будет, склоны заискрятся. Всё возвращается к началу в этом мире, чтобы опять пройтись по известному кругу, подтвердив формулу, начертанную поэтом.

— Какую формулу? — спрашивает Кристина.

— «Изменяется мир, но он остается как прежде».

— Ну да, ну да.

Они закуривают и всё глядят и глядят на звезды. Из-за стены глухо трезвонит будильник Володи-абхаза. И этот звук — единственный на всё безмерное пространство. Время себя обознача-

ет. Да, время. Пора метеорологу идти к своим приборам, снимать показания и так далее.

— Так мы говорили о нем. Кого ты узнала, — напоминает Аркадий. — Продолжай. Нет, погоди, я напомним тебе, что стало с той Золотой саблей за Порт-Артур, которую ему пожаловал царь, как ты правильно сказала. Печальна судьба этой сабли. Он всегда возил ее с собой. В 17-м году к нему, командующему Черноморским флотом — кстати, по повелению того же царя, высоко оценившего заслуги молодого адмирала в морской войне против немцев на Балтике...

— Да-да, — кивает Кристина, перебивая, — он выиграл войну на Балтике, и как! Не то что не допустил германский флот к Кронштадту и Ревелю, а заставил его отсиживаться на своих базах.

— Именно! Так вот, летом 17-го к нему в адмиральскую каюту ворвались революционные матросы, потребовали сдать командование и заодно отдать им эту Золотую саблю, висевшую на стене каюты. «А вот ее вы не получите! — холодно отрезал адмирал. — Не вы мне ее вручали, не вам ей и владеть». И, выйдя на палубу своего крейсера, выбросил саблю за борт в море... Ладно, извини за справку, продолжай.

— Да ты и сам всё знаешь, — говорит Кристина. — Ну, хорошо. Черное море... Всё это было почти вот там, — она указывает вперед и вниз, — ага, там, под нами. Вступив в командование Черноморским флотом по высочайшему повелению Николая Второго, он и не думал обороняться, что делали до него. Не оборонительная война, а наступательная! Что стоит его преследование германского крейсера «Бреслау»! Но главное, он начал готовить неслыханно-дерзкую операцию: захват вожделенных проливов — Босфора и Дарданеллы. И захватил бы, потому что не знал поражений. Одержимый, дерзкий и удачливый. Он был гениальным военным стратегом. Никакого просчета, всё продумано до деталей! Но... февральская революция, отречение государя. И вот в Батуми...

— Где знаменитая папиросная фабрика, — усмехается Аркадий.

— В Батуми он находился на совещании военного командования, и вдруг поступает срочная телеграмма из Петрограда, из

Главного штаба: в городе волнения, беспорядки, гарнизон перешел на сторону мятежников. Всё было кончено — какие там проливы! Вскоре бывший комфлота сел на поезд в Севастополе и отправился в революционный Петроград, в Генштаб. От него требовали отчета и покаяния. От него! И он начал свое самое длинное и на сей раз гибельное путешествие по маршруту Петроград — Лондон — Сан-Франциско — Токио — Пекин — Харбин — Владивосток — Омск — Иркутск...

А здесь звездная ночь. Мимо проходит Володя-абхаз, спешит к своей рации.

— Хорошо? — кивает на небо. — Анцва тоже звездами любит, да.

— Несомненно, — отвечает ему Аркадий. — Иди, и мы скоро пойдем спать... Да, всё так, — говорит Кристине, — всё так.

Помолчав, она просит:

— Слушай, объясни мне — почему? Почему это случилось с ним? Только без фактологии, я и сама кое-что знаю.

— Ладно, попробую. Значит, почему... Его подвела завышенная самооценка, переоценка своих возможностей. Смотри, как получается. Он всегда был блестящим, всегда победителем, всегда. Блестяще окончил Морской кадетский корпус, получил отличное образование, знал несколько европейских языков, освоил океанографию и гидрологию, потом эти грандиозные полярные экспедиции, всеобщее признание, слава. И характер: бесстрашный, упорный, смелый. Человек безмерно сильный духом и телом, с сильным аналитическим умом. Таким везет, над такими сияют звезды. Потом война — и опять он первый, опять герой. Да равных ему флотоводцев, считай, не было!.. Награды, два адмиральских звания к сорока годам. Всё это сформировало в нем комплекс неуязвимости, уверенности в своих силах и возможностях. И всё это было адекватно, всё правильно. Но — в зоне науки, путешествий и экспедиций, морских сражений, командования флотом. И вдруг ему предложили, как говорится, сменить ампулу, причем резко: стать политиком, ввязаться в борьбу с большевиками. Да не столь важно, с кем, — важно, это не его стезя. Ему предложили, и он мог сказать «нет», но он сказал «да». Блестящий военный организатор и флотоводец, он решил, что и тут, в политике, возьмет верх — и переоценил се-

бя, ошибся. Кристально честный, предельно порядочный, истинный патриот и, главное, абсолютно не властолюбивый, он не мог себе представить, что политика аморальна, безнравственна по определению. А он пытался ее делать в белых перчатках. Сей номер не проходит, ни у кого не проходил, никогда.

— И из этого правила нет исключений, — соглашается Кристина.

— И смотри, как удивительно: его моральный авторитет и военные заслуги были столь высоки, что 43-летнего адмирала избирают главой всего Белого движения — Верховным Правителем России, и это безоговорочно признают все генералы по антибольшевистской борьбе — Деникин, Юденич, Врангель и другие, а также лидеры Антанты. Но Верховный Правитель, это тебе не на мостике командовать и не готовить военную кампанию, это быть политиком! Они-то куда смотрели, Деникин и прочие? Не понимали, что он не политик? Не понимали. И он тоже еще не понимал. И начал проигрывать. Не сразу, но уже через год-полтора. Пытался, из кожи вон лез, но после некоторых успехов пришли поражения, открывалась коррупция в армии и другие ее безобразия, двойная игра Антанты, а он не был дипломатом — значит, ссоры с союзниками, то есть неудачи и на этом фронте. Хочешь, почти фантастический и очень симптоматичный для нашего разговора факт? Летом 19-го года финский генерал Маннергейм предложил ему — как Верховному Правителю — союз против большевиков, союз и сделку: Маннергейм двигает на Петроград свою 100-тысячную армию, одерживает победу, но это в обмен на последующее признание независимости Финляндии. Однако наш политик-дипломат это предложение с негодованием отверг, хотя оно сулило Белому движению невероятную выгоду. А почему отверг? Патриотом неделимой России был, ее целостности. И вскоре после этого фронт стал быстро откатываться к Омску.

И вот финал. Его предали, предали свои же, союзники, предали, арестовали, хотя предлагали бежать в солдатской форме, но он наотрез отказался. Арестовали, сдали большевикам (вот тут-то свершилась сделка, но об этом потом!). Дальше понятно: расстрел в Иркутске, быстро, тихо, по приказу Ленина из Москвы — и тело в приток Ангары, в прорубь под лед. Блестящий

полярный исследователь навсегда ушел под лед, и его любимая Прикол-звезда, Полярная, которая вела его все прошлые годы, уже не спасла.

— И произошло это под утро 7-го февраля 1920 года.

— Ну и память у тебя, просто поражаюсь!

— И тот серебряный портсигар... Когда его вывели на расстрел, он попросил напоследок выкурить папиросу. Ему разрешили. Он достал папиросу, а портсигар бросил одному из солдат расстрельной команды.

— Небось потом командир отобрал его у того солдатика — серебряный все-таки!.. Так ты получила ответ на свое «почему»?

— Если по сути — да.

— Его подвела психология, переоценка себя. Жутко обидно. Блестящий человек, блестящий адмирал, герой двух войн, а до того ученый и герой-исследователь Арктики. После революции, когда он был за границей, ему предлагали профессорскую должность в Штатах по океанологии и полярным морям, издали книгу его исследований, звали, а он сказал «нет» и вернулся в Россию бороться с большевиками за родину и честь, и не просто бороться, а возглавлять борьбу. Вот тут ошибочка и вышла. Повторяю, жутко обидно.

— В XIX веке идеальным в этом плане, то есть военным и политиком в одном лице, был Наполеон, а в XX — Шарль де Голль. Похоже, это случается раз в столетие, и на нашего адмирала места уже не хватило.

— Ну да, раз в столетие и только среди французов.

— Ладно, хохмач! Лучше скажи, зачем ты свел их здесь, их, таких разных?

Аркадий усмехается:

— Им нужно кое-что выяснить друг у друга. Свести счеты.

— Счеты? Колчаку и Дубчеку?

— Вот именно.

— Ну, ты даешь!

Глава 4

Хорошо, что у нас есть Кристина: присутствие в ограниченном пространстве женщины, еще довольно молодой и довольно миловидной, способствует мирному течению времени в безвременье. Да, вот такой парадокс нынче на метеостанции, затерянной высоко в горах: время вроде есть, но и нет его. И как это предусмотрел Аркадий?

Да причем тут Аркадий — речь о Кристине, молодой и миловидной, этнологе, выдумщице и врушке, напичканной всякими путаными историями про прошлое, почитательнице какого-то Анцвы, любительнице поговорить и частенько заниматься любовью. И всё это у нее здорово получается. А у остальных обитателей метеостанции получается как-то умиротворяться в ее присутствии.

Ну, Володя-абхаз, тот просто млеет рядом с Кристиной, с Аркадием всё понятно, но и остальные, то есть пан Александр и последний появившийся тут гость (будем называть его «Адмирал»), они, стоит возникнуть нашей женщине, или вовсе прекращают свои частые дебаты, или стараются спорить мягко, делано-дружелюбно. И это у них пока выходит, потому что оба — люди уже далеко не молодые, не горячие, хорошо воспитанные, деликатные, к тому же при жизни пообтесались в высшем обществе (каждый в своем) и умеют себя вести.

Странно или нет, но тут они как бы уравнились в возрастах, хотя внешне остались такими же, какими были на финале своих жизней: Александр — 71-летний седой старик, а Адмирал, которому сорок шесть, вообще-то всегда был темным шатеном, но в последнюю ночь совершенно поседел, чем очень удивил вошедшего к нему под утро в камеру председателя иркутского Губчека товарища Чудновского. Ну а с какой вестью под утро может явиться главный чекист губернии после тайного приказа товарища Ленина, это ясно.

Но когда это было! А тут и теперь, в нашем безвременье, повторяем, они как бы уравнились в возрастах, что позволяет им относиться друг к другу без излишнего пиетета и спорить, как уже сказано, делано-дружелюбно, особенно в присутствии Кристины.

Как-то сложилось почти сразу, что некий холодок возник между ними. А ведь никак не могли знать прежде, что понятно. Вот не глянулись друг другу, и всё. Психология, интуиция! Однако, если по правде, это пан Александр сразу не глянулся Адмиралу, а уж затем возникла аналогичная позиция с другой стороны. Адмирал ведь человек прямой, обостренно честный, помнящий обиды, причем нанесенные не только лично ему, но и тому, что он любил. А Александр? Он дипломат, он ведь и послом был, поэтому выдержка стала изменять ему далеко не сразу, не в пример Адмиралу. Тогда уж и присутствие молодой-миловидной особо не помогает.

А вот присутствие подле себя только Аркадия их никогда не смущает. Будто он тут есть и тут же его нет. Странно.

— И как же вам, пан милейший, жилось-служилось у большевиков? — едко иронизирует Адмирал.

— Ничего, терпимо, — пока спокойно реагирует Александр.

— Так терпели, что до главы партии у себя доросли?

— Дорос. И тогда начал реформировать, исправлять систему.

— Ну-ка, ну-ка поведайте нам с Аркадией, как это — реформировать большевизм? Очень любопытно!

Александр всё еще спокоен.

— А вы послушайте, господин Адмирал, послушай сердцем, без иронии. Я, когда стал главой компартии Чехословакии, я и несколько моих товарищей из руководства, в их числе один генерал, герой войны, мы задумали и сделали... Нас никто не понуждал, мы сами, сами, от сердца!.. Короче говоря, вскоре это назвали «Пражской весной». Да, весной было дело, весной 1968-го, и это была весна социализма, а не его морозная зима. Это я придумал — социализм с человеческим лицом! А что это есть? Это есть программа радикального реформирования социализма, социализма, так сказать, дубового, то есть советского, который насаждала Москва. Наша программа, если коротко: идейный плюрализм, отсутствие цензуры, свобода слова, истинный федерализм. Вы понимаете, господин Адмирал?

Тот качает головой и усмехается:

— А не проще ли, сударь, было вернуться к тому, что уже давно избрело человечество: нормальное функционирование цивилизации?

— Проще, если у вас есть танки и вообще мощная армия. Тогда с Москвой можно было тягаться только силой. Но, как я знаю, и вы на то не оказались способны.

— Меня предали, — негромко произносит Адмирал. Александр этих слов не слышит и продолжает:

— Поэтому надо было осторожно, изворотливо. Например, мы никак не декларировали переход на капиталистический путь развития. Это потом, потом, полагали мы, лишь бы сейчас Москва не вмешалась, не помешала. Сейчас хотя бы элементарные свободы! Но Москва... Москва терпела не долго, до августа. Как я потом узнал, главным инициатором подавления нашей «Пражской весны» был Юрий Андропов.

— Это кто? — резко спрашивает Адмирал, поэтому Аркадию приходится дать короткую справку:

— Наиболее радикальный из высшего руководства в Москве, член Политбюро Компартии Советов, всесильный шеф тайной службы, именуемой Комитетом государственной безопасности, сокращенно КГБ. Интересно следующее: еще раньше, в 1956 году, когда начались антикоммунистические события в Венгрии, Андропов был там послом СССР. Вот потому-то он реально знал, чем теперь, уже в Праге, может закончиться эта, так сказать, антисоветчина. В 56-м он ратовал за силовое решение проблемы и советовал Хрущеву ввести танки в Будапешт. Теперь, будучи уже главой КГБ и членом Политбюро, он убедил Брежнева и прочих высших сделать то же. Что и произошло в августе 68-го. Советская система социализма в Чехословакии была быстро реанимирована. Но как вам эта параллель, пан Александр? Андропов — посол в Венгрии, вы — посол в Турции, хотя он — до того, а вы — после того. Совпадение, мистика?

— И что дальше? — отмахнувшись от этой «справки», вопрошает Адмирал.

— К печали, всё просто, — усмехается Александр. — Нас оккупировали. Блокировали военные аэродромы, ввели танки и части воздушно-десантных войск. Нас подавили. Меня и других наших лидеров арестовали, хотя ненадолго. Потом меня убрали из руководства и сослали послом в Турцию, Аркадий правильно

сказал. А потом... — тут он уже смеется, — потом меня назначили Главным лесничим страны. Как в сказке, вот.

— А меня расстреляли, — просто говорит Адмирал.

— Так выходит, мы оба пострадали от большевиков, — пытаются отыскать золотую середину Александр, но ему это не удается.

— От большевиков — да, пострадали, но я-то именно потому, что вы меня предали. Вы — то есть чехи. Точнее, чехословаки. На вас грех.

— Александр Васильевич, дорогой, — вступает в дискуссию Кристина, — вас предала, во-первых, Антанта, этот хитрюга генерал Жанен, а чехословаки...

Адмирал резко поднимается со стула:

— Стоп, господа! Теперь я даю справку, я, бывший Верховный.

— А не пойти нам на воздух, там жуть как хорошо, заодно покурим, а вы, Александр Васильевич, всё и расскажете, — вслед за Адмиралом встает от печки Кристина и улыбается.

— Предложение принято, — произносит тот спокойным тоном, но жесткость в голосе присутствует...

Ах, этот горный воздух! Кажется, легкие лопнут. Особенно когда безоблачно, когда жарит холодное солнце и искрятся снега на вершинах и склонах. Некий доктор рассказывал когда-то: тут такая чистота, такое ничтожно малое количество микробов, меньше, чем в самой чистой операционной, — прямо хоть делай операции на открытом воздухе. Во как! И тогда какие еще проблемы могут быть в жизни?

— Продолжаю, — продолжает Адмирал, бывший Верховный Правитель России. — Это было в январе месяце, в январе 20-го. Сначала мне изменила Антанта, этот подлец француз генерал Жанен, вы правы, дорогая Кристина. А чехословаки захватили весь мой Золотой запас, всё бывшее у меня золото Российской империи — 30 тысяч пудов. И затем арестовали меня, меня и членов моего правительства, которые были в моем поезде. Это случилось на станции в Верхнеудинске, что на Транссибирской магистрали. Мой поезд там стоял в ожидании развязки. И меня арестовали вместе с другими, а затем сдали большевикам. Вот

так, господин-товарищ Дубчек! Ваши арестовали, ваши! Разве я не прав, Аркадий?

Аркадий кивает:

— Правы. И я обязан уточнить. То, что вы не знаете. После того как Антанта, так сказать, умыла руки, руководители Чехословацкого корпуса, которых у нас потом называли «белочехами», сговорились с большевиками из Иркутска и арестовали вас в Верхнеудинске, теперь это город Улан-Удэ. Сговор был таким: большевики позволяют «белочехам» со всем, что они прибрали, беспрепятственный проезд по Транссибирской магистрали в сторону Владивостока, откуда они намеревались отбыть морем на родину через Америку, а в ответ получают от них арестованного Верховного Правителя и половину Золотого запаса — 15 тысяч пудов. А вторая половина по этому тайному договору остается у чехословаков.

Адмирал запрокидывает голову к небесам, Александр, напротив, голову опускает, а Кристина качает головой и укоризненно смотрит на Аркадия. Так проходит, верно, минута.

— Ну и как, убедились, милейший? — наконец обращается Адмирал к Александру. — Кто же меня предал и отдал на растерзание большевикам? А еще и золото, наше золото прибрал к рукам!

— Убедился, — горько соглашается тот. — Но вы не знаете всего. Не знаете — почему. Почему эти самые белочехи так себя вели. Если уж правда, то вся.

— Я тоже за это, — говорит Аркадий. — Но давайте, господа, сделаем перерыв, тем более нам обедать пора. Кристиночка, милая ты наша, мы голодны, черт возьми!

Следующим днем они усаживаются у печки, и Аркадий предлагает:

— Итак, господа, если вы согласны, я расскажу вам то, что каждый из вас частично не знает и что ты, Кристина, частично не знаешь тоже. То есть я попытаюсь восстановить общую картину из ваших фрагментов. Идет?

— Сделайте милость, — кивает Адмирал.

— Прекрасно, пан Аркадий, — тоже кивает Александр.

— Значит, так, — начинает рассказчик. — Первая Мировая война еще в разгаре, и вот осенью 17-го года формируют чехословацкие части из военнопленных австро-венгерской армии. Это чехи, словаки, а также чехи, которые русские подданные. Получаются две стрелковые дивизии. Вскоре их сводят в корпус — Чехословацкий корпус с немалой численностью, около 45 тысяч. Он дислоцируется на Украине. Так? Так. Это вам известно, господин Адмирал. Однако в 18-м году после позорного для Советской России, но очень нужного Ленину Брестского мира в дело с чехословаками вступает Антанта: она объявляет находящийся к тому моменту в глубине Европейской части страны Чехословацкий корпус частью французской армии и требует от Советов его отправки из России в Западную Европу. Но Советское правительство принимает другое решение: эвакуировать Корпус через противоположную сторону, через Владивосток. И заодно ставит условие: Корпус должен быть разоружен. Это логично с позиции Советов — зачем им такой риск, когда через всю страну двигаются вооруженные и не слишком лояльные к тебе войска? Возникла проблема, ибо разоружаться в то тревожное время никто не желал. Что тоже понятно. Состоялось тайное совещание руководства Корпуса, представителей Антанты и эсеров. Их решение: Корпус поднимает мятеж и пробивается во Владивосток силой оружия, а далее погрузка на пароходы — и домой.

Тут Аркадия перебивает всегда тактичный Александр:

— Поймите, пан Адмирал, поймите их, бывших военнопленных, поймите чехословаков! Они оказались внутри чужой страны и никак не могут вернуться домой. Сорок пять тысяч человек! Зажаты со всех сторон. И каждая сторона ищет свою выгоду. Да, мятеж...

— Ну, если против большевиков, то тут я не возражаю, — спокойно реагирует Адмирал, — но потом, уже в 20-м...

— Погодите, господа, — останавливает их Аркадий, — погодите, к этому мы еще не пришли. А пока у нас 18-й год. Мятеж начался в мае, и уже вскоре чехословаки (теперь «белочехи») захватили у большевиков многие города до Урала и по Транссибирской магистрали. Воевали и пробивались на восток, растягиваясь эшелонами по Транссибу, начиная от Пензы. Естественно,

возник их тактический союз с белыми отрядами. Вместе с ними белочехи заняли еще Уфу, Симбирск, Екатеринбург и — вот, что важно — Казань...

— Потому что в Казани, — вдруг возникает звонкий голос Кристины, — в Казани находился Золотой запас Российской империи!

«Молодец, девочка! — про себя восхищается Аркадий. — Всегда-то она меня выручает в таких ситуациях». И повествует дальше:

— Итак, Казань взята, а с нею у большевиков захвачен Золотой запас Российской империи, составлявший 1600 тонн золота. По железной дороге белочехи переправляют это золото в Омск, где находится Временное сибирское правительство. То есть к вам, Александр Васильевич. Так?

Тот кивает:

— Так, но в принципе.

— И с этого момента возникло жаргонное, но укоренившееся в нашей истории понятие: «золото Колчака».

— Преинтересно в вашей истории! — усмехается Колчак. — Но я обязан уточнить.

— Погодите, дорогой Александр Васильевич, — опять встречается Кристина, и ее глаза горят, — простите, давайте я сама всё скажу.

Ну, как воспитанному человеку, будь он даже бывший Верховный Правитель, не уступить даме! Поэтому он вновь кивает и по-наполеоновски скрещивает руки на груди.

Теперь соло Кристины:

— После начала Первой Мировой войны, а именно в 1915 году, царь Николай Второй распорядился переправить весь золотой запас империи из Петербурга в глубь страны — в Казань. А запас тогда составлял, правильно, 1600 тонн золота. После революции запас в Казани охраняли большевики, но в ноябре 18-го года его захватил отряд белого генерала Каппеля вместе с отрядом Чехословацкого корпуса. И правильно опять же, золото переправили в Омск... в распоряжение Верховного Правителя России. Однако вы правы, Александр Васильевич, тут необходимо уточнить: это был уже не весь золотой запас импе-

рии, а только 490 тонн золота, или около 646 миллионов золотых рублей.

«Ну и память у этой дотошной ученой!» — в который раз восхищается Аркадий, а сам шутит:

— Только 490 тонн золота — хорошо сказано, дорогая!

А вот Адмирал говорит вполне серьезно:

— Да, треть от императорского запаса. Это то, что нам доставили в Омск. А вопрос про две трети — сей вопрос к большевикам. Или еще к кому-то, не знаю, не буду обвинять, не имею фактов... А вот что я имею. После этого часть запаса золота ушла за покупку за границей у стран Антанты вооружения и многого прочего, что было необходимо моей армии. А кроме того какую-то часть золотого запаса захватили войска этого бандита атамана Семенова. А вот уже потом, а именно в январе 20-го, весь бывший у меня золотой запас захватили чехословаки. То есть ограбили и присвоили, если говорить просто, порусски. А вскоре их сговор с большевиками из Иркутска, и меня арестовали. Не большевики, заметьте, а именно чехословаки.

Пан Александр опять не выдерживает:

— С сегодняшних позиций, грех, да, но поймите еще раз: идет война, мы... то есть они, чехословаки, в чужой стране и вовлечены в борьбу противоположных сил — красные, белые, Антанта! А главная задача — наконец вернуться на родину, домой. Можно это понять?

— Да, так, — кивает Аркадий и смотрит на Адмирала.

— Понять можно, а оправдать нельзя. Предательство оправдать нельзя. Это аморально.

— Да, так, — опять кивает Аркадий и смотрит уже на пана Александра.

— За предательство, тем более такое — грабеж русского золота, сговор с большевиками, мой арест, — за такое предательство надо платить. Должна быть расплата, — сухо проговаривает Адмирал, не глядя на оппонента.

И снова Аркадий кивает, посматривая то на того, то на другого:

— Да, так. Да, так.

— Так и не так, — грустно произносит Кристина.

После этого возникает долгая пауза. Но вдруг Аркадий смеется:

— Дорогие мои господа! История полна не только великих драм, но и всяческих курьезов. А иногда они — драмы и курьезы — странно перемешаны. Давайте послушаем всё до конца. Согласны? Ведь вы этого уже никак не знаете — того, что вышло потом: вас, господин Адмирал расстреляли, а вы, пан Александр, еще не родились. И ты, Кристина, кое-чего не знаешь тоже. Тогда вперед.

Да, поначалу так и вышло: большевикам достался Верховный Правитель и половина золотого запаса, а это 240 тонн золота, или 15 тысяч пудов. Это нам уже известно. Дальше. Чехословаки вместе со своей половиной золота (опять же 240 тонн) готовились отбыть из Иркутска на восток. Но!.. Вновь секретная телеграмма из Москвы от Ленина: любыми средствами не допустить «утечки» этого золота! Любыми, Александр Васильевич, то есть чистое вероломство! И большевики стали минировать, а потом и взрывать тоннели и мосты у Байкала, чтобы один из трехсот эшелонов Чехословацкого корпуса, а именно тот, в котором был размещен золотой запас, не уплыл у них из рук, то есть не прошел на восток... А дальше сплошные «однако». Первое: однако чехословаки через осведомителей, подкупленных среди красных, узнали об этом вероломстве большевиков и кое-какие тоннели разминировали. Второе «однако»: однако у красных кончилась взрывчатка, чтобы минировать снова. У них ведь всегда чего-то не хватает, вечный дефицит. И тут третье «однако»: однако в условиях всегдашнего русского дефицита, наша голь завсегда на выдумки хитра. Если нет взрывчатки, устроим горный обвал! Чтобы все пути раздолбать и поезд с золотом раздолбать .

Слушай, моя дорогая, это более для тебя, поскольку теперь не факты, а версия или легенда про «золото Колчака». Будто бы эшелон, в котором предположительно было золото, попал под сильнейший обвал с крутых отвесных скал у Байкала, эшелон разорвало на две части, одна из которых сошла с рельсов и ухнула в озеро, где и лежит на дне доныне, на глубине более километра. Так это или не так, неизвестно, но, уже по современным данным, на дне Байкала в этом самом месте лежит что-то

похожее на покореженные вагоны. Вроде это заметили с помощью глубоководных аппаратов, но только «вроде». Так или иначе, загадка «золота Колчака» так и остается загадкой. Ну, и как вам, господа и тебе, Кристина, эта легенда?

А вот что не легенда. Чехословацкий корпус благополучно добрался на эшелонах до Владивостока и в конце концов оказался на родине. Эта эпопея завершилась. Завершилась через два года после Версальского мира, после окончания Первой Мировой войны: домой вернулись военнопленные чехи и словаки какой-то канувшей в небытие австро-венгерской армии.

— Вот и слава богу, вернулись! — вздыхает Александр. — Это нам известно из нашей истории.

— А вот известно ли из вашей истории про то самое золото? — заканчивает свой рассказ Аркадий. — А именно: привезли они его с собой или нет? И если привезли, то все 240 тонн или меньше? Ведь нам это неизвестно. Но, знаете ли, злые языки говорят, что расцвет промышленности и взлет уровня жизни в Чехословакии в 30-х годах напрямую связан именно с оказавшимся там «золотом Колчака», а точнее, золотом Российской империи. Возникли новые банки, которые щедро финансировали производство и сельское хозяйство, давали кредиты. Ушла в прошлое безработица... ну и тому подобное.

Александр и удивлен, и растерян:

— Нет, я ничего подобного не слышал — про то, что это могло быть связано с русским золотом.

— Ну да, вы же учились в советских школах, — замечает Аркадий.

— Да нет же! — теперь горячится тот. — Я не слышал об этом и позже, когда вернулся из СССР, и еще позже, когда мы уже избавились от советского социализма.

— Что понятно, — усмехается Адмирал, — ибо какая же страна признает, что долго жила и процветала за счет награбленного!

Аркадий поправляет:

— Ну, не так уж и долго — до 1938 года, когда после Мюнхена...

— Что после Мюнхена? — сразу спрашивает Адмирал.

— А это совсем другая история, — быстро проговаривает Кристина. — Да, Аркадий, другая, и к той, о которой мы тут говорили, она отношения не имеет, так?

— Так, так. Ну, ладно, — соглашается Аркадий.

— Да уж, — вновь вздыхает Александр.

Они замолкают. Адмирал начинает возиться с печкой: отворяет заслонку и, опустившись на колено, кидает внутрь несколько поленьев. Кристина тоже поднимается с лавки и проводит ревизию на плите, заглядывает в кастрюли и сковороды. Старик Александр следует к своей лежанке и, похоже, собирается прилечь. Вдруг Адмирал говорит довольно жестко:

— А знаете, что я понял? Вернее, что я услышал в себе? Что я был прав — за всё надо платить. Это и произошло. Так всегда на земле происходит. За предательство надо платить, и плата сея высока! Слышите, пан Александр? Вот предыдущим днем вы поведали нам о том, как спустя много лет после тех событий вы вознамерились устроить вашу, как вы выразились, «Пражскую весну» и откреститься от большевиков, но они приехали к вам на танках и подавили, и раздавили, и вы опять остались при них. А почему? Потому что однажды, давно, пошли с ними на тайный сговор. Ну, не вы лично, а ваши, чехи. Предали союзника — Колчака, арестовали его, отдали большевикам, а заодно прихватили российского золота, 240 тонн, на котором наша страна потом жировала. Вот за всё это вам и воздалось, причем именно от русских. Танки — и никакой «Весны»! Да, милейший пан, за всё надо платить. Такой вот урок в истории. Я удовлетворен, честь имею.

В течение последующих дней Адмирал и пан Александр фактически не общались — только кивки и редкие междометия. Кристина беспокоилась и выговаривала Аркадию, но он отмахивался. Подождем, говорил.

Подождали, и вот, прогуливаясь чуть ниже метеостанции, они видят их, тоже прогуливающихся. Удивляются, подходят, спрашивают разрешения присоединиться и слышат, судя по всему, продолжение речи Александра, обращенной, понятно, к Адмиралу:

— Да-да, повторяю, всё началось с вас! Что же вы у себя в России позволили отречься царю, допустили большевиков до власти, а потом так и не сладили с ними в Гражданской войне? А ведь вам Антанта помогала! Вы, белые, оказались слабы, и причина тому не в чехословаках и их предательстве. Это плохо, согласен, но это есть частность в истории той войны, простите великодушно, лично вас обидеть не хотел. А вот мы потом, потом, после тех танков, после всего, мы смогли, все-таки смогли! Мы устроили «бархатную революцию», без насилия, без крови, и всё у нас получилось, и мы сказали советскому социализму много «до свидания». Кстати, и в России вскоре сделали то же, хотя не так радикально, но все-таки сделали. А вот вы тогда не сделали, нет, увы. Мы сделали. Так что я тоже могу вам сказать: я удовлетворен, честь имею.

Адмирал молчит. Смотрит, не мигая, вперед, вперед и ниже, где невидимое отсюда Черное море. Александр говорит опять:

— А что до меня лично, то я тоже удовлетворен. После моего изгнания с политической арены, после ссылки послом в Турцию и затем в Главные лесничии, после этого прошли годы и меня, уже пенсионера, призвали к новой борьбе, меня вспомнили, воздали должное, я участвовал в нашей революции в 1989 году, и после победы меня избрали председателем Федерального собрания. Вот, даже так, избрали — меня, уже почти старика.

— А потом? — вдруг интересуется до того молчавший Адмирал.

— Потом, через три года, я погиб. Ну, так мне сказали, а сам я этого не помню. Будто какая-то страшная авткатастрофа. Так, пан Аркадий?

— Говорят, — задумчиво произносит Аркадий. И вдруг улыбается: — Да мало ли что говорят! Каких только историй в истории не бывает, да? Вот наша Кристина — она такая выдумщица! Ну, просто мастак придумывать несуразицы и всё ставить вверх ногами. Не в жизни, я имею в виду, а в историческом прошлом. Так что все претензии к ней. Как это, я смеюсь, дорога моя? Я очень серьезный человек, ты же знаешь.

Странно или нет, но после этого жаркого дебата ситуация между, казалось бы, принципиальными оппонентами вдруг разрядилась.

Глава 5

Серьезный человек Аркадий отмечал, что, помимо Кристины, еще одним центром притяжения на метеостанции постепенно стал ее хозяин — Володя-абхаз. С Кристиной-то всё понятно, она дама приятная во всех отношениях, а тутошний хозяин, он особь не слишком открытия. Но вот, поди ж ты!

Однажды, следуя по своим делам, он присел за шахматную доску, на которой Александр в одиночестве изучал какой-то дебют, и предложил сыграть партию. Сыграли, и Володя-абхаз выиграл, чем немало удивил соперника, ибо тот играл отменно и еще до профессионального погружения в партийную работу был кандидатом в мастера, поэтому, скажем, ему играть с Аркадием — это почти не интересно, скучновато. И вдруг!.. Проигрыш раззадорил нашего пенсионера — и пошло-поехало. Теперь, почти в каждое свободное от метеорологических дел время, коего набиралось лишь помалу, Володя-абхаз и Александр погружались в раздумья над фигурами, и счет их перманентных встреч за местную шахматную корону в конце концов стал равным, а с этим никак нельзя смириться, потому что, как известно, чемпионом должен быть кто-то один. Короче говоря, они нашли общее занятие, можно даже сказать, нашли друг друга, и это хорошо.

Но и Адмирал нашел в лице Володи-абхаза свой интерес. Началось с метеоплощадки. Бывший полярный исследователь, знаток гидрологии и климатологии, он с интересом изучал приборы наверху, что-то выяснял у Володи-абхаза, что-то пояснял ему сам, особенно по части анемометра, а вот имевший тут место барометр не привел его в восторг, потому что, сказал он, в Первую Мировую, когда он плавал на Балтике и Черном море, сей прибор был надежней и более компактным.

Вскоре дело дошло до кодирования, то есть до метеокода и цифровой сводки. Это Адмиралу, в общем, понравилось. А вот что до передачи сводки по радиации, то тут выяснилось, что со

времен упомянутой Первой Мировой все-таки произошел некоторый прогресс. И еще выяснилось, благодаря короткой лекции Адмирала, что американец Самуэль Морзе, приписывавший себе исключительное авторство в деле изобретения своего кода в конце 30-годов XIX столетия, всячески отрицал кое-какие существенные усовершенствования, сделанные его коллегой, неким Вейлем, однако это не помешало всему миру долго называть изобретенный код «кодом Вейля-Морзе», а плюс к тому этот код потом усовершенствовал еще и немец Герке, и вот в таком виде он использовался во время упомянутой войны, хотя почему-то под названием «азбука Морзе», или просто «морзянка». Но с тех пор, признал Адмирал, внимательно ознакомившись с Володиной рацией и принципом кодировки, система передачи улучшилась и, главное, полезно упростилась. В общем, он был удовлетворен, равно как и те, кто прослушал маленькую лекцию.

Вот и вышло: почти каждый из гостей-обитателей метеостанции был теперь при деле: Александр при шахматах, Адмирал при метеоприборах и рации, Кристина частично тоже при приборах, но в основном при плите. А вот Аркадий никаким делом не занимался — валял дурака, как всегда.

И вот так валяя дурака, он выходит прогуляться под спящим горным солнцем и вдруг видит сквозь темные очки, как ему машет рукой тоже прогуливающий Адмирал. Через несколько минут они сходятся на тропе, протоптанной на ближнем склоне. И кажется Аркадию, что Адмирал опять печален, как-то сосредоточен, весь в себе. Ну, подозвал, а теперь молчит. Чего ж звал?

— Я хочу задать вам деликатный вопрос, — произносит он наконец и вскидывает голову, но глядит куда-то вдаль.

— Конечно. Извольте, — отвечает Аркадий.

— Есть ли у вас сведения... — Адмирал как-то мнется, что совершенно на него не похоже. — Знаете ли вы что-то о ней... о той женщине?

— Об Анне Васильевне? — подсказывает Аркадий.

— Да, о ней, именно о ней, — облегченно произносит Адмирал. — Что с ней было, как она — вам хоть что-то известно?

— Да, известно, но... — теперь мнется Аркадий, — но только в общих чертах.

— Я вас внимательно слушаю и заранее благодарю. Главное: она жива?

— Да, жива... Ну, так было, но в последние годы я не имел новых сведений... Думаю, жива, да... А жизнь? После ареста и вашего... того, что случилось с вами, после этого она была под арестом, сначала еще там, в иркутской тюрьме, потом в другой тюрьме, так несколько лет, а затем — ссылка, поселение. Но главное — ее оставили в живых! Она прекрасно себя вела — и в тюрьме, и в ссылке. И наконец ее освободили. Она приехала в Москву, к родственникам, и жила... живет там, с ними. Всегда помнит о вас и всегда любит. Память о вас — ее самое сильное чувство и смысл жизни. Что еще мне известно? Она написала несколько очерков — воспоминаний о своей жизни и о вас. Они долго лежали в ее столе, но недавно их опубликовали в виде книги. В этой книге, помимо этих очерков Анны Васильевны, ваша биография, ваши дела и заслуги перед Россией. Видите, ничто не забыто.

Аркадий смолкает, ощущая, как под шапкой взмок его лоб. Адмирал смотрит себе под ноги на искрящийся снег. Говорит:

— То, что я не канул в Лету, это хорошо, но так и должно было быть. Однако сей факт — не главное для меня сейчас. Главное — это она, Анна Васильевна. Она много претерпела из-за меня, но, слава богу, жива. А то, что она меня всегда любила и любит, это тоже не могло быть иначе. Потому что она такая. Она великая женщина, это я понял еще до Харбина, где наконец мы стали вместе... Э, простите, деликатная тема, а вам спасибо преогромное за чудесные сведения, вы меня много успокоили. Спасибо, спасибо... Простите, пойду пройдуся, мне надо побыть наедине с собой, простите великодушно.

Еще через несколько дней опять задурила погода, опять прилетел средиземноморский циклон. Нет, уточнил Адмирал, не средиземноморский, это Бора, новороссийский волновой циклон с сильным штормовым ветром, тут это случается один-два

раза в год... Ну вот, спасибо, теперь мы знаем, от кого и чего страдаем, сидючи на горе в облаках и снежной крупе с ветром.

А как раз за день до наступления означенной пакости, пока еще светило яркое солнце и было прекрасно-ясно, а барометр и не думал предупреждающе падать, Аркадий и Кристина отделились от прочих гостей по метеостанции, чтобы наконец побыть вдвоем.

А хорошо наконец вдвоем! Идут они себе на тропке вдоль вершины склона, дурачатся, рассказывают друг другу всякие истории, всякие небылицы, хотя и «былицы» тоже. Главное, не замерзнуть. А так — гуляй себе, дело полезное, особенно если двое любят друг друга.

Кристина, хитрюга, вдруг указывает:

— Смотри, сэр, вон пещерочка, давай спрячемся в нее, займемся кое-чем, ты как?

— Лежа на снегу?

— Ну, можно и стоя.

— Стоя мы там не поместимся. Так что придется потерпеть.

— Я истерпелась вся!

— Я тоже. Но что делать — мы тут не одни, а жилая комната для всех как раз одна, во второй — наш абхаз со своей рацией.

Кристина шмыгает носом и недовольно крутит головой. Но недолго. Опять улыбается, берет Аркадия под руку, прижимается боком.

— Давай хоть посидим на снегу с пяток минут, покурим спокойно.

— Хорошая идея, моя прелесть, только под попку я тебе куртку подложу, и не возражай старшим!..

Сидят, покуривают, и вот Кристина спрашивает:

— Ну и как тебе жизнь?

Недолго думая, Аркадий отвечает:

— Как мне рассказывал один самоубийца, жизнь, она как любовница, которая через много лет тебе окончательно надоела и ты ее наконец бросаешь.

— И он не пожалел, когда ты с ним общался?

— О чем не пожалел?

— О суициде.

— Нет, кажется.

Кристина тоже недолго думает:

— Не прав твой самоубийца. Жизнь, она не любовница, она как старый друг, с которым иногда ссоришься, но к которому возвращаешься.

— Твои изречения пора записывать в книгу мудрых мыслей, — усмехается Аркадий, но добро.

— Мерси... Ну, если так, то еще вопрос про твоего самоубийцу. Как он оценивал свою жизнь, тебе известно, он говорил?

— Да, я тоже задал ему этот вопрос, и он ответил словами одного философа советской эпохи, человека уже пожилого: «Жизнь была прекрасной, но она была дерьмовой».

— Красивый алогизм. Явный депрессант тот философ.

— Это был советский философ, а в сути — русский. В этом случае сочетание прекрасного и дерьмового вполне допустимо и простительно. Еще он сказал так: «И вообще-то мне кажется, что Господь Бог был русским. Всё сделал тяп-ляп, халтурно. Хотя задумка была интересной. Но исполнение!.. Значит, сделал кое-как, потом понаблюдал некоторое время, попытался кое-что исправить, но в конце концов на всё плюнул и смотался куда подальше. Вот и вся божественная комедия».

— Да... — тянет Кристина, — не просто депрессант, а изначально недобрый философ. Философ имеет право быть шизоидом, но ясным, без злобства. Как Кант, например.

— Это тоже записать?

— Ладно, можешь и не записывать. А вот скажи... — Она делает паузу, вздыхает. — Скажи, пожалуйста, Александр Васильевич спрашивал тебя о ней, о своей женщине?

Аркадий внимательно смотрит на нее и наконец понимает, почему она завела этот, казалось бы, абстрактный разговор про жизнь. Но Кристина повторяет вопрос:

— Так он спрашивал?

— Спрашивал. А откуда ты знаешь?

— Он и меня спрашивал, но я ничего о ней не знаю, вот и сказала, чтоб он узнал у тебя.

— Да, он спросил.

— И что ты ему рассказал?

— Что теперь всё хорошо, что она жива.

— Это правда?

— Нет, неправда.

— Ох! И как же ты...

— Я не смог иначе. Ну... вот не смог! Понимаешь? Но она прожила долго, слава богу, и умерла хорошо, спокойно.

— Расскажи мне о ней, я ведь, повторяю, про нее ничего не знаю.

— Ладно, расскажу, пожалуй. Да, пожалуй, расскажу. Ты должна это знать.

Аркадий достает новую сигарету, чиркает зажигалкой, затягивается пару раз. Кристина ждет.

— Значит, так, если о главном. Они познакомились в 14-м году, вскоре после начала Первой Мировой. Она, Анна, Анна Васильевна — жена адмирала Тимирева, ей всего 21 год, а он — капитан 1-го ранга, женатый, ему около сорока, еще недавно знаменитый полярный исследователь и путешественник, а теперь офицер Морского Генерального штаба, в ауре славы, сильный, умный, порывистый, и адмиральские звания у него еще впереди, скоро. В такого нельзя не влюбиться. Да что там влюбиться — такого нельзя не полюбить!.. Она полюбила, и он тоже. Полюбили друг друга, а сошлись и стали близки только через четыре года, уже в Харбине, когда Анна Васильевна, оставив семью, приехала к нему, странствующему по миру после революции. И с тех пор они уже не разлучались до его расстрела. Она повсюду сопровождала его, вернулась с ним в Россию, в разборки Гражданской войны, и была с ним рядом всегда и везде, в том числе в его поезде, в том числе в Верхнеудинске на Транссибе, когда его предали и взяли. Она потребовала, чтобы ее взяли тоже. Их доставили в Иркутск, в тюрьму, и она опять потребовала — теперь, чтобы ее арестовали и посадили тоже. Что и исполнили чекисты. Как она потом сказала, она «самоарестовалась», это ее глагол. Случай в истории исключительный. Они сидели в соседних камерах. Когда под утро 7-го февраля к нему вошли чекисты во главе с Чудновским и сообщили, что сейчас будет расстрел, Колчак попросил о последнем свидании с ней, «в ответ на что все расхохотались». Это я цитирую по записям Чудновского.

— Сволочи!

— Нормально. Для них — нормально... Ладно, дальше. Дальше — долгая и печальная история. И тоже почти исключительная. Анну Васильевну то арестовывали, то ссылали, то арестовывали вновь. Ее арестовывали семь раз, семь! С 20-го по 50-й. Ее лагерь: Забайкальский и Карагандинский. Ссылки — последняя в Енисейске. Долгие годы на поселении. Суммарно она отдала ГУЛАГУ тридцать четыре года жизни. Но, спасибо, ее не расстреляли, оставили в живых, и она, несгибаемая женщина, всё вынесла, не сломалась, не впадала в депрессии, не сошла с ума, не заболела туберкулезом или чем-то еще. Ее освободили после смерти Сталина, в 54-м, а в 60-м реабилитировали. Она вернулась в Москву, где жила на Плющихе у своих родственников, сестры и племянника. Потом сестра умерла, и она жила там уже вдвоем с племянником. Я бывал в этом доме на Плющихе и дружил с ее племянником, с Ильей, но с ним мы познакомились уже после смерти Анны Васильевны. А прожила она 82 года.

— Вот откуда ты так хорошо всё знаешь!

— Да, вот отсюда. Я видел ее записи, брал их в руки, читал их. Личный архив... И Илья много мне рассказывал — о ней, ее семье, детстве. Она ведь родом из семьи знаменитой: ее отец Василий Ильич Сафонов в свое время был очень известным музыкантом, дирижером и педагогом, даже директором Московской консерватории был — по настоянию и рекомендации самого Чайковского... Так вот, я видел такие фотографии и держал в руках такие документы!.. Кстати, справочка: Анну Васильевну почему-то не расстреляли, а вот ее 24-летнего сына художника, сына от брака с адмиралом Тимиревым, расстреляли, в 38-м. Зачем? Наверно, чтобы улучшить настроение его матери, которая тогда томилась в очередной тюрьме или очередной ссылке... Теперь ты понимаешь, почему ничего этого я не рассказал Адмиралу? Я сказал только, что она была в заключении недолго, что ее выпустили, что она жива. И что — а это уже истинная правда! — она всю жизнь помнила и любила дорогого Александра Васильевича, до последних дней. Только эти глаголы я произнес в настоящем времени — то есть «помнит, любит». Вот такая моя маленькая ложь... У тебя попка не захо-

лодала? Только это не хватало, тебе еще рожать когда-то! Пошли-ка в дом к печке.

Ночью, в крошечной тьме, в спальнике, Кристина опять шепчет Аркадию в самое ухо:

— Как странно, скажи? Я едва знакома с ними, а вот наслушалась их разговоров между собой и твоих рассказов о них, об их судьбах, и, кажется, прожила еще одну жизнь. Нет, не одну — еще две: пана Александра и Адмирала. Теперь у меня три жизни — моя собственная и их. Странно.

— Странно, но интересно, да? — тоже шепотом спрашивает Аркадий.

— Ну, интересно — это неверное слово. Как-то объемно, наполнено, а точнее, переполнено. Нести в себе чужие судьбы...

— Которые вдруг становятся твоими, как своими, — вставляет он.

— Вот именно, своими... нести в себе это... это что? А поняла! Это и есть духовное родство по вертикали.

— То есть?

— Объясняю. Вот мы с тобой кто? Любовники? Формально — да, а по сути, родные. Но генеалогически мы с тобой из одного поколения, и значит, это родство по горизонтали. А если родство с представителями предыдущих поколений, то это — родство по вертикали. Хотя могу сказать и так: это историческое родство... А теперь представь, что ты попал в их времена, и вот вопрос: ты стал бы Колчаком и повторил бы его судьбу, даже зная чем она закончится?

— Ты любитель крайних вопросов... Хорошо, отвечаю. Да, стал бы.

— О! А это и есть историческое родство, твое с ним. А я... я, прости, как Анна Васильевна. Я бы вслед за тобой, за *таким* тобой: самоарестовалась и так далее.

— «Так далее» — это не сладко, это три десятилетия неволи.

— А выбирать другое — это предательство, это предать тебя, и, может, главное, себя.

— Ах, вот кто моя любовница, теперь я знаю! Мало того что выдумщица и изрекатель мудрых мыслей, она, оказывается, — мой родственник и по горизонтали, и по вертикали! Полный

атас! Такого не бывает в генеалогиях — ну, разве только при инцестных связях.

— А и ладно, пусть будет инцест, ты что — против?

— С тобой-врушкой — никогда!

Глава 6

Значит, назавтра пришла эта самая Бора — накрыла облачностью, завалила снежной крупой, застегала ветром.

Между прочим, слово-то это какое мудреное — Бора. Может быть от «борей»? У древних греков — это северный бурный ветер. Отмечен в мифах. Вот и тутошним местам пригодилось это словцо — никак досталось в наследство от тех самых аргонавтов во главе с Ясоном, которые промышляли в здешних краях, охотясь за золотым руном. Аргонавтов нет, как и прочих древних греков, а слово осталось. Выходит, слово покрепче народа. Интересно, что на это скажет этнолог Кристина, наша выдумщица?

Ну, Кристина потом, а сейчас наши гости, пан Александр и Адмирал, надо сказать о них. Пришла Бора, и они исчезли, будто растворились в снежной крутоверти. Не попрощавшись. Похоже, решили спускаться вместе. Или подниматься, кто ж их знает, безвременных. Но так или иначе, они исчезли, ушли, и, повторим, похоже, вместе. Вместе, оно, конечно, сподручней — что в их времена, что в наши, поскольку во всякие времена у нас дурит, беспутствует злая погода.

А мы тут, мы еще на горе, на метеостанции, Кристина и я. И нам хорошо, потому что мы наконец вдвоем, не считая Володи-абхаза. А что делать вдвоем, когда за стеной беспутствует погода, валит снег, поет арии ветер? Конечно, заниматься любовью. Ведь теперь никто не мешает, и в доме тепло, ибо печь исправно пышет жаром, и настроение у нас приподнятое, ибо какие наши годы! И главное, Кристина, она большая мастерица и по части любовных игр, просто гроссмейстер, если вспомнить о шахматах.

Да, вот о шахматах: с кем же теперь будет играть наш Володя-абхаз, если со мной неинтересно, а пан Александр, кандидат в мастера, вдруг исчез? Хотя есть надежда, что, скажем, в Сухуми

или Новом Афоне есть с кем на равных сыграть пару партий. То есть Володя-абхаз уверен, что не так и долго сидеть ему здесь, на метеостанции, поскольку рано или поздно поднимется сюда его сменщик Тенгиз — ну, вернется в эти края, как и прочие грузины, как армяне и даже греки, не древние, а вполне современные. Вот тогда и спустится с горы наш отшельник, он по семье соскучился, по морю и, да, по паре интересных партий где-нибудь в тенистом саду под персиками или на набережной, где прогуливаются ленивые красавицы, а местные мужчины попивают молодое вино, обсуждая футбольные новости.

Ладно, это я так, к слову. И теперь я занят, занят любовью, и не с кем-нибудь, а с поклонницей единого бога Анцвы, с Кристиной, высказывания которой, когда она не завирается, пора записывать в книгу мудрых мыслей.

ЖИЗНЬ С КРИСТИНОЙ.

2. ЗАЯЦ

Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кочум»», разными размерами с рифмами.

А.С.Пушкин, из «Воображаемого разговора с Александром I»

Где-то через год после того, как Кристина стала женой Аркадию (или он ей мужем?), она предложила:

— Поскольку ты закис, валяешься на диване и плюешь в потолок, то поехали-ка глянем на памятник зайцу.

— Памятник — кому? — не понял Аркадий и все-таки удивился, хоть и попривык к выдумкам подруги.

— Зайцу, — спокойно повторила она.

— Ах, зайцу! И где ж такой есть?

— Ведомо где. Верней, ведомо, где будет. В Михайловском, у Пушкина.

Тут Аркадий не стал иронизировать, поскольку что-то вспомнил:

— Погоди... Ну да, ну да, Пушкин и заяц.

— Молодец! — оценила Кристина. — Так поехали?

— Погоди, говорю! А что там было и как, напомни. И вообще — какой памятник? Зайцу?

— Памятник животному! — прозвучало назидательно. — Хорошему животному. А что, бывают плохие? Не бывают. Но тут — особый случай. Кстати не первый, когда животному ставят памятник. Например, знаменитому сенбернару, спасателю. Этот пёс там, на Сенбернарском перевале, который между Швейцарией и Северной Италией, спас более сотни путников и праздных восходителей, приволок их в зубах, замерзших почти насмерть, но еще живых, слава богу. Вот потом ему памятник и поставили. И правильно. А еще? Еще у нас в Колтушах, что под Питером, во дворе знаменитого павловского института физиологии. Там поставили памятник бедной подопытной дворняжке, в память всем подопытным псам. Видишь, какие мы хорошие — замучили, но, спасибо, памятник поставили. А та самая дворняжка, на ней академик Павлов оттачивал свое вивисекторское умение, за что в результате стал Нобелевским лауреатом. Хотя не он это начал. Вивисекция известна еще со второго века новой эры, коей занимался, например, античный врач Гален из города Пергама.

В этом месте сделаем паузу в Кристиных речах, чтобы напомнить вам о том, с кем имеет дело Аркадий. Когда они познакомились (забавно-интересная была история, но как-нибудь потом!), познакомились и стали общаться, Аркадию показалось несколько странным многое из того, о чем увлеченно рассказывала Кристина, потому что понять, где правда, а где вымысел, было невозможно. Сплошная путаница. В общем, эта самая Кристина оказалась невероятной выдумщицей, и исторические события в ее голове путались, склеивались, иногда просто перевирались и насыщались тем, что в психологии-психиатрии называют конфабуляциями, то есть измышлениями с переносом событий из одного времени в другое. Вот уж кто исторический сюрреалист, хотя именно так она называла Аркадия. Но при всем притом она многое знала, отличалась профессиональной

памятью, точностью датировок и знакомством с общепринятыми в науке оценками. Как всё это совместить? Странно, не правда ли? Как совместить ее профессионализм (этнолог, историк, почти кандидат этих врушкиных наук) с невероятными выдумками? Или так Аркадию казалось? Ну, так или не иначе, но считал он ее выдумщицей, причем и в шутку, и всерьёз.

Однако назвать Кристину врунней никак нельзя. Некая простоватая искренность отличает ее. Казалось, устав путаться в собственном восприятии истории, она когда-то плюнула на себя и стала верить именно тому, что ей казалось в данный момент. А плюс ко всему — дефицит юмора. И, да-да, простота, почти детская, беззащитная.

Поэтому с Кристиной интересно. Это главное. Однако главное еще и то, что с ней чудесно как с женщиной — значит, опять же интересно. И еще: она союзник. В том смысле, что подыгрывает Аркадию, когда он сам творит свои истории, или, как говорит Кристина, занимается историческим сводничеством.

Ну, вспомнили, с кем имеете дело? Тогда едем дальше.

— Так мы о зайце, — напоминает Аркадий.

— А, ну да, ну да. Но начать надо все-таки с Пушкина, ничего не поделаешь, сам понимаешь. Значит, вот как... Значит, отправили его в ссылку, если помнишь. Сначала на юг: Кишинев, Одесса, а потом — бац, в северные края, потому что...

— Потому что, — перебиваю я, — не следует на чужих жён рот разевать!

— Верно говоришь, — с ходу соглашается Кристина, — и не тебе не советую, а то... тоже сошлют, например... Э, но тогда, понимаешь, тогда случилась такая любовь!

— Да хоть какая! В жену самого губернатора влюбиться! Вот и поплатился пылкий поэт.

— Что ж, так, да. Нажаловался граф Воронцов царю, и Пушкину повелели отправляться в новое место ссылки, к себе в Михайловское.

— Не худший вариант, не Сибирь, даже не Соловки.

— Ну, так, так. Но там, в Михайловском, Пушкин жутко затосковал, особенно когда родственники съехали, когда остался совсем один, только няня. Прибыл он туда в начале августа, а потом... Ну, писал, конечно, творил, но... «Бориса Годунова»

творил, но... Уже вскоре, осенью 1824-го, принялся обсуждать с приятелем Вульфом из соседнего Тригорского план бегства за границу через Дерпт, то есть сегодняшний Тарту.

— А он, мятежный, ищет бури! — замечаю я между делом. Кристина этого будто не слышит (когда она углубляется в историю, она почти ничего не слышит).

— Так, ну потом... Потом, да, он пишет «Годунова», а между делом еще и «Воображаемый разговор с Александром 1-м», помнишь?

— О, да, конечно!

— Отлично вещичка, верно? — радуется она. — Слушай: «Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: «Я читал вашу оду «Свобода». Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие...»

— Стоп, Кристи! — перебивая я ее. — Так ты мне всё до конца процитируешь, с твоей-то памятью! Хорош, мы же про зайца!

— Ах да! — спохватывается она. — Значит, что было дальше? Дальше — так. Это уже январь 1825-го, 11-е число. Знаковое событие: приезжает Пущин, друг бесценный. Вот счастье-то! Шампанское, разговоры без усталости, чтение вслух грибоедовского «Горе от ума», что привез Пущин, но вот самое главное: Пущин открывает Пушкину тайну! Тайну про тайное общество, про то, что сам состоит в нем, про то, что скоро, скоро быть восстанию и прочее, прочее. И вот финал этой беседы: Пущин берет с Пушкина слово, чтобы он сидел здесь и покуда никуда не выезжал, а Пушкин, в свою очередь, берет слово с Пущина, чтобы тот сообщил ему — когда будет восстание, чтобы предупредил его, непременно предупредил! Пущин обещает, и уже на завтра они прощаются — тот едет в Москву... Дальше. В феврале выходит в свет первое издание первой главы «Евгения Онегина» (Пушкин получает это почтой), в мае Пушкин подает прошение на имя царя Александра о разрешении выехать за границу, или в столицы, или в Ригу для лечения «аневризмы». Удивительно, но уже в июне он получает разрешение, однако... «высочайше

разрешено» поехать на лечение не за границу, не в столицы, даже не в Ригу, а в Псков!

— Молодец царь, всё понимал! Аневризм! — замечает Аркадий. — Однако мы про зайца, — напоминает опять.

— Так, далее, — не реагирует Кристина на зайца. — Ну, далее Пушкин знакомится в Тригорском с приехавшей туда Анной Керн, влюбляется в нее, потом, через пару недель, дарит ей ту самую изданную первую главы «Онегина» с вложенным в нее листком, где посвященное Керн знаменитое «Я помню чудное мгновенье», но вскоре она уезжает в Ригу — опять тоска, тоска!.. А какое стихотворение, Аркадий, скажи!

— Скажу! — усмехаюсь я. — Скажу, что сказал Пушкин через несколько лет, уже вернувшись из ссылки, скажу, что он сказал, добившись наконец интимной благосклонности этой женщины. Знаешь?

— Не-е-ет, — тянет Кристина.

— Сообщаю: буквально тут же после свидания он садится за стол и похабно бахвалится в письме к другу Соболевскому: «Только что, с Божьей помощью, я... Керн» Сказать, какой глагол он употребил?

— Не-е-ет! — почти кричит Кристина и даже закрывает ладонями уши. — Какой же ты несносный, Аркадий!

— Ах, это я, я, да, извини.

— Ладно, едем дальше... Э, слушай, будь другом, принеси мне плед, а то из окна дует... О, мерси, чудесно.

Она кутается в плед с ногами, смешно поджимая их к животу. Крошка моя ненаглядная, замерзла девочка! Ну, не странно: декабрь на дворе, мороз, а тут еще в оконную щель дует. Надо заделать наконец, а то совсем квартирой не занимаюсь.

— Так, что теперь? — продолжает Кристина, и походит она на лектора, любовно читающего одну из своих любимых лекций. — В ноябре 1825-го закончен «Годунов», но закончен и земной путь государя Александра 1-го в Таганроге, о чем Пушкин узнаёт то ли в самом конце этого месяца, то в первых числах декабря. И — что ты думаешь? — сразу собирается в Петербург, не дождавшись сигнала от Пушина, как договаривались. Выезжает со своим садовником, почти в ночь, но уже вскоре возвращается обратно. Странно, да? Далее. 10-го декабря — наконец-то пись-

мо от Пушина, его вызов. Пушкин сразу собирается в путь, выезжает, опять вечером или почти под ночь, едет в санях, но... но снова возвращается в Михайловское, уже вскоре. А почему? Вот тут-то наконец и наш заяц! На выезде из Михайловского, в лесу, заяц вдруг перебегает дорогу Пушкину, а это — дурное предзнаменование по тогдашним понятиям, а Пушкин, будучи суеверным, в то свято верил. Вот и приказал поворотить сани. И что выходит? Выходит, заяц спас Пушкина, потому что, если б он приехал в Петербург (не заяц, а Пушкин), то угодил бы и к Рылееву на квартиру перед самым восстанием, и затем в самую гущу восстания! А что было бы на финале? Ясно что: каторга или новая ссылка, но теперь в Сибирь.

— Чушь, причем чушь собачья! — спокойно говорит Аркадий. — Не кипятись, сейчас докажу. Смотри, как было. Значит, Пушкин выезжает под ночь. Декабрь, стоят самые короткие дни. Когда у нас темнеет в декабре? Правильно, в четырехполпятаго. То есть уже темно. Теперь — твой заяц. Белый заяц на фоне снега, причем в темноте. И что — его хорошо видно? Ни черта его не видно! И потом: зайцы — очень пугливые создания, а тут — мчатся сани, топот лошадей, звон бубенчика-колокольчика, и заяц, что, сумасшедший, перебежать дорогу перед санями? Да он в лесу затаился, пережидая! Если вообще там был.

— Был, был! — горячится Кристина. — Был и спас. Откуда же о том историкам известно?

— От Пушкина, — смеюсь я. — По принципу: если б зайца не было, то его стоило выдумать. Вот Пушкин его и выдумал. Не потому, что струсил самовольно покинуть Михайловское и ехать в столицу, а потому, что одумался за полчаса. Одумался: нельзя ему ехать в пекло, никак нельзя! Такое с ним случалось — одуматься, и он одумывался, когда кровь уже не бушевала. Это его от многих дуэлей спасло — ну, кроме последней.

— А вот Наполеона не спало! — будто не слышит меня Кристина. — Известно, что, когда он с армией перешел Неман и вошел в Россию, дорогу его карете перебежал русак, но Наполеон не внял дурному знаку, не повернул назад. Результат известен.

— Опять чушь собачья! — опять смеюсь я. — Когда Бонапарт перешел Неман? Верно, в июне. Масса войск, целая армия, кавалерия, артиллерия, грохот, лязг орудий, конский топот на всю округу! И — русак, который теперь в легкой шкурке, маскировочной, под цвет зелени и прочему летнему. Очень его видно! И опять же: что он — сумасшедший, чтобы перебежать дорогу перед каретой императора, в грохоте и топоте на десятки вёрст кругом? Вот так-то! И еще, моя дорогая: не кто-нибудь, а именно Пушкин не так уж и верил в приметы, ибо суеверным, если по правде, не был. Недаром сказал: «История не астроном, провидение не алгебра».

— Может, так и сказал, но заяц был, уверяю тебя, Аркадий, был, потому что... Смотри, что дальше. Итак, 14-го декабря происходит возмущение в Петербурге. Пушкин узнаёт об этом через два или три дня у соседей в Тригорском от тамошнего повара, вернувшегося из столицы. Ужас! Все друзья арестованы! И после этого у себя в Михайловском он уничтожает свои записки и то самое письмо Пущина. Какие записки были, наверно! Сжигает — и всё, в концами.

— А вот тут он явно поторопился. И зря! Никто к нему в Михайловское не являлся, ни с обыском, ни с арестом. Ибо на следствии уже вскоре поняли, что к заговорщикам он непричастен. Ну, да, был другом-приятелем многих, но... но и всё. Как говорится, не участвовал, не состоял, да и не знал, по сути, ничего до самого последнего момента. Только воображал сопротивление, поскольку был сочинителем по природной сути своей, а не борцом с властью. Как в упомянутом тобой «Воображаемом разговоре с Александром 1-м». Помнишь? «Тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь». Нет, Пушкин не разгорячился и не наговорил лишнего, и царь не сослал его в Сибирь... А вот не в воображаемом разговоре с царем, — и тут я вздыхаю произвольно, — не в воображаемом, а в реальном, тут вышло иначе, совсем по-другому.

Кристина чувствует, что я что-то знаю, и напрягается:

— Ну, Расскажи, Расскажи! — Но тут как бы перебивает себя: — Или давай так. Давай постелем и ляжем, а то уж поздно, ляжем, и ты мне Расскажешь. Хорошо?

— Хорошо, моя прелесть! — Я целую ее. — Давай так...

Вот мы уже и лежим, свет выключили, а свечку зажгли. Хорошо так, со свечой, будто в старину. Или даже не так: это когда с любимой вдвоем. Ахматова как-то сказала — «одиночество вдвоем». Вот-вот, именно так: мы вдвоем, и это только наше — наше одиночество. А со свечой оно особенно ощущается, потому что мир вокруг как бы пропадает. Ночь, еле видны лица в свечном свете, и слышно, как ветер посвистывает за окном, и мы еще вместе, и думается нам обоим: эх, как хорошо, если бы это «еще» длилось долго-предолго... Милая сказка! Хотя бывает и так, что она сбывается. Посмотрим, мы же историки, каждый по-своему.

— Ну, слушай, Кристи, которая не Агата, — говорит Аркадий, — слушай, как было, я это прекрасно помню.

— Будто сам там был?

— Почему «будто»?.. Значит, разговор с государем, только уже не вымышленный разговор, а реальный. Так, а с чего началось? Вот с чего.

В ночь с 3 на 4 сентября 1826 года (именно в ночь!) к Пушкину в Михайловское прибывает нарочный от псковского губернатора Адеркаса. И командует: срочно! сейчас же! в коляску! и в Псков! Арест? — пугается Пушкин. Нарочный: не изволено знать, поторопитесь, к его превосходительству господину губернатору, срочно!

Через 120 вёрст, уже в Пскове, выясняется: Пушкин в сопровождении фельдъегеря должен явиться в Москву, к новому императору Николаю Павловичу, который там, в старой столице, пребывает после коронации. Таково высочайшее повеление. Ждут, в Кремле, в Чудовом дворце. Срочно, сейчас же в путь!

Ехали скоро, но долго, по осенней распутице, на станциях сразу меняли лошадей, однако в Москву прибыли только 8-го сентября, и сразу в Кремль, в Чудов дворец для личной аудиенции к императору. А Пушкин весь в дорожной пыли, даже переодеться не успел (думал, сначала в гостиницу, там бы и привел себя в порядок, но нет, не позволили!).

А, да, надо сказать пару слов про Чудов дворец. Вообще-то это — монастырь, но его давно нет на территории Кремля. А почему нет, Кристи? Правильно, его снесли. Правильно, при товарище Сталине, в ночь на 17 декабря 1929 года (опять в ночь!). А почему снесли? Мода такая настала. Хотя тут, если формально, был повод, но только для большевиков: им потребовалось место для военной школы [кремлевских курсантов](#). И снесли Чудов монастырь с царскими палатами.

Ладно, дальше. В Чудовом дворце Пушкин ожидал — по одним сведениям, недолго, по другим — несколько часов. Наконец приглашают в кабинет к императору. Для личной аудиенции

Беседа происходила с глазу на глаз, без свидетелей. О чем они говорили и сколько говорили, известно только им двоим. Достоверно только следующее: по возвращении из ссылки поэту гарантировалось личное высочайшее покровительство царя и освобождение от обычной цензуры, ибо было сказано: «Твоим цензором буду я!» То есть вместо обычной цензуры — необычная, царская.

Но это формально. А вот сам разговор и почему Пушкину дана такая гарантия — тут масса мнений, домыслов, гипотез, даже спекуляций. И в конце концов, всё, что современникам было известно о той встрече с глазу на глаз, это в пересказах со слов самого Пушкина и царя. Разными были пересказы, от разных людей, которым поэт и царь говорили о своей встрече в Чудовом дворце. Давай послушаем их.

Но начнем с рассказа самого Пушкина.

«Фельдъегерь внезапно извлек меня из моего непровольного уединения, привезя по почте в Москву, прямо в Кремль, и всего в пыли ввел меня в кабинет императора, который сказал мне: «А, здравствуй, Пушкин, доволен ли ты, что возвращен?» Я отвечал, как следовало в подобном случае.

Император долго беседовал со мною и спросил меня: «Пушкин, если бы ты был в Петербурге, принял ли бы ты участие в 14 декабря?» — «Неизбежно, государь, все мои друзья были в заговоре, и я был бы в невозможности отстать от них. Одно отсутствие спасло меня, и я благодарю за то Небо». — «Ты довольно шалил, — возразил император, — надеюсь, что теперь

ты образумишься и что размолвки у нас вперед не будет. Присылай все, что напишешь, ко мне; отныне я буду твоим цензором».

Теперь рассказ Николая:

«Пушкин, что бы ты делал, если бы 14 декабря был в Петербурге?» — «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он. На вопрос, переменился ли его образ мыслей и дает ли он слово думать и чувствовать иначе, если его отпустят на волю, он наговорил мне кучу комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался простым ответом и только после долгого молчания протянул руку с обещанием сделаться другим».

Итак, налицо одно совпадение — про поведение Пушкина, если бы он оказался в Петербурге 14-го декабря. А вот дальше... Действительно ли наговорил Пушкин царю «кучу комплиментов» насчет его действий в день возмущения и после того (подавление восставших с применением пушек, следствие, казнь пятерых главных заговорщиков, остальных — в Сибирь), это неизвестно. Может быть, и наговорил, и тогда понятно, почему Пушкин потом никогда не упоминал об этом. Упоминал он о другом: о возможных реформах, обещанных новым императором, о неких вялых обещаниях простить осужденных или смягчить их участь. Тоже неизвестно, было ли так на самом деле. Во всяком случае, амнистия декабристам вышла уже после смерти Николая, от царя Александра Второго в 1856 году.

Еще запись, сделанная современником после той аудиенции:

«В тот вечер на балу у французского посла маршала Мармона Николай сказал Блудову, министру внутренних дел: «Знаешь, я нынче долго разговаривал с умнейшим человеком в России. Угадай, с кем?». Видя недоумение на лице Блудова, Николай с улыбкой пояснил: «С Пушкиным».

Это ценно. Значит, Пушкин произвел отличное впечатление на государя. Чем? Умом? Понятливостью? Разумностью? Ну, уж никак не поведением, если верить другому современнику, передававшему слова царя о том, что, увлекшись беседой, Пушкин будто бы присел задом на стол. Это как, спросим мы теперь? На аудиенции у государя, который стоит перед тобой? И это дворянин, наивоспитаннейший Пушкин? Задом на стол!..

Николай сделал вид, что этого не замечает. Молодец Николай! Молодец Пушкин!

Впрочем, это если не мелкие детали, то не столь уж существенно, по большому-то счету. Главное в другом. В том, что Пушкина переиграли. Об этом, понятно, он никогда не упоминал, а вот Николай упомянул, причем прямым текстом. Вот это место из рассказа царя:

Он задает Пушкину прямой вопрос: *«Переменился ли его образ мыслей и дает ли он слово думать и чувствовать иначе, если его отпустят на волю...»*

Это я специально выделяю голосом, понимаешь, Кристи? Пушкин, дворянин, должен был дать **честное слово**, что теперь будет **думать и чувствовать иначе!** Думать и чувствовать! Иначе! При условии, если царь прекратит его ссылку, отпустит на волю! И сам станет его цензором!

И Пушкин такое слово дал. Хотя *«очень долго колебался простым ответом и только после долгого молчания протянул руку с обещанием сделаться другим»*.

Его переиграли. Да, переиграли, именно так. Всё дальнейшее томо свидетельство. И ясно, почему его переиграли.

Пушкин и Николай, оба в расцвете сил, Пушкину исполнилось 27 лет, Николаю 30. Разница невелика. А вот где она велика: Пушкин был поэтом по природной сути своей, а Николай — человеком с врожденным инстинктом власти (и неважно, что после смерти царя Александра трон должен был занять следующий по старшенству брат Константин, но он отказался, и стал Николай). Пушкин — поэт, пылкая натура. Влюбчивый, страстный, доверчивый («Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!») и лишь потом рассудочный, а Николай — прагматик, расчетливый хитрец, властный, в меру циничный, с туманными понятиями о совестливости и нравственности. И умный, конечно. Пушкин тоже был умным, но он — поэт, возвышенная душа, а Николай — жесткий монарх: польстил, пообещал, увлек — и переиграл, получил то, чего хотел. Вот еще запись современника со слов Николая: *«Отпуская Пушкина, царь сказал: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин»*. Удивительно и горько, что это понятие — «мой Пушкин»

впервые употребила не Цветаева, назвав так свой очерк, а царь Николай!

Повторю, всё дальнейшее подтверждает: так и вышло. Пушкину обещали волю, а он угодил в тюрьму, причем по своей воле. Такая печальная тавтология. Он это понял через несколько лет. Понял, что по своей воле. Ведь мог бы, как в том своем «Воображаемом разговоре», разгорячиться, наговорить царю много лишнего. Не разгорячился, не наговорил, ибо тут шел разговор уже не воображаемый, а реальный. Вот и всё. Зато ссылки не стало.

А что стало?

А стал новый Пушкин. Для меня есть два Пушкина: до сентября 1826 года и после него. После того разговора с царем и начался отсчет времени до дуэли на Черной Речке. То данное царю слово в обмен на призрачную свободу, та сделка стала началом трагедии, финал которой — пуля Дантеса. Это не взаимосвязано, скажешь ты? Взаимосвязано, увы, хотя и не впрямую. Это выводится и из пушкинского творчества последнего десятилетия, высокого и трагичного, и из его жизни в эти годы. «На свете счастья нет, но есть покой и воля». Но покоя и воли не было тоже. «По прихоти своей скитаться здесь и там, / Дивясь божественным природы красотам ... / Вот счастье...» Увы, увы!

Вот так, моя прелестная Кристина, вот и все реалии, такова история, которая не воображение, не вымысел, не то что твой заяц. Поняла?

— Дался тебе мой заяц! — печально вздыхает Кристина, однако свято верит в своё: — И что? А памятник-то ему есть!

— Уже есть?

— Ну, если не есть, то скоро будет.

— Ах, ну да, ну да.

— Какой же ты прагматик, Аркадий! (Туговато у девушки с юмором, я ж говорил!). Вот памятник Чижику-Пыжику есть? Есть, я сама видела!

— Это — да, — признаю, — я тоже видел. В Питере, на Фонтанке, где он водку пил.

— Не водку, а воду. Из Фонтанки же! (Опять к вопросу о юморе.)

— Ладно, пусть так.

— Нет, ты прагматик все-таки!

— Не прагматик, а реалист. Хотя, да, как говорил Пушкин, «история не астроном, провидение не алгебра». В истории, конечно, есть свой телескоп, но в него не всё разглядишь, однако иногда разглядишь такое, отчего только рот разинешь, правда?

— Пожалуй, — соглашается Кристина и уплывает мыслями куда-то в светлые потемки себя. — Э, слушай, сэр, а ты как, спать хочешь?

Я понимаю.

— Согласен. Только при одном условии. Если ты в процессе процесса не будешь говорить мне про памятник зайцу.

— Хорошо, не буду. А кричать можно?

— Это сколько угодно.

— О, чудо какое! Свечку загаси.

— Ни за что! Я тобой еще не налюбовался. Еще долго, еще без конца...

И дернул же черт Кристину, красавицу, чудную девочку, серьезного этнолога-историка, кандидата врушкиных наук, путаницу, выдумщицу, любительницу измышлений и всякой несусветной чепухи, а с недавних пор жену Аркадия, дернул же ее черт повезти его в Михайловское, чтобы он убедился в существовании памятника пушкинскому зайцу! Да нет там никакого памятника, ей-ей! И еще: зима, холод собачий. В общем, «мороз и солнце, день чудесный».

Уговорила, повезла. И оказалось, есть серьезный повод. Оказалось, нынче круглая дата (ну, почти круглая): поскольку сейчас декабрь 2000-го года, сказала несносная Кристина, то, выходит, прошло ровно 175 лет с момента восстания декабристов. Правильно я сосчитала? Пришлось признать — правильно, с арифметикой у нее всё в порядке, не то что с юмором. Значит, продолжила упрямая Кристина, и событию с пушкинским зайцем те же 175 лет... Да, дата, почти круглая, ничего не попишешь.

Эх, ладно, собрались, поехали. В конце-то концов, я же с Кристиной, а с ней хоть куда, мне интересно. Почему бы не съез-

дить в Михайловское, где не раз бывали и еще не раз будем. Святое место, конечно. Поехали, хоть и холод собачий, но девочка моя рядом.

Вечером сели в поезд до Пскова, и хорошо нам было, а в семь утра уже приехали. И тут повезло: прямо от вокзала отправлялся туристский автобус до Пушкинских гор, а это 120 километров, два с половиной часа. Отлично, ибо и нам место нашлось. За окошками мороз, а в салоне тепло, любуйся на леса в снегах, на прочие красоты. Я любовался, а вот Кристина вскоре задремала и почти всю дорогу проспала. И ясно почему: большая она любительница заниматься любовью в нестандартных ситуациях, я уж упоминал об этом в прошлой повести, когда мы жили на горе. А истекшей ночью, в псковском поезде, — мы вдвоем в отдельном купе. Красота! Вот теперь, в автобусе, она и отсыпается. Правда, странно, что меня в сон не тянет. Ну да ладно, это наши детали.

Приехали — и опять повезло: в гостинице на турбазе оказалась свободный номер на двоих. Отдохнули, потом пообедали в местном кафе. Наконец пошли гулять, смотреть. И вот — главное.

У въезда в Михайловское, еще у дороги в лесу, — растянуто между стволов узкое кумачёвое полотнище (ну, прямо как когда-то в Первомай) с крупными белыми буквами: «Подвигу пушкинского зайца жить в веках!» Да, кажется, я не прав — не в смысле, был ли заяц, а в смысле памяти о нем (а был ли он по правде или это легенда, теперь не важно, как и многое в истории).

— Ну, что я тебе говорила! — радуется Кристина, как ребенок. — Был заяц, был!

— Конечно, — признаю я свое поражение (а как это приятно признать перед Кристиной!)

— И заяц был, и памятник ему есть! — не унимается она и протягивает вперед руку.

Да, верно, вот и сам памятник, честное слово! Памятник зайцу-спасителю. Как мы выяснили потом, его на днях установили, открыли, и мы, так вышло, приехали почти вовремя. Сей памятник сделан в виде верстового столба с надписью «До Сенатской

площади осталось 416 верст». И ничего не поделаешь, является дурацкая мысль в голову: «Эх, Пушкин, всего 416, всего!».

На этом столбе (кажется, из бронзы) сидит пушистый беляк с длинными ушами. Можно даже погладить. Перед его мордочкой — ярко-оранжевая морковка. А сзади приставлена самая настоящая бутылка водки, но пустая. Реальность, блин!

ЖИЗНЬ С КРИСТИНОЙ.

3. ДЕВОЧКА-ДЕЛАКРУА

Кажется, пора выполнить данное выше обещание — поведать, как они встретились, Аркадий и Кристина. Забавно было, да.

Тогда шли тяжкие времена: империя приказала долго жить, а новое государство не знало, как себя сложить. Что-то непонятное, незнакомое: рынок, инфляция, безработица, многомесячные задержки зарплат, закрытие предприятий. Это что? Как следствие, растерянность, озлобление, бандитизм, новые русские, нищие пенсионеры, бомжи и прочие прелести. Помните такое? Ну вот.

А тут еще от Аркадия ушла женщина, и он стал как голый. Не то чтобы очень переживал из-за самого факта, а вот то, что стал как голый, чувствовал. Апатия, в доме запустение.

И вот однажды вечером он вышел из метро, намереваясь проследовать домой, и тут вспомнил, что там нет почти ничего, чтобы приготовить ужин, и выпивки, кажется, тоже не осталось (хотя пил он не часто, но отсутствие в доме хорошей бутылки водки как-то раздражало в принципе). Значит, вспомнил обо всем об этом и, поскольку идти в магазин, а потом дома готовить еду желания не возникло (апатия, черт!), решил перекусить прямо у метро — благо, тут полно всяких палаток, выросших в последнее время, как грибы после дождя, покупей что хочешь,

хоть в холодной виде, хоть в горячем, даже шашлык прямо с углей.

Аркадий взял пару чебуреков, подогретых в микроволновке, и горячий кофе в пластиковом стаканчике. Стал за высокий столик, начал потреблять не торопясь. Октябрь, сухо, чуть прохладно. Кругом спешит-мельтешит народ — как раз время возвращаться с работы. Неуютно, но привычно. И вот заметил, выделил взглядом фигурку в легкой курточке, спиной к нему. Не поймешь с ходу — то ли мальчишка, то ли девчонка. Существо лет шестнадцати. Стоит, разглядывает вокруг, будто выискивает кого-то или что-то.

Но вот оно, это бесполое создание, обернулось. Нет, всё-таки особь женского пола. Хотя очень смахивает на мальчишку: худенькая, короткая стрижка, под распахнутой курточкой — свободный, балахонистый свитерок, скрывающий размер груди, поэтому даже не разберешь, есть ли она, эта как-то выраженная женская грудь. Да, бог с ней, грудью, потому что только теперь стало ясно, на что эта девица смотрит. На еду.

Она так жадно глядела на столики, стоявшие рядом вдоль строя палаток, так неотрывно, что стало ясно: голодная, причем в такой степени, когда нет сил оторвать взгляд от пищи, отвернуться и вовсе уйти, чтобы не чувствовать плавающие кругом запахи, особенно шашлычные. Аркадий даже не очень удивился: времена такие, голодных хватает, безработица, безденежье, старушки у метро милостыню просят. Вот и эта девица — нету денег, оголодала, бедная. Бедная во всех смыслах. Худенькая, заостренное личико (симпатичное, между прочим, даже красивое), а кадык так и ходит вверх-вниз от судорожных глотков.

И тут она повернулась прямо к Аркадию и глянула — на него мельком, а на стоящую перед ним еду очень внимательно. Потом перевела взгляд опять на него. Он перестал жевать (аж неловко стало!) и улыбнулся ей. Да на черта тебе моя улыбка, если ты такая голодная! — успел подумать. И кивнул. Так кивнул, что как бы позвал. Девица тут же приблизилась. Он выжидающе молчал, и она наконец сказала:

— Простите. Простите, да... — И после паузы, явно поборов стыдливость: — Вы не одолжите мне немного ... ну, на кофе с булочкой, я потом отдам, отдам, честное слово!

Красивое личико, отметил Аркадий. Прическа хоть под мальчика, но прическа, а не просто так. И грудь все-таки заметна, хоть и под вольным свитером. И голосок приятный, и речь вполне нормальная, без блатных модуляций. А, да, и голодная, вспомнил, в чем дело!

Ничего не говоря, он извлек из кармана пиджака деньги и протянул ей пару бумажек. Она даже не поверила — как-то дернулась всем телом туда-сюда, потом осторожно взяла. И сразу к ближайшей палатке, даже не поблагодарила. Там была очередь, три мужика. Аркадий невольно заперезживал за «свою» девицу: вот черт, очередь, как всегда! Наконец она перед окошечком. Что-то сказала и вот уже получила заказанное. Взяла в руки стаканчик и бумажную тарелку с двумя булочками, потом огляделась в раздумье: куда примоститься? Посмотрела на Аркадия, стоявшего в десяти метрах. Он спокойно кинул. Она подошла, поставила на мраморную плиту стола свой кофе и еду, потом вдруг выложила перед собой остаток денег, то есть сдачу.

— Это лишнее, спасибо, возьмите, — проговорила и взялась за первую булочку.

После первой тут же последовала вторая. Потом Аркадий искося видел, как она быстро допила кофе. Он тоже закончил свой ужин и закурил. Сдача так и лежала на столе.

— Это не нужно? — Он кивнул на деньги, уже намереваясь уйти.

— Нет, — услышал спокойное, — вы много дали. Спасибо... Э, стоп, как вам отдать долг?

— А не надо отдавать.

Она замотала головой, смешная:

— Нет-нет, я так не могу! Вот получу наконец стипендию и отдам. Представляете, за сентябрь не дали, а теперь и за октябрь. И за летний стройотряд не заплатили, как обещали! Но ведь заплатят, в конце-то концов, да? Вот тогда и отдам, правда.

— Хорошо, отдашь, — вяло согласился он, чтобы не слушать о новой жизни в новой стране. Это его не интересовало. — А ты, выходит, студентка? — вывел он главное из ее покаянной речи и только тут понял, что говорит ей «ты». С чего это вдруг? Никак не похоже на него. Странно. Хотя, да, она еще девчонка,

по сути, а ему... ему лет тридцать пять, кажется, или почти сорок, он уж и забыл.

Она явно заморила червячка, потому что начала очень бойко:

— Студентка, да, на втором курсе. А где, да? Государственный академический университет гуманитарных наук. Сокращенно — ГАУГН. На этнолога учусь. ГАУГН — красиво, да, но черт-те что, рехнуться можно. ГАУГН! — повторила опять, хмыкнув. — Мне это напоминает игуану, знаете, есть такая огромная ящерица, которая водится на Галапагосских островах. ГАУГН — игуана! Похоже, правда?

— Да, может, и похоже по созвучию, — согласился Аркадий. — Ну, значит, в твоей Игуане стипендию не платят, а ночевать тебе есть где?

Девушка аж опешила, даже сглотнула, но теперь уже не от голода:

— Есть, — доложила, сделав пустой глоток, — есть, но... но еще не ночь, а идти домой не хочется, я с матерью поссорилась, из-за денег опять же. Вот! — победоносно завершила она эту фразу.

— Ладно, — вздохнул он, — тогда пошли ко мне... Э, да что у тебя лицо вытянулось? Я не о том! Не бойся, приставать к тебе не буду, я не педофил, не нимфетофил и вообще нормальный. Просто одиночество, черт, выпить не с кем. Пошли. И не потому, что я тебе дал на кофе с двумя булочками. Просто — и всё.

Девушка глянула спокойно и вдруг сотворила движение пушистыми ресницами — как веером взмахнула:

— Если просто и всё, то и хорошо, пойдёмте.

Аркадий забрал сдачу со стола и тут же засунул ей в карман куртки:

— Спокойно! Пригодится! А теперь пошли, тут недалеко, гражданка этнолог.

Сначала они двигались вдоль ряда магазинов. Аркадий приостановился:

— Вот что. Зайдем сюда. Надо же мне наконец купить что-то из еды. На вечер, да и на завтра. А, и какого-нибудь вина. Или водки, кстати. Что? — спросил, хотя девушка молчала. — Я не алкоголик, не бойся. Как говорится, любитель, а не профессио-

нал. Одиночество, сказал же тебе. Хочется выпить и закусить, а не с кем.

Она промолчала, и так они вошли в магазин.

— Давай, выбирай сама, — почти приказал он, — только пельмени возьми, вот по чему соскучился. Выбирай, я заплачу, а водку сам возьму, вон она, кажется. Ну, встретимся у касс.

Так и сделали. Девушка взяла пельмени, маслины, баночку исландской селедки, упаковку с апельсиновым соком и черный хлеб. Молодец, нормальный выбор под купленную им водку. Пока шли домой (поначалу молча) он вспомнил:

— А как тебя зовут, кстати?

— Кстати — Кристина.

— Интересное имя, довольно редкое у нас. Кристина, Христина...

Она оживилась:

— Христина — это больше по-хохлядски или по-словацки. А вообще история имени Кристина такая. Тут явно латинские корни, от латинского Christ, это вариант имени Христа. Согласно толковательным описаниям, женщины с именем Кристина имеют замедленную реакцию на происходящее, привыкли всё делать неторопливо, с толком, не тратить времени на иллюзии. И еще: они очень наблюдательны. Хотя бывает, что ленятся. Впечатлительны и замкнуты. Их привлекает занятие наукой, поскольку у них развита интуиция. Легко ладят с людьми, хотя общаются чаще с мужчинами... Ой, об этом можно было не говорить, извините!

Аркадий скосился на нее, шедшую совсем рядом, так что иногда они касались плечами:

— Ты прямо как лектор! Как по-заученному!

— У меня отличная память, память профессионального этнолога... ну, будущего историка-этнолога, конечно.

— Ясно, понял. И что, вышеозначенное описание тебе соответствует?

— Более или менее. Нет, все-таки более... А вас как звать? — Он сказал как. И услышал: — Вот и есть, за что вам выпить — за знакомство.

— Хорошо, выпью. А ты?

— Нет, я совсем не пью. Не нравится.

- Что ж, я один буду пить? Так не нравится уже мне.
- Ну... я соком буду с вами чокаяться, я сок взяла, видели?
- Видел, ладно, хорошо...

Вошли в квартиру, Кристина сняла куртку, туфли и оказалось совсем девочкой — невысокая, худенькая, но очень симпатичная, с хорошей фигуркой, хотя, правда, чуть сутуловатая. Смешная мальчишка какая-то. Переобулась в оставшиеся после прошлой женщины тапочки. Это хорошо: не пропадать же им, бесхозным!

— А вы здесь один? — огляделась.

— Угу, и давно. Если хочешь, иди в ванную, это вот здесь, а я пока на стол приготовлю. — Она как-то неуверенно пожала плечами, потом кивнула, и, когда двинулась туда, Аркадий остановил ее: — погоди, сейчас дам тебе чистое полотенце и... и халат, да, халат, он старый, но чистый и очень махровый. Снимай свою одежду, это твое дурацкое платьице — и в халат. После ванны это славно. И уютно, по-домашнему... А, черт, да не бойся ты ничего, я ж тебе доложил, что нормальный и на девочек не бросаюсь, даже выпив!

Кристина спокойно ответила:

— Да я поняла и ничего не боюсь, зря вы на меня голос повышаете.

— Ладно, больше не буду, извини, иди, мойся. Всё хорошо...

Когда она вышла на кухню, он еле сдержался, чтобы не улыбнуться: длинный махровый халат был ей слишком велик при ее росточке и худобе. Смешно. Она уселась, закатала рукава до локтей, повела короткостриженной головкой. Да, смешная мальчишка! Но симпатичная, личико чистое и какое-то наивное.

— Бери, ешь, пельмени готовы, ешь, закусывай!

— Да я уж перекусила недавно, ну, там, у метро, вам благодаря.

— Разве это еда? Ешь, говорю.

Аркадий напил себе водки, хотел уж выпить, и тут она сказала:

— А знаете что? Э, и я с вами, пожалуй. Чуть пригублю, ладно? Уж больно уютно.

Он поставил на стол вторую рюмку, наполнил ее чуть-чуть:

— Пригуби, а больше не надо, не привыкай.

— Конечно! Что вы, что вы! Ну, за знакомство, да?
Чокнулись, выпили. Кристина тяжело выдохнула, покачала головой:
— М- да, крепко, блин! — И загоревшимися глазами глянула на маслины: — Можно?
Тут он засмеялся:
— Всё можно! Ешь пельмени, маслины, селёдку, ешь, будь как дома, мне хорошо, и тебе тоже.
Она кивнула и принялась за еду. И это у нее неплохо получалось, пока он выпил еще пару раз и разделался с тарелкой пельменей. Тут Кристина задала понятный вопрос:
— А чем вы занимаетесь в этой жизни? Кто вы?
Аркадий сразу вспомнил похожий эпизод из прошлого и усмехнулся:
— Однажды меня спросили о том же — кто я, и я ответил честно, но мне не поверили. Это был один пограничник на Севере, и он не поверил. А я сказал правду. Я — шпион.
— Отлично! — Кристина опять, как на улице, когда он предложил ей идти к нему домой, взмахнула пушистыми ресницами. — А я верю. Шпион, отлично! И что, хорошо платят?
— Хорошо. Только не деньгами. Интересом. Понимаешь?
— Еще как! — кивнула она, не удивившись. — Интересом — это главное всего.
Он удовлетворенно выудил пальцами маслину из банки и стал ее обсасывать. Потом задал аналогичный вопрос:
— А ты? Чем ты там занимаешься в своей Игуане, что изучаешь?
— Чем занимаюсь? Да всем понемногу — главное, историей, этнографией. А в конце этого курса будет курсовая, и я уже знаю, какую тему выбрать. Уже выбрала!
— И какую?
— Талейрана, — с ходу прозвучал ответ. — Уже столько про него прочла! Фантастическая личность! Знаете такого?
— С юности, — наконец покончив с маслиной, сказал он и закурил. — Тарле и прочие.
— Ой, и я Тарле читала, конечно! — обрадовалась она, но обрадовалась даже не тому, что читала Тарле, а совпадению. — Как это здорово, что и вы, что он вас зацепил еще в юности!

— Меня многие зацепили, и многое, — как-то туманно уточнил Аркадий.

Кристина не среагировала на это и почти вдохновенно затараторила:

— Его звали не просто Талейран, а так: Шарль Морис де Талейран-Перигор. Красиво, да? Формально он кто? Министр иностранных дел, и даже при трёх режимах — при Директории, при Бонапарте, потому у возвращенного во Францию короля и еще у Луи-Филиппа. Во как! Но это формально, а по сути-то — игрок, интриган, сволочь! Гроссмейстер интриги! Потом имя «Талейран» стало нарицательным для обозначения хитрости, ловкости и беспринципности. Ничего не делал просто так — только с выгодой для себя. Например...

Аркадию удалось перебить:

— Ну да, помню, по Парижу ходила шутка после его кончины: «Умер? И зачем ему это понадобилось?»

— Ой, так? Я не знала об этом. Как лихо и верно!

— Да, он помер уже старым, лет под восемьдесят ему было.

— Он умер в 1838 году, и было ему восемьдесят четыре года, — тут же отчеканила Кристина.

— Да? — уже не удивился Аркадий. — Ну, ты молодец, пусть так. А еще у этого низкорослого и колченогого, то есть хромого человека, если тебе известно, была тьма любовниц, тьма! — То ли от незнания этого факта, то от стеснения Кристина смущенно повела плечами, и Аркадий продолжил: — А знаешь, чем этот хромой их брал, чем завоевывал? Не знатностью, не придворной должностью — таких в Версале было достаточно, — а умом, потрясающим умом, образованностью, ироничностью, ну и, конечно, изысканными манерами.

— Да, это на него похоже... Так вот, дальше. Ещё во время первой Империи Талейран начал получать взятки от враждебных Франции государств. А потом этот наполеоновский министр способствовал реставрации Бурбонов и уже на историческом Венском конгрессе в 1814 году представлял интересы нового французского короля. А вот что еще! Именно он выдвинул принцип легитимизма. Он, представляете? Вот откуда это слово и понятие! Так, а еще...

Но тут случилось почти невероятное: Кристина будто судилась — голова склонилась набок, локоть съехал со стола, и она чуть не свалилась со стула. Но тут же выпрямилась, глянула смущенно:

— Ой, извините, Аркадий! Это оттого, что я насытилась, а еще с глотка вашей водки. Разморило, то есть совсем разморило... Э, можно я прилягу? На полчаса, на полчаса! — взмолилась. — А потом поеду.

Он глянул на часы.

— Уже поздно ехать. Оставайся, ночуй.

— Не-е-ет, — протянула она и даже, кажется, покраснела, — это неловко как-то.

— Ловко, очень ловко. Нет проблем: ляжешь, будешь спать, а я — в другой комнате.

— Да?

— Да, не беспокойся. Чистое белье — в коридоре в стенном шкафу. Доставай, стелись в большой комнате. Иди, марш!

Кристина поднялась из-за стола:

— А вот... ну, прибраться здесь, помыть посуду?

— Иди, сказал! Сам всё сделаю, делов-то! — И продолжил, когда она двинулась в коридор: — А домой позвонить, маму предупредить, что не приедешь домой?

Она обернулась:

— А можно и не звонить. Так у меня уж бывало, когда не ночевала дома. Ну, у подруг, — уточнила, чтоб он не подумал чего-то такого. — Мать привыкла, а тем более мы поссорились.

— Это не есть хорошо, — почти строго проговорил Аркадий. — Мама есть мама. Тем более, если поссорились. Позвони, прямо сейчас позвони! Телефон на столике у входной двери.

Она, кажется, согласилась:

— Ну, да. Наверно, да... А что я ей скажу?

— Самаобразишь! — Он махнул рукой и налил себе еще водки.

Через минуту возник тихий голосок:

— Мам, это я. Да, нормально. Мам, ты извини меня, была не права... Ну, ладно, хорошо, всё, проехали... Да, сыта, меня накормили, я у подруги. Она так меня накормила, что останусь тут на ночь... Не беспокойся, всё нормально. Да, до завтра, пока!

Потом он слышал ее мягкие шаги — вот она подошла к шкафу в коридоре, вот совершила поход в туалет, вот в ванную. И наконец всё стихло.

Значит, она у подруги! Врушка! — усмехнулся Аркадий. Да ладно, нормально, ведь не скажешь матери: я ночую у незнакомого мужчины... Хорошо, что помирилась с ней. Пусть теперь спит, будущий этнолог-историк, делающий курсовую по Талейрану, симпатичная оголодавшая пигалица, девушка-мальчишка... А вроде она не такая уж дура, подумал далее, да нет, совсем не дура, даже, можно сказать, умненькая. И какая-то не современная, книжки хорошие читает. С детской придурью еще, конечно, однако... Талейран! — опять усмехнулся. — Шарль Морис де Перигор! Незаконный отец Делакруа!

И вот тут, добравшись мыслями до Делакруа, он вспомнил, кого она ему напоминает. Ну, чуть-чуть напоминает, потому что та знаменитая женщина со знаменитой картины Делакруа была все-таки постарше и потвёрже выражением лица, недаром она, со знаменем в руке, призывала народ к свободе, на баррикады. Но что-то общее есть, ей-богу, есть! Скажем так: женщина-свобода Делакруа — это выросшая и превратившаяся в женщину эта самая пигалица, изголодавшаяся девочка-мальчишка с острыми локотками и коленками, которая сегодня у метро просила у него на еду, а теперь, насытившаяся, тихо спит на его диване.

Так? Так! — понял он. Угадал, увидел, различил среди времен. Потому и не странно совпадение: она, эта Кристина, изучает Талейрана, незаконного папашу Делакруа, а Аркадий, различил в ней юный вариант его, Делакруа, самой знаменитой женщины. Различил девочку-Делакруа. Здорово, похвалил себя, молодец!

Он налил себе еще водки. Выпив, опять зажевал маслиной. Потом взялся за чай. Закурил. И спокойно думал — уже не о почти приبلудной девочке Кристине, сейчас спящей в его комнате, а о Делакруа. Аркадий многое мог сказать о нем, хотя не был художником. И о Талейране тоже, хотя не был дипломатом, интриганом, хитрецом, игроком и, да, как заметила Кристина, сволочью.

Проснувшись наутро, он направился было в ванную, однако, уже взявшись за ручку двери, вдруг вспомнил, что в его доме пусть маленькая, но женщина (если эта девочка-Делакруа, еще не ушла), а он в одних трусах. Поэтому натянул джинсы, футболку и вышел в коридор. Маленькая женщина оказалась на кухне, уже не в халате, а в своем платье, и что-то делала у плиты, спиной к нему.

Странно, сердце наполнилось теплотой: в доме кто-то есть, что-то готовят!

Аркадий постучал костяшками пальцев по косяку двери в кухню. Кристина обернулась, вскинула опухшие ресницы, улыбнулась:

— Ой, доброе утро! А я, вот, решила завтрак вам приготовить и, простите, вошла в ваш холодильник.

Он подчинился возникшему порыву: подошел к ней и обнял. На секунду. Отстранился, спросил:

— Как ты спала?

— Как убитая! А вы?

— Нормально спал. Так, ну и что ты обнаружила в моем холодильнике?

— Только яйца и немного сыру. Яичницу готовлю. Будете? Но в морозилке вчерашние пельмени остались — отварить вам?

— Нет, я скромно завтракаю, яичницы вполне хватит.

— Вот и хорошо, садитесь, мы поедем, а потом я побегу, мне на лекцию пора в мою Игуану.

Он кивнул:

— Ладно, умоюсь только.

Потом они ели, пили кофе, но молча почему-то. Вскоре Кристина встала, переправила в раковину тарелки, собралась их мыть.

— Оставь! — упредил Аркадий. — Это я сам, умею.

— Да? Ну ладно, а то мне пора.

— Пора, так иди.

Он прошел вслед за ней в коридор к двери. Подал курточку. И услышал:

— Я вам должна, я не забыла. Как отдать? Хоть телефон дайте, я позвоню.

— Да-да, телефон, сейчас. — Вернулся в комнату, нашел листок, записал номер, потом протянул ей. — И вот что, слушай. Не нужны мне эти задрипанные деньги, а тебе жить не на что. Я тебе еще дам, а потом разберемся. Да не маши руками! На что жить будешь? Держи, вот. И всё, всё, хватит! Убери в сумочку, всё!.. А если не про деньги, то хочешь, приезжай опять. Когда захочешь. Поговорим про твоего Талейрана. А не захочешь, не приезжай. Номер телефона знаешь. Ну, пока, катись в свою Игуану!

Она покачала головой, даже не зная, что сказать. Да, наивное дитя, честное слово. Откуда такие берутся в нашем сегодняшнем мире?

В течение этого дня, время от времени, он возвращался к мыслям о ней. Странно, думал, она даже не поинтересовалась, кто он и где работает. Услышала — шпион, и обрадовалась. Ну, он шпион и есть, но в сюрреальном мире, а не реальном. Наивный ребенок, девочка-мальчишка! Или это игра? Ведь женщина все-таки, хоть и юная, а они все такие... Подумал еще и сделал вывод: нет, не похоже. И усмехнулся этому выводу: ты-то давно не ребенок, не похоже, очнись!..

Она позвонила не этим вечером, а следующим.

— Аркадий, здравствуйте, это Кристина, если помните.

— Привет!

— Ну, стипендию нам так и не дали, поэтому... Но Ваши деньги у меня есть, поэтому... Ой, да я не о том! Вы сказали, что можно позвонить и приехать. Да, так?

— Так. Приезжай.

— Да? Хорошо, спасибо. Потому что я соскучилась. У меня такого никогда не было, никогда. Чтобы так. У меня вообще никогда ничего такого не было — ну, понимаете?.. Э, что я говорю, глупая! Но... вот соскучилась, и всё, честно.

— Информация принята к сведению. И хватит тараторить и мямлить. Приезжай. Как меня найти, помнишь?

— Ну, метро помню, конечно, тут мой универ недалеко, а вот как дальше... У меня тогда что-то с головой было, не запомнила

дорогу. Это со мной бывает: плохо ориентируюсь во времени и пространстве.

Аркадий это отметил: самокритичная девочка, правду говорит!

— Тогда так: выйдешь из метро — и стой, я тебя встречу. Во сколько ты там будешь?

— А через полчаса!.. Но это не поздно, а то уж вечер?

— В самый раз. Значит, через полчаса у метро...

Встретившись, опять зашли в супермаркет, и тут Кристина предложила:

— А давайте купим всё и для обеда, я вам приготовлю на пару дней, а то вашему холодильнику кот заплакал. Это я с удовольствием, я умею хорошо готовить .

Ему понравилось ее слова — и даже не то, что обед будет, а то, что это — Кристина...

Придя домой, сели ужинать. В процессе поглощения пищи она спросила:

— Это ничего, что я к Вам напросилась, только честно?

— Вопрос, на который деликатный мужчина не может дать отрицательный ответ, даже честно. Но тут — особый случай: если честно, то ты правильно сделала.

Она удовлетворенно покивала и активней принялась за еду.

— Что у тебя в твоей Игуане? — поинтересовался Аркадий.

— А что может быть в заповеднике на Галапагосских островах? Сплошные рептилии.

— Ну уж сплошные!

— Нет, среди преподав есть нормальные, умные дядечки, а студенты, они рептилии и есть.

— Ты строга, строга!

— А ну их всех! Вот сегодня после лекций я сидела в нашей библиотеке и... Погодите, я наелась, пора обед на завтра готовить. Где у вас кастрюля побольше и сковородка, чтобы лук обжарить?

Уже в ходе этих дел, перемещаясь от плиты к столу для готовки, она без остановки рассказывала:

— Значит, о Талейране. Вот что я еще вычитала про эту роскошную сволочь. Значит, министр иностранных дел при трёх режимах, хотя один режим насильственно свергал другой и

многих карал. А Талейрана — нет. Тот же пост — министр! Ну, это я уже говорила, да? Значит, Директория, потом у Бонапарта, потом у короля, у Бурбонов, потом у Луи-Филиппа. Почему? Умнейший человек, это понятно, однако — незаменимый человек на своем посту: дипломат, хитрец, мастер интриг. Такой был нужен всем режимам, а идеи, идеология, личные взгляды — плевать. А у него и не было личных взглядов — лишь бы щедро платили, давали взятки. И вот что я вычитала, слушайте! Когда подписывали Тильзитский договор... Э, вы в курсе, что такое Тильзитский мир? А, хорошо, но скажу в двух словах. Ведь Россия ту войну с Наполеоном в 1805-1807 годах проиграла в пух и прах, но вот — переговоры, готовят мирный договор, на реке Неман у Тильзита встречаются императоры Александр и Наполеон, и вдруг такая неожиданность: проигравшей России предлагают относительно мягкие условия! Естественно, Александр подписывает такой мир. То есть Россия легко отделалась. Но, конечно, главный выигравший — Талейран. Еще в ходе подготовки к переговорам он тайно предложил кое-кому из русской делегации свои услуги, за очень приличные деньги, конечно, а потом долго и искусно убеждал Бонапарта в правоте предлагаемых им условий мирного договора. И Наполеон клюнул на эту подлость своего министра. Вот такая сволочь этот Талейран, я ж говорю! Похоже, в истории сплошь вот такие сволочи.

Тут Аркадий заметил:

— Ну, почему сплошь? Помимо, как ты говоришь, сволочей, в истории есть и герои, и творцы, и честные исполнители, и простые бесталанные обыватели. Все в своей пропорции, и так из века в век.

Кристина машинально кивнула и продолжила с энтузиазмом, при том не забывая про готовку обеда:

— И потом. Наполеон еще не успел потерпеть поражение у Ватерлоо, а Талейран уже подготавливал восстановление монархии Бурбонов. Хорошо, да? Потом к власти пришел Людовик XVIII, но и Талейран не пропал. В общем, поспособствовал реставрации Бурбонов. Естественно, не за просто так. Он всегда не просто так. Ещё во время Империи получал взятки от противников Франции. На Венском конгрессе в 1814—1815 годах уже представлял интересы нового французского короля, но при

этом исподволь радел за нарождающуюся буржуазию. Тоже не за просто так. А позднее, после 1830-го, был послом в Англии. И что вы думаете — и тут отличился, и по части тонкой дипломатии, и по части личного интереса. Обожал перекраивать границы! Например, приложил руку к тому, чтобы отторгнуть от Голландии Бельгию, и за немалую взятку включил Антверпен в состав Бельгии. Так что бельгийцы до сих пор должны быть признательны Талейрану за такой подарок. Как вам это нравится, Аркадий?

Потом она говорила что-то еще в том же роде, приводила факты. Даты, свидетельства, события... Аркадий слушал. Интересно, безусловно. Он и сам кое-что знал про те дела, но тут была особенность: Кристина, и как она рассказывала. Увлеченно, даже самозабвенно. Молодец девочка! Будущий историк, это точно. Исследователь. И почему она сейчас выбрала именно Талейрана? Талейрана, который незаконный отец великого Делакруа, но Кристина, похоже, о том не знает. Вот какое неожиданное совпадение: она — о Талейране, а Аркадий — о том, как она похожа на женщину Делакруа, тайного сына Талейрана. На ту женщину в юности. Девочка-Делакруа...

Ладно, так. А обед на завтра, кажется, готов, осталось вскоре выключить газ под кастрюлей.

Кристина всё говорила, и наконец Аркадий поднял руку, останавливая ее.

— Что? — не поняла она.

— Когда газ выключать?

— Э, ну, минут через пять, а что?

— Ты останешься на ночь?

Пауза. И тихий голосок:

— Ну, если не прогоните.

— Тогда маме позвони, предупреди.

И тут неожиданное:

— А я уже предупредила. Утром, когда в Игуану уходила. Сказала, может быть, сегодня не буду ночевать дома. Может быть... Вот, так сказала, на всякий случай.

— Понятно. И у кого будешь ночевать, сказала?

— Угу, — кивнула Кристина, — сказала. У одного мужчины, моего друга.

— Ты честная девушка. А я думал — врушка.
— Нет, честная.
— Ладно, предположим. И что мама?
— Ну, что мама! Расширила глаза, конечно, но смолчала.
— Хорошая мама.
— Да, хорошая.
— А папа где?
— Папы нет. Мама меня в капусте нашла.
— А, так!.. Что ж, бывает. Ценная уродилась капуста в тот год.

Кристина опять только кивнула.

— Тогда вот что, — твердо сказал Аркадий. — Твое белье — в стенном шкафу. Стелись, ложись.

Она помолчала, потом вскинула ресницы:

— А вы... где вы ляжете?

Он спросил напрямую:

— Хочешь, чтоб с тобой?

— Ага, хочу.

Это прозвучало бесхитростно, просто. Ребенок, да и только.

— Так и сделаем, — спокойно отреагировал он. — Иди, стелись, ложись, а газ я сам выключу.

— Ага, но только тогда... Я схожу в ванную, потом лягу, а вы... вы не входите сразу, я лягу, а вы потом.

Он понял:

— Хорошо, иди.

Потом он переправил тарелки в мойку, потом не торопясь вымыл их, потом выключил газ, потом сам сходил в ванную, умылся, почистил зубы (надо девочке зубную щетку прикупить, подумал), потом отправился в комнату. Дверь оказалась закрытой. Вошел. Там — тьма. Аркадий присел на диван, смутно различил Кристину, наглухо закрытую одеялом. Положил руку на ее тело (верней, на одеяло). Она молчала.

— Волнуешься? — спросил.

— Да, есть такое, — услышал шепот.

— Всё будет хорошо, — проговорил тривиальное, а может, и глупое. И понял, что этой дурацкой фразой одобряет не столько ее, сколько себя. — Знаешь, — усмехнулся, — у меня, конечно,

были женщины, но все они оказывались не девицами, так что такого опыта у меня нет.

Тут она прыснула:

— Неопытный Аркадий! Но ничего, ничего, вы уж как-нибудь!

Это сняло напряжение. Молодец девочка!

— Тогда так. Первое: ты будешь называть меня на «ты». Поняла?

— Да? Хорошо, попробую. Да, придется.

— Теперь второе. Рассупонься наконец!

— Это как? Что за слово такое смешное?

— То есть размотай свой кокон, кокон из одеяла. А вообще это слово означает раздеться, расстегнуться. Ну, рассупонься!

Она завозилась, чуть стянула с себя одеяло, но Аркадий уже и сам откинул его в сторону, несмотря на послышавшееся «ой!»

— Так, первое и второе мы сделали. Теперь третье.

Он поднялся, в темноте нашарил подсвечник со свечой, стоявший на книжной полке, извлек из кармана зажигалку и, чиркнув ею, опять присел на диван.

— Это как надо — свет? — тихо спросила Кристина.

— Это мне надо, — пояснил он. — Видеть тебя. Вот, вижу. И теперь слушай: ты, да-да, очень похожа на одну женщину, знаменитую женщину, только в ее юности, а не такой, как ее видели все. Как ее видели все, ей было уже лет тридцать, наверное, а ты... ты — это она совсем молоденькая, лет шестнадцати. Такой ее никто не видел, а я вижу — теперь. Такое же лицо, такая же грудь — небольшая, но красивая, остренькая, высокая, худенькое тело, ребрышки видны.

— О господи, Аркадий! — зашептала Кристина и инстинктивно прикрыла грудь ладонками. — И что это за женщина такая, откуда она?

— Из Лувра, — спокойно пояснил он. — Она там, на картине, давно имеет место быть, лет сто пятьдесят, кажется.

— И ты там был, в Лувре? Что за картина?

— Нет, там я не был. Но у меня есть альбом, каталог — «Шедевры Лувра», завтра покажу тебе, вот и увидишь ту самую женщину. Она тебе должна быть знакома, потому что... Ну лад-

но, сама поймешь завтра. Интересная история с этой картиной, картина с судьбой. И тебе это будет очень важно, кстати.

— А кто художник, кто, скажи?

— Завтра, сказал же, завтра. Что, мне сейчас тебе лекцию читать, как ты мне на кухне? Мне сейчас надо другое сделать. Если ты не забыла, что именно, ты, историк-этнолог, Кристи, которая не Агата.

— Делай, — вздохнула она. — Я тебя люблю, уже целых два дня люблю, это так... так много и прекрасно, оказывается!..

Наутро, после нового акта любви (темпераментной оказалась девочка, активной, с фантазией; и не скажешь, что еще вчера была девственницей), так вот, после этого, отстонав и отмурлыкав, как кошечка, Кристина напомнила, лучась довольством:

— Аркадий мой чудесный, ты грозился показать мне ту самую женщину, на которую я похожа, и еще про художника рассказать.

— Вообще-то я позавтракать планировал, кофе попить, а то это долгий разговор. Ты в Игуану не торопишься?

— Не-а! — по-детски ответила она. — Решила, не пойду. У меня сегодня праздник, день рождения.

— Сегодня, правда?

— Ну да.

— Это тот день, когда мама нашла тебя в капусте?

— Нет, это другой день. Когда я родилась как женщина. Второй мой день рождения, вот так!

Аркадий обнял ее.

— Поздравляю! За мной подарок.

Кристина лукаво подмигнула:

— О'кей. Ночью, долго и страстно. Согласен? Отлично. Тогда встаем — и на кухню, завтракать, вперед!..

Ей явно нравилось возиться на кухне, и Аркадию это тоже нравилось. Она всегда такая или это для него? Посмотрим, решил, куда нас вывезет кривая. Пока ему хорошо. Да и ей хорошо, это точно. Солнечная девочка какая-то. Наивная, бесхитростная, простая. Но интересная. И внешне интересная, и внутренне... Ладно, посмотрим...

Позавтракав, вернулись в комнату. Кристина собрала постель, уселась в кресле, а Аркадий извлек с одной из книжных полок увесистый каталог. «Шедевры Лувра». Это была семейная реликвия — досталось от родителей, прекрасное издание, когда-то привезенное отцом из Парижа, за которое, как он рассказал, пришлось выложить сумасшедшие деньги.

Аркадий тоже сел в кресло, рядом с Кристиной. Нашел, что искал. Картина была во весь большой лист, на плотной мелованной глянцевои бумаге.

— Вот, смотри, вот она, та женщина, повзрослевшая ты. — И развернул каталог к Кристине.

— Ну-ка, ну-ка? — Она вгляделась: — Да тут какое-то сражение, блин! Нет, никогда не видала эту картину.

— Это революция 1830-го года в Париже. Ты на женщину, на женщину посмотри! — И передал ей каталог, уложив его на ее колени.

Кристина молча смотрела с полминуты. Потом сказала:

— А и верно, что-то похожее есть. Лицо, да. Профиль мой, глаза, верней, разрез глаз, короткие волосы... или это она в платке? Да, лицо.

— Лицо, глаза и грудь. Грудь — прямо как у тебя.

— Аркадий, ну что особенного, ну, грудь? Кстати, почему грудь голая?

— Свобода, ведущая народ! Аллегория, что-то от античности. Но грудь-то твоя! И по размеру, и, главное, по форме.

— Ну хорошо, да, похожа. Ладно, ну грудь.

— Это тебе — ладно, а я сразу это засек, когда тебя увидел голый.

— Аркадий!.. Ну, пусть так, ладно. Но хороша картина, конечно! Какая динамика, какие эмоции, да. Жизнь, смерть, борьба, свобода. Ясно. Класс! А кто это написал? Тут, э, что-то на французском, да?

— Да. Тут написано: Эжен Делакруа, Свобода, ведущая народ.

— Стоп! — Кристина развернулась к нему. — Делакруа? Это тот, который незаконный сын Талейрана? Ну да, я читала, что потом его незаконный сын стал известным художником.

— Значит, ты об этом знаешь? — уже почти не удивился он, хотя раньше-то думал, что сей факт ей неизвестен. Вот девчонка!

— Знаю, и что? Я теперь многое знаю.

— Как это что? Вот что: ты мне пела арии про Талейрана, а я... а я увидел, на кого ты похожа. На женщину его сына! Ну, на женщину с его картины. Ты — женщина Делакруа в ее юности. Девочка-Делакруа! Вот такое совпадение, понимаешь? И как это совпало? Но совпало, черт возьми!

Кристина покачала головой:

— Ох, ты и придумал, Аркадий! А что — хорошо. История развивается циклически. Повторение пройденного. Это нормально — циклы. Была одна женщина в девятнадцатом веке, теперь, в конце двадцатого, — она же, только пока молоденькая. Смешно, но интересно.

— Вот именно: смешно, но интересно. Однако ж это — ты. Ты, которая она.

Кристина кивнула:

— Отлично, согласна. Но вот что я должна тебе рассказать. Знаешь ты или нет, что... Ну, так. — Она переложила каталог на диван и приняла свой обычный вид увлеченного лектора. — Я знаю, что Эжен Делакруа родился в каком-то пригороде Парижа в 1798 году, в семье не кого-нибудь, а крупного политического деятеля Шарля Делакруа, бывшего министра иностранных дел, предшественника Талейрана. Однако ходили упорные слухи, что в действительности Эжен — незаконнорожденный сын Талейрана. Ты же сам сказал, что у Талейрана было полно любовниц — ну вот, и мать Эжена тоже, значит. Кажется, ее звали, Викторией, и была она очень красивая, но незнатная, из семьи известных краснодеревщиков. Короче говоря, когда Эжен подрос, то как-то прознал про истинное отцовство и очень стеснялся Талейрана, избегал встреч с ним, если таковые случались в высшем свете.

— Да, вот это мне известно, — успел вставить Аркадий.

— О'кей, — машинально произнесла Кристина и продолжила: — Но потом, что было потом! Потом... ну, я полный профан в живописи, но знаю следующее. Так вот, эта сволочь Талейран — именно сволочь, да? — он помогал незаконнорожденно-

му сыночку! Тот-то стал сиротой. В 1805 году умер его, так сказать, отец Шарль, а в 1814-м и мать Виктория. Эжен остался на попечение сестры, и она уже вскоре попала в труднейшее финансовое положение. И в 1815 году юный Делакруа оказался совершенно один. Надо решать, как жить дальше. И вот тут! Тут объявился истинный папаша и тихонько, не выпячиваясь, поспособствовал тому, чтобы талантливый сыночек стал учеником Школы изящных искусств, а это заведение было для избранных и богатеньких! Но и это не всё. Картины! Делакруа позволили посещать Лувр, а там в то время еще можно было увидеть немало знаменитых холстов, захваченных во время Наполеоновских войн. И в поместье у Талейрана тоже кое-что висело на стенах — говорят, даже Рубенс и прочие великие.

— Ты откуда это знаешь? — всё больше удивлялся Аркадий. — Ничего такого про Делакруа не написано.

— Знаю, и всё! — прозвучало в ответ. — Так, дальше. Он, Делакруа, сделал блестящую карьеру, то есть стал очень известным художником. Да, за счет таланта, но и не без тихий протекции папы Талейрана, который за ним наблюдал и направлял. Так, в 1832 году Делакруа включили в состав официальной дипломатической миссии, которая направлялась с визитом в Марокко. Дело не в дипломатических делах, а в том, что там, в Марокко, Делакруа занимался исключительно живописью и, говорят, очень успешно... Собственно, вот и всё, пожалуй, что я могу тебе сказать по поводу сыночка Талейрана Делакруа.

— Отлично, а теперь я, — подхватил эту эстафету Аркадий. — Слушай про сыночка. То путешествие в Марокко вышло для него действительно грандиозным, ошеломляющим. Он увидел затерянный древний мир — африканский мир, который оказался не цветистым, шумным и праздничным, а тихим, патриархальным, погруженным в свои домашние заботы, печали и радости. Там Делакруа сделал сотни набросков, а в дальнейшем написал картины. Они известны, и в этом каталоги есть некоторые из них, те, что в Лувре. Смотри, вот. «Алжирские женщины в своих покоях», «Еврейская свадьба в Марокко». Какая прелесть, согласна? А еще, но не в Лувре, а парижском Музее изящных искусств — «Арабские комедианты», а в нашем Эрми-

таже – «Львиная охота в Марокко». Ну, еще масса набросков, они тоже известны. Вот такое Марокко Делакруа.

— А потом благодетель Талейран помер. Это было в 1838 году, — заметила Кристина.

— Да, и что? Делакруа было уже не остановить. Он вернулся во Францию — положение упрочилось, последовали официальные заказы. И неофициальные. Например, портрет Шопена, он тоже в Лувре, сейчас покажу. Видишь, вот! Тогда же он стал писать портрет любовницы Шопена, знаменитой Жорж Санд, но не закончил. Кажется, этот портрет сейчас в Дании... Ну и еще многое всякое. Надо только обязательно сказать, что Делакруа вошел в историю искусства как один из величайших мастеров цвета и его открытия в этой области потом восприняли импрессионисты. Вот так — он их крестный отец!.. Ладно, не читать же мне сейчас лекцию, в отличие от некоторых! Смелюсь, мне очень интересно с тобой, моя прелесть, девочка-Делакруа, Кристи, которая не Агата!

— И мне с тобой интересно, — честно и просто сказала она.

— Ладно, но вот что напоследок. Я хотел рассказать тебе о судьбе этой твоей картины, той, где взрослая ты, которая...

— С обнаженной грудью, — иронично вставила Кристина.

— С очень красивой грудью, — последовало уточнение. — Так вот. Значит, в 1830-м Париж восстал против монархии Бурбонов. Эмоциональный Делакруа симпатизировал восставшим, и это вылилось во что? В картину «Свобода, ведущая народ», хотя есть и другое название — «Свобода на баррикадах». Её выставили в парижском Салоне, и эта картина вызвала бурное одобрение. Пришедшее к власти правительство купило ее, однако тут же распорядилось снять ее с экспозиции. Ясно: слишком опасным был ее пафос. Так «Свобода» оказалась в ссылке — в запаснике, а твой Талейран в то время пребывал вдали от Парижа, послом в Лондоне, а после отставки вскоре умер. Но великое искусство победило: прошли годы, и «Свобода, ведущая народ» оказалась в Лувре. Будешь там, погляди на себя живьем, а не в виде репродукции.

— Буду, — уверенно произнесла Кристина, — но только с тобой.

Так Кристина стала Аркадию приходящей женщиной, приходящей хозяйкой, другом, интересной собеседницей. Он многое узнавал от нее, и чем старше она становилась, тем больше. Но при всем при том чем старше она становилась, тем чаще в ее сознании реальные исторические события склеивались с некими фантазиями, одно время перетекало в другое, и поэтому порой отличить, где правда, а где вымысел, было сложно. А выяснять бесполезно, потому что Кристина, наивная душа, свято верила, что было именно так, как она про то думает.

Впрочем, об этом свойстве ее натуры мы уже не раз упоминали в наших главках. Вот и в этой главке промелькнуло такое: помнится, Аркадию показалось, что в ее рассказах о Талейране не всё чисто и гладко, но, с другой стороны, кому же нынче доподлинно известно, как оно было на самом деле? История! А она — что? Где истинная правда, а где миф. Вот пример. «Летописи полны лжи!» — таким когда-то был вердикт Священного Синода о русской истории, и, надо признать, с тех пор мало что изменилось, ибо измениться не могло: поэтизация своей истории есть неизбывное дело всех народов. Вот и Кристина туда же. Профессионал!

Поэтому, отдавая дань ее профессионализму, Аркадий называл ее врушкой, выдумщицей. Но почему-то называл так с удовольствием.

Но и ей было чему поражаться, особенно в первое время приходящей жизни с Аркадием. Потом-то она к этому привыкла, а сначала...

Прошла осень, с которой мы начали, потом зима, весна, и как-то в начале лета Кристина упросила Аркадия покататься на большом колесе обозрения в Парке культуры над Москвой-рекой. Ну, прямо как ребенок: хочу, и всё, прямо под ложечкой сосет! Ладно, назавтра поехали в Парк культуры, почему бы и нет, вспомним счастливое детство.

Стояла чудесная погода. Ходили, гуляли, ели мороженое, глазели на новые аттракционы и наконец подошли к колесу обозрения. Кристина попросила купить билеты сразу на два круга, поскольку за один, сказала, она не насытится. Потом отстояли длинную, но быструю очередь. На первом круге их соседями по

кабинке оказались еще далеко не пожилая бабушка, смешно боявшаяся высоты, и ее внук, который ничего не боялся и, смеясь, громко успокаивал старшую спутницу, а вот на втором круге места напротив заняла пара средних лет, говорившая по-английски. Кристина, неплохо для студентки понимавшая этот язык, сразу догадалась, что это супруги. Через пару минут, когда кабинка наконец достигла высшей точки окружности, мужчина вдруг обратился к Аркадию. Возник короткий диалог, и вот что Кристина поняла, переводя про себя:

— И что вы, сэр, думаете по этому поводу теперь?

Аркадий ответил почти не раздумывая, будто был готов к этой встрече и заданному вопросу:

— Спустя четверть века, когда материалы следствия были рассекречены и вновь проанализированы, ваша вина оказалась очевидной. А вот жесткость меры наказания — это дело юстиции и высшей власти вашей страны. Но вина налицо.

Мужчина покивал, соглашаясь. Потом сказал:

— За нас просили Эйнштейн, Томас Манн и Папа Римский Пий XII-тый. Великий ученый, один из лучших писателей и наместник Бога на земле. Оказалось, они ничего не значат.

— Да, так, — в свою очередь кивнул Аркадий, — их голоса, в отличие от их дел, не значат ничего.

— Печально. Что ж о нас!

— Печально, да.

— Спасибо, сэр... Этель, поблагодари мистера.

Жена приоткрыла губы и что-то коротко прошептала, но что, Кристина не расслышала. Потом — молчание... Наконец кабинка медленно подползла к нижней точке, все они покинули ее и по лестнице сошли на землю. И тут же потеряли друг друга из вида в шумной толпе.

— Кто это был? И вообще что это значит? — спросила так и не пришедшая в себя, оторопевшая Кристина.

Аркадий пояснил спокойно:

— Это супругу Розенберги, Юлиус и Этель, американские шпионы в пользу Советского Союза. Передавали нам американские ядерные секреты и много в том преуспели. То, что уже в 49-м году у нас появилась атомная бомба, большая заслуга этой пары. Их разоблачили, арестовали и судили. Был открытый,

шумный процесс, за которым следил весь мир. В общем, их казнили на электрическом стуле. Это было в 1953 году. Президент США Эйзенхауэр, когда его просили о помиловании, сказал, что всё решает закон и он не станет вмешиваться в это дело. Вот и всё. А теперь я хочу покататься на лодочке на пруду, пойдём, моя девочка-прелесть!

— Господи, Аркадий, но... как это так? Они — здесь — сейчас — после... после казни — и ты! Это как?

Он обнял ее, повлек за собой:

— Это со мной бывает. У меня бывает так, ты привыкай.

Она привыкла со временем, как вы уже знаете.

ЖИЗНЬ С КРИСТИНОЙ.

4. НА ОСТРОВЕ

1.

Однажды, покопавшись в светлых потемках своей памяти (одно из любимых занятий Кристины), она спросила:

— Помнишь, как-то давно ты вскользь упомянул о каком-то разговоре с пограничником? Будто на вопрос, кто ты по профессии, ты сказал ему, что шпион, а он не поверил. Так?

Аркадий усмехнулся:

— Ну, почти так. Я предъявил ему паспорт, а потом, да-да, он спросил, кто я по профессии. Вот я и сказал, что шпион. А дальше было следующее. Он: «Ну, это вторая профессия. А первая?» Я ответил вполне серьезно: «Нет, это и первая, и вторая»... Кстати, та история, где и пограничник в числе ее героев, она опубликована, лет десять назад или больше, давно.

Кристина по привычке к неожиданностям, случавшимся в ее жизни с Аркадием (как и он к Кристиныным), поэтому ее голос звучал спокойно:

— Да? Отлично. А где опубликовано? Дай почитать.

— Если хочешь... Ладно. — Он поднялся из кресла, подошел к книжному шкафу. — Где это у нас? Ага, вот. Вот этот журнал. Держи. Тут та самая повесть*.

.....

Кристина взяла журнал, сдула с него пыль, потом сунула под мышку.

— Ладно, почитаю на досуге. Мерси, дорогой...

На том разговор и иссяк, а после, через пару дней, возобновился, потому что Кристина прочла повесть и прямо заболела ею. Жуть как интересно, как здорово, говорила, вот это история, вот это персонажи!..

Потом были всякие вопросы, оценки, но главное, пожалуй, состояло в том, что ей всерьез захотелось туда — на тот самый остров, где происходили события, описанные в повести, хотя вообще-то происходили они не в повести, а в реальной жизни.

Аркадий долго отнекивался, говорил, что тот остров необитаемый, там нет горячей воды, душа и прочих удобств, говорил так, хотя понимал, что для его Кристи это не имеет никакого значения, поскольку она, как этнолог-историк, уже успела побывать в разных экспедициях, да и с ним кое-где побывала тоже, к бытовым сложностям привыкла и этим совсем не тяготилась. Поэтому сейчас она не сомневалась, что Аркадий валяет дурака и говорит не о том. Наконец он сдался и сказал правду:

— Понимаешь, нехорошее это место, тревожное, темное, хоть оно в Белом море, где летом по ночам неиссякаемый свет, поскольку белые ночи. Но — темное место. Там всякое может случиться.

— Так тем интересней! — услышал восторженный возглас, но потом и понятный вопрос, ибо все-таки имел дело с женщиной: — Э, а что может случиться?

— Всякое. Неожиданное, для тебя во всяком случае.

— Но ты ведь выкрутился, остался жив-здоров! Вот и я... Э, а былых медведей там нет?

*Речь идет о повести «Ведьмица» («Дружба народов», 1994, N 2).

— Кого нет, так это медведей. Они еще севернее, а туда не заходят, это не их ареал обитания.

— Ну, и отлично! А то я почему-то именно белых мишек боюсь. Ладно, так что — поехали туда?

Аркадий помотал головой. Белых мишек она, видите ли, боится! А прочие, которые не мишки, это как? Всяко может быть...

Этот их разговор длился с перерывами, наверно, месяц. Если Кристине что-то втемяшится в голову, то надолго. К тому же просить она умеет: ластится, строит глазки, уговаривает, но не капризничает, а приводит, как ей кажется, разумные аргументы. И еще, если о «к тому же»: конечно, она чувствовала, что Аркадий и сам не прочь оказаться на том острове еще раз, но то ли не решается, то ли ищет повода. Ну да, женщина, пусть и молодая, вот и чувствовала.

А тут и повод отыскался. И так-то стояло вполне жаркое лето, но вдруг задуло из среднеазиатских пустынь, Москва оказалась во власти удушающего суховея, вскоре задымили подмосковные торфяники, город окутал белёсый туман с запахом гари, отчего по ночам, чтоб не мучиться этим, закрывали окна, и получилось, что вообще дышать нечем.

— Это сирокко, — сказал Аркадий. — А сирокко, как известно, действует на людей угнетающе.

— А, ну да, точно, — согласилась Кристина и тут же дала справку: — Сирокко зарождается в глубинах аравийских и североафриканских пустынь. Эти знойные воздушные массы двигаются на север в направлении зон низкого давления. В общем, да, суховей. Это угнетает, да.

Ладно, пусть не из Аравии или Сахары, а, скажем, из Каракумов, суть уже не в этом, а в том, что отсюда драпать надо, как мудро подсказала Кристина. И тогда Аркадий подумал: если драпать, то на Север, именно туда. Значит, на остров, на Выг?

2.

Маршрут был хорошо известен: до города Онеги, что в устье одноименной реки, впадающей в Онежскую губу Белого моря, а

от города — на долгом автобусе через долгие леса до глухого поселка Кяндима на побережье.

Раньше ездили туда с пересадкой в Вонгуде, а теперь, как выяснилось, стало проще: через Ярославль и Вологду прямо до Онеги, время в пути — ровно сутки, сиди себе у окошка в своем купе и гляди на милые сердцу картины, которые чем дальше на Север, тем слаще, но серьезней.

В Кяндиме оказались под вечер — значит, надо заночевать, чтобы ранним утром, если повезет, плыть на Выг-остров. А ночевать у давних знакомцев никак невозможно, потому что их нет: дед Савкин давно помер жуткой смертью (угорел в своем подвале по пьяни), а Настасья, ведьмица, куда-то исчезла, будто и духу ее здесь не было, только дом остался, забитый, заколоченный, и никто в нем так и не поселился, потому что тот дом пользовался дурной славой. Впрочем, это выяснилось назавтра, но Аркадий и так бы туда не пошел.

Значит, знакомцев нет, и потому заночевали в палатке, захваченной из Москвы. В ближнем лесочке. Рано утром собрались, уложили рюкзаки и пошли в Кяндиму. Печальное зрелище. И так-то глухой поселок, нынче стал почти неживым: брошенные дома, единственный магазин не работает. Что работает? Маленькая почта в одну комнатушку почерневшей от времени избы и, конечно, контора пограничников (там, за слегами, сразу забрехал шкурастый пёс — значит, кто-то, несущий службу, в доме есть). Что еще? У причала — несколько рыбацких баркасов и моторок (важная деталь!) — следовательно, мужики, выходящие в море, тут еще есть, и это хорошо, потому что той лодки, на которой прежде Аркадий ходил на Выг и обратно, он лишился в прошлый раз.

В общем, надо договариваться. Но сначала, как положено, в контору пограничников.

Да и какая это контора! Опять же почерневшего дерева в дом, в задах которого, отдельным крыльцом, обитали военные. Там две комнатушки — служебная и жилая, вот и всё. Ничего не изменилось. Время тут будто отсутствовало. А может быть, так и есть. Кого охраняют, чего, от кого? — неважно, так надо.

Пёс всё брехал, без угрозы, а скорее от удивления (это зачем вы прибыли? да и хозяин еще спит!). И верно: Аркадий долго стучал, пока не послышались шаги за дверь. Сбросилась щекотка, и в проеме предстал заспанный толстомордый мужик в майке и трусах. Никак не смутившись присутствием Кристины и ответно не поздоровавшись, выслушал, хмуро кивнул и наконец изрек: «Проходите». Сам же скрылся в жилой комнате — видимо, чтобы предстать в форме.

Предстал. Оказалось, капитан. В прошлый раз пришлось общаться со старлеем, молоденьким, придурочным, но хитроватым. Этот — нет: серьезный, немногословный, но печать смиренного одиночества, скрашиваемого алкоголем, ясно проглядывается на пухлом (и опухшем) лице. Белёные глаза — как здешняя летняя ночь в пасмурную погоду. Глаза северной тоски, которая уже не донимает, ибо неизбежна, привычна, как смена времен года.

Уселись, Аркадий с Кристиной предъявили паспорта, капитан проглядел внимательно, потом что-то записал в некую свою тетрадку. Похоже, зарегистрировал. Интересная тетрадка, должно быть. Глянуть бы в нее, да никак невозможно.

Тем временем пошли стандартные вопросы:

— Туристы?

— Ну да, — кивнул Аркадий.

— Чем намерены заниматься?

— Отдыхать, рыбачить, как в прошлые разы.

— Уже бывали тут?

— Неоднократно.

— А, так! — вроде удивился капитан. — И где хотите рыбачить?

Законный и опять стандартный вопрос, учитывая погранзону. Аркадий полез в карман куртки, извлек деньги. Прежде в ход шел прихваченный из Москвы спирт, теперь иные времена, теперь деньги.

— Где рыбачить? На побережье, на ближних островах... Да вы берите, берите! — И, когда тот наконец выдвинул ящичек стола и скинул туда купюры, сказал главное: — Мне баркас нужен.

— У меня нет баркаса. И моторки тоже, — спокойно констатировал капитан, но все-таки предложил: — У тутошних по-

спрашайте. Лучше во второй от меня избе, хозяина Николаем звать, у него баркас есть и мотор хороший, «Казанка». Только он... ну, понимаете?

— Понимаю. Само собой. — Аркадий произнес это с подобающим выражением.

— Значит, вот с этим Николаем и договаривайтесь. Но только на ближние острова. Да?

— Естественно! — опять же демонстрируя понимание, закивал Аркадий.

И тут капитан сказал то, что при Кристине говорить бы не следовало:

— Попадете в шторм, никто вас искать не будет. Это ясно. Попадете — пропадете. Держите это в уме. Вот так... Хотя, — добавил после короткой паузы, и теперь почти доброжелательно, — прогноз на ближайшую неделю вполне благоприятный. Я имею в виду силу ветра и вообще погоду. Повезло вам. Ну, так обещают, а как выйдет в натуре, это... — И развел руками.

Нормальный разговор. Деловой, спокойный, безразличный. Удовлетворенные гости попрощались и пошли к двери на выход. Уже на улице Кристина спросила:

— Так здесь всегда?

— На финале — да. Хотя персонажи при погонах тут бывали разные, и некоторые даже интересные. Этот — нет...

Когда отошли на сотню метров от причала в Кяндиме, Кристина выразила желание грести вместе. Ладно, садись, согласился Аркадий, давай попробуем. Она уселась на широкой средней банке справа от него, ибо была левшой, и, заработав довольно тяжелым веслом, быстро вошла в задаваемый ритм. Аркадий уже не удивился: хрупкая, невысокого росточка, она отличалась выносливостью, хорошей координацией и невесть откуда бравшейся силой, всё схватывала на лету и делала это с удовольствием, а поскольку видела, что у нее получается, пребывала в хорошем настроении. Молодец девочка! Таким молодцом она когда-то поднималась с Аркадием в горы на Кавказе, проводила время в своих этнографических экспедициях, хорошо ладила с окружающими и аборигенами, а еще, когда ездил

ли вдвоем, без усталости занималась любовью, проявляя неумную фантазию. На шуточные вопросы Аркадия, откуда в ней такое, она только посмеивалась: «Это потому, что я всегда голодная и много ем, в отличие от тебя! — А после уточняла вполне серьезно: — У меня повышенный обмен веществ, вот и голодная вечно». Ладно, пусть так, пусть дело в обмене веществ, если это свойство организма Кристины имеет отношение к ее душе и, соответственно, к Аркадию. Он удивлялся на себя: прошлые женщины его раздражали в конце концов, то есть по прошествии лет, а эта казавшаяся вечной девочка — нет. Девочка-Делакруа, вспомнил давнее и улыбнулся.

А погода, и верно, стояла безветренная, никакой волны, по небу плыли грузные каравеллы облаков с белоснежными парусами, и солнце, когда выбиралось на свободный простор, играло с морем в золотистый пинг-понг. Это значит, повезло. Если так и будет допоздна, то настанет ночь — совсем белая, как по Пушкину: «Пишу, читаю без лампы». Свет, тишь, никого. Рыба плеснет — на всю округу слышно...

Раз в полчаса, чтобы Кристина не утомлялась, Аркадий бросал весла и говорил: «Кристи, перекур!» Кристи не курила, спокойно глядела по сторонам, отдыхая, а то, что через пару часов она все-таки подустала, было понятно по ее молчанию. Да, молчащая, ничего не рассказывающая, не выдумывающая Кристина — это большая редкость.

Аркадий помнил, куда держать курс, и к вечеру показался и стал медленно нарастать остров в дымчатых лесах. Валунный, поросший таежным лесом, узковатый, протянувшийся с юго-востока на северо-запад почти на десяток километров — вот такой Выг-остров, или просто Выг, где никто не жил, хотя изредка сюда на день-два приплывали местные, любители порыбачить. Для них тут издавна стояла единственная изба на возвышенном южном берегу перед небольшой бухточкой. К ней сейчас и приближался баркас с Аркадием и Кристиной.

Вскоре вошли в бухту и подошли к берегу. Аркадий разулся, снял джинсы и, сойдя в воду, повел баркас вдоль свай полуразрушенного причала. Приткнулся к береговым камням, и стали разгружаться. Всё, как в прошлый раз, много лет тому. Только

тогда он был один и не знал, что тут его ждет. Теперь знал, а скорее, предполагал. А еще сейчас с ним была Кристи.

Разгружаясь, высматривал, есть ли в бухточке или у причала какая-то другая лодка, но ничего не обнаружил. Ладно, и хорошо.

Изба встретила сухим древесным духом. Всё по-старому, будто и не уезжал отсюда. В подполе обнаружилась, конечно, пачка соли, спички, свеча, пара почерневших кастрюль и сковородок, ведро, да еще мешочек с черными сухарями. Во дворе под широким навесом, прилаженным к крыше, так же стоял очаг, где обычно готовили или просто сидели, покуривая и глядя в белые дали; сбоку от него, перекрытая мешковиной, — канистра с керосином и кучка сосновых дров, аккуратно напиленных. Да, всё по-старому, так-то оно так, вот только угли в очаге были не старыми, не почерневшими, а явно недавними, будто кто-то пользовался очагом день или два назад. Это уже интересно. А другие признаки посещения или недавнего присутствия?

Они обнаружились в избе, когда Аркадий осмотрелся уже внимательней. Первое — спиннинг. Он стоял, прислоненный к косяку двери, отчего в первый раз не попался на глаза. Второе — небольшая металлическая коробочка на подоконнике, в которой оказались разноцветные леденцы (если память не изменяет, когда-то это детское чудо называлось «монпансье»). И наконец (там же, на подоконнике), початая пачка папирос. Именно папирос! И каких папирос! «Беломор-канал», которые, кажется, давно уже не выпускали. Когда-то такие курил отец, но было это после войны, хотя и в восьмидесятые годы их еще продавали в табачных киосках. Кажется, так. Помнится, однажды, увидев такую пачку на витрине, Аркадий удивился, но было это только раз, и с тех пор — всё, исчез «Беломор» напрочь.

Да, это уже интересно! Особенно спиннинг. Допотопный какой-то. Явно из алюминия, не что нынешние — например, из стекловолокна или углепластика, как у Аркадия. А этот — древность, такие были небось в середине прошлого века... Ладно, поглядим, что будет дальше.

Об этих находках он ничего не сказал Кристине, которая покуда по-хозяйски раскладывала на нарах их вещи из рюкзаков, а после взялась за ревизию здешней кухонной утвари, хотя кухня

как таковая тут отсутствовала: только очаг перед избой, да пара широких спилов старых пней, приспособленных для готовки, да узкий, в три доски, столик на деревянных ногах в виде козел.

А уж подступала ночь. Но ночь — это если глянуть на часы, а так-то — свет белый. Именно белый, а не серый, потому что небо ясное, почти безоблачное, только ближе к горизонту, там, где осталась невидимая отсюда Кяндима, стояла узкая золотистая гряда, хранившая долгий, никак не желавший уходить закатный отблеск солнца, а от нее убегали в стороны шлейфы золотистых и розовых огненных полос.

Насытившиеся долгим ужином Аркадий и Кристина уселись под навесом с видом на море и теперь долго пили чай.

— Завтра травы нам найду в тайге, которые для чая, — сообщила Кристина, — а этот московский, пусть он даже, как следует из надписи, басурманский, ну его к лешему!

— Не поминай лешего, — всерьёз сказал Аркадий, — а то одна ведьма тут точно водилась. Ладно, не бойся, на сей раз ее не будет... А что до чая, то ты права: не стоило его из Москвы тащить, и без того рюкзаки тяжелые.

— Были тяжелые. У меня аппетит хороший, я за ближайшие дни много съем, не беспокойся, продуктов не останется.

— Ну да, у тебя повышенный обмен веществ, — вспомнил он и ласково усмехнулся.

— Именно так... Ладно, Аркаша, а тишь-то какая! А белоночь какое! В первый раз это вижу. В разные места меня носило, а такое — впервые. Как это здорово, что ты привез меня сюда, спасибо, ты молодец!

— Я только послушался тебя, помнишь? Ты так пристала ко мне, что хочешь сюда... ну и вот, теперь любуйся! Медведей белых здесь нет, как видишь, нечистой силы тоже.

— И вообще здесь никого нет, — уверенно заключила Кристина и сладко потянулась.

— Спать хочешь?

— Если с тобой, то — да.

— Хорошо, — кивнул он, — покурю напоследок, и пойдем в избу. Пора, да, а то день был нагрузочный всё-таки.

Они еще посидели некоторое время. Тут Аркадий вдруг указал вперед:

— Никого не видишь?

— Кого? — удивилась Кристина и стала всматриваться.

— Вот того. Не видишь? А кого — сам не знаю. Это некто спущенный с поводка. Он всякий раз тут объявляется в первый день моего приезда. Видишь — носится. Некто спущенный с поводка, со свободной шеей. Бегает по траве, подлетает в белоночные небеса. Смотри, а теперь плюхается в море, видишь! А теперь плывет к горизонту! А сейчас орать начнет, послушай! Слышишь: «Тишь-то какая, царица небесная! А красота-то какая вокруг, глянь!»

Кристина покрутила головой и наконец сообщила радостно:

— А, понимаю! Ну конечно! Ведь это мы и есть. Так?

— Так, моя разумница, моя прелесть, так! И как это ты всё с ходу понимаешь? Пойдем в избу, спать, спать.

— Действительно, и как это я всё секу? — на свой лад проговорила она, поднялась и охватила Аркадия за талию.

— Это ты так, чтоб я не свалился после выпитого спирта? — хмыкнул он уже на ходу.

— Не, это потому, что я хочу любимого мужчину, — прозвучало бесхитростно...

Шла ночь, в избе плавал свет, без спросу вваливаясь в окна, от нар исходил сосновый дух — всё уже спало, но при том жило, действовало. Вечность, черт ее дери, неподвластная ходу времен вечность, история без спросу и без конца — та, которая правда, а не вымысел всякий.

3.

Наутро Аркадий сообщил, что пару часов будет занят необходимыми делами: надо сходить за дровами в лес, потом напилить их впрок, потом еще сходить к ручью в небольшом распадке и принести полное ведро хрустальной водицы. А вот после этого они пойдут, так сказать, на экскурсию по острову.

Ну, какая экскурсия — просто прогулка, хотя и не короткая. Пошли. И постепенно, идя тайгой по еле приметной тропе, то по серебристым мхам, то по валунам, проскочили остров до конца, до узкой северной оконечности, а это, если от избы, около семи километров. Там, выйдя на высокий острый мыс, стоя-

ли под напором ветра и глядели в отливающее сталью море, бесконечное, скатывающееся откуда-то с полюса. Шли легкие волны, кое-где вспениваясь, и эти белые кляксы тут же еще и вспыхивали под солнцем, а через секунду-другую исчезали. В глазах рябило — от игры цветов, ветра, промелька легких дымчатых облаков. Всё было движением — движением неодоушевленного, вечного, чему не дано стариться и умирать...

На обратном пути, уже в паре километров от своей южной бухточки с избой на берегу, Аркадий сделал небольшой крюк, чтобы глянуть на еще одну такую же бухту, небольшую и узкую, окаймленную обрывистыми скалами, куда в прошлые разы изредка плавали на вечерок, поскольку там был отличный клёв. С одной из таких скал, если подойти в ней с тыла, со стороны леса, та бухточка хорошо просматривалась. И что? Посмотрел — нет, никого: ни лодки, ни дымка костра на берегу. Странно, подумал, а как же допотопный спиннинг из алюминия, конфеты монпансье и пачка «Беломора»? Где этот отшельник или как его там? Других удобных мест для рыбалки, кроме этой бухточки и той, где их изба, здесь нет.

Ладно, нет так нет, пошли к себе, тем более что вечно голодная Кристина напомнила об обеде. Пора готовить, дескать, а ему, Аркадию, разжигать очаг. И верно — пора.

Неожиданность случилась вовремя: как раз уселись обедать за стол под навесом. Аркадий сел спиной к лесу, лицом к морю, а Кристина наоборот, напротив. Начали есть суп, и тут ее рука застыла с полной ложкой у рта. Лицо вытянулось, а глаза расширились. И послышалось удивленное «ой!»

Аркадий оглянулся. В десяти метрах от них спокойно стоял мужчина лет шестидесяти, с большими залысками над большим лбом, большими темными глазами, в старомодных круглых очках. Явно интеллигент из прошлых поколений.

Одет интеллигент был в спортивный шерстяной костюм синего цвета — в штаны, которые в прошлые времена называли шароварами, и рубашку-свитерок с белой полосой вокруг шеи. Когда-то в таком одеянии ходили наши спортсмены, в том числе олимпийцы, поэтому и в обиходе этот костюм звался просто

«олимпийкой». Ну а обут он был тоже во что-то спортивное — кажется, в кеды, если не изменяет память.

И все-таки вид у него был растерянным. Обоюдное молчание длилось несколько секунд, и только после Кристининого «ой!», будто очнувшись, мужчина заговорил тихим голосом:

— Добрый день, товарищи. Извините, что нарушил ваш покой. Но слава богу — я здесь не один, а то испугался, прямо как Робинзон Крузо в первый день на необитаемом острове. Ничего не понимаю! Но позвольте представиться. Гудкер. — И он галантно склонил голову. А когда ее поднял, повторил, зачем-то улыбнувшись: — Гудкер, да.

— Здравствуйте, Григорий Яковлевич, — ответно улыбнулся Аркадий, никак не удивившись, будто появление странного гостя было ожидаемым. — Присаживайтесь, вы как раз к обеду. Кристи! — И мотнул головой в сторону подруги.

Та всё поняла и, ни слова не говоря, принесла еще одну тарелку, налила в нее супу. «Извините, что алюминивая, — сказала только, — тут других нет». Гудкер сел, принялся на еду. Было заметно, что он сильно голоден. Быстро справившись с супом, как-то пришел в себя и опять удивился:

— Стоп! Так вы знаете меня? Откуда?

Аркадий объяснил:

— Знаю заочно. Я был знаком с вашей внучкой Алёной, теперь она известная артистка, вот она мне о вас и рассказывала. Я бывал в вашем доме, там висит ваш большой фотопортрет, в гостиной над книжными полками. Вы с тех пор почти не изменились, хотя то фото еще довоенное, как Алёна говорила, и там вам лет сорок, кажется. Поэтому всё просто: узнал, вы — Григорий Яковлевич Гудкер, правильно?

Тот явно оторопел, но вскоре заговорил:

— Чудеса в решете! Вы — и моя внучка! Вы — и у меня дома! И вот мы здесь, вы и я! Но я ничего не понимаю, честное слово! Я же, я же...

Кристина тоже ничего не понимала. Кроме одного: это опять какие-то штучки Аркадия. Надо потерпеть, вскоре всё выяснится, и главное, кто этот Гудкер и зачем он здесь. Поэтому как бы подсказала:

— И что, Григорий Яковлевич? Так что вы? Вы сказали, что...

Меж тем Аркадий проговорил быстро:

— Кстати, эта приятная дама — моя жена, ее зовут Кристина, она свой человек, а я — Аркадий.

— А, прекрасно, рад познакомиться! — закивал Гудкер, но затем его лицо опять приняло озабоченное выражение. — Так что я? Я... понимаете, я собрался на рыбалку. Ну, воскресенье, почему бы и нет, если погода хорошая. У себя в Дубне. Волга и прочее. Но сегодня решил отправиться на Иваньковское водохранилище, это тут рядом... э, там рядом. Взял спиннинг, сел в свою лодочку и поплыл. Но где-то через час — вдруг сильный ветер, прямо шквалистый, пошла волна, и я быстренько выгреб к ближайшему островку, где стоит наша рыбацкая изба. Успел, даже не промок, хотя лодка зачерпала воды, конечно, от волны. Но ничего, не впервой такое. Пошел дождь, и я схоронился в избе. Скоро пройдет, думал, спиннинг при мне, лодку я вытащил на камни, а пока посижу тут, покурю спокойно своего «Беломору»... Э, ну вообще-то я курю трубку, но когда рыбачишь, знаете, то сподручней папиросы, вы понимаете. И что вы думаете — я задремал! Ну да, после этой спешной гребли, после волны и дождя, а тут сухо, тепло, вот и разморило меня, старика!.. А, спасибо, любезная Кристина, спасибо, и что это у нас на второе? О, гречка с тушенкой! По-походному, да, но именно такое простое блюдо я любил потреблять в ссылке в Казахстане. Я ведь и в ссылке был, знаете.

— Знаю, — кивнул Аркадий, — с 48-го по 53-й.

Гудкер расширил большие темные глаза, но тут же озарился пониманием:

— А, ну да, вам Алёнушка рассказывала! Ну ясно, ну так. Что дальше? Значит, я задремал, и сколько дремал, не знаю, но когда очнулся... ничего не понимаю! Изба — другая. Вышел наружу — остров другой! Погода ясная, небо чистое. В общем, всё другое, понимаете? Будто я попал совершенно в другое место. Всё, всё другое: природа другая, вокруг не водохранилище, а море, настоящее море, на острове не лиственный лесок, а настоящая тайга, и валуны, валуны, и скалы с обрывами. Это что такое, это как? Вот только спиннинг при мне, и пачка «Беломора», и леденцы монпансье, которые я обычно сосу, чтобы курить поменьше, ибо вообще-то мне доктора запретили это дело.

Вот и всё, что осталось при мне, а так-то, повторяю, всё другое, всё!.. Ну, я материалист, в чудеса не верю, Бога не жалею, ибо советский физик всё-таки, посему стал размышлять спокойно, искать причинно-следственные связи. И знаете, не нашел, ха-ха!

Он вдруг хорошо рассмеялся. Хорошо в том смысле, что стало понятно: человек здоров и сам над собой иронизирует, а еще потому он хорошо рассмеялся, что ему самому интересно, что же с ним случилось, — так интересно, как бывает интересно настоящему ученому, жадному до познания.

Кристина это поняла и заметно успокоилась, ибо все-таки мелькнула у нее мысль: а не поехала ли у этого пожилого дядечки крыша? Нет, крыша на месте.

— Вы кушайте, дорогой Григорий Яковлевич, кушайте, а то оголодали небось за целый день! — напомнила она, сердобольная.

Он воззрился на нее:

— За день, ха! Не за день, любезная барышня, а за два, за два!.. Ладно, ем. Ах, чудо, гречка с тушенкой, чудо!.. Так, и что дальше? Дальше я взялся обследовать сей остров. Так сказать, исполнять роль Робинзона Крузо. Выяснил: остров необитаемый, но отличный, то есть очень красивый. Полно ягод, а равно комаров и мошки, то есть эта терра инкогнито вообще-то вполне обитаемая. Судя по всему, в море есть рыба, а при мне спиннинг — стало быть, голод мне не грозит, ну до зимы, во всяком случае. А до зимы еще далеко, а посему, может быть, кто-то и приплывет сюда, вернет меня в лоно хомо сапиенсов, с коим я отношусь, в общем-то, несколько брезгливо, исключая мою жену, дочку и драгоценную внучку, ну и еще кучку моих сотрудников по работе. Да-да, вот мои близкие, понимаете, вот они-то переживать будет — куда это я пропал? Так куда я пропал и попал, а? Э, вы сказали, что вас величать Аркадием? Так скажите, Аркадий, и вы, любезная Кристина, скажите, куда я попал? И вообще, черт возьми, что случилось?

Аркадий закурил. Курил он, в отличие, от Гудкера, не «Беломор», а «Мальборо».

— В ответ на ваш вопрос даю справку. Вы попали на остров, который в Белом море и который называется Выг. Он есть на карте, но такой карте, которая для сведущих людей. Ибо тут

погранзона. Ведь вам хорошо известно, что такое государственные секреты, Григорий Яковлевич?

— О да, о да! — кивнул тот, и Аркадий продолжил:

— А вот как попали, каким-таким хитрым образом, это я вам не скажу, потому что и сам не знаю. Вы ведь физик, почти великий физик, Эйнштейна почитаете, и прочих, прочих, даже творцов кватновой теории, Дэвида Бома, например, хотя к Большому взрыву относитесь с иронией, — вот вы уж сами и разберитесь, что это за чертовщина такая — из одной точки пространства в другую, из одного времени в другое. А я не в курсе, повторяю, я не физик и в теории относительности — полный ноль.

Из этих слов Гудкер вывел главное:

— Вы сказали, что не только иное пространство, но и время. Так?

— Так.

— У меня там, в Дубне, нынче 1970-й год. А у вас здесь?

— Здесь у нас недавно настал 21-й век, а сейчас конкретно 2007-й год. Так, Кристи?

— Именно, — подтвердила она. — У нас этой весной первый президент России помер, а это случилось в 2007-м году, я запомнила.

Гудкер все-таки прибалдел, это было заметно. Не столько удивился (чего ж особо удивляться, если уже понятно, что попадание в иное пространство — факт), сколько, упертый материалист, не мог осмыслить, смириться. Но — странно или нет — смирился, осталась только оторопь :

— Значит, 2007-й! Ну да, вон какие у вас сигареты — импортные! Значит, 2007-й, говорите... Значит, тридцать семь лет. Из 1970-го в 2007-й. Ни черта себе! — Поскольку ему никто не возразил, он помолчал и задал главный вопрос, именно главный: — Но зачем?

4.

Можно понять, почему Гудкер сразу завалился спать. На неверных ногах, будто выпив (хотя не было этого), направился в избу и там принял предложение Аркадия лечь на нары, на разо-

стланный там спальник. Да, это понятно: сначала человек попадает в шторм на Ивановском водохранилище у подмосковной Дубны, укрывается в рыбацкой избушке на островке, задремывает там, а пробуждается совсем в другой избе, которая совсем на другом острове, и не на водохранилище, а в Белом море, потом в течение двух дней обследует незнакомое необитаемое место, голодает, только посасывает монпансье и запивает родниковой водицей, и наконец встречает двух людей, которые его кормят вкусным обедом, но главное, он, этот человек, ученый-физик, узнает, что попал не только в другое место, но и в другое время, на тридцать семь лет вперед, в новый век. Впрочем, все-таки главное, почему он завалился спать, объяснялось просто: устал, очень устал пожилой человек, а тут его вдруг накормили, обошлись с ним любезно, вот его и разморило, потянуло в сон, как-то сразу, резко, поэтому, так и не выслушав ответа на свой самый главный вопрос, он на неверных ногах отправился в избу и завалился на нары.

А Аркадий с Кристиной так и сидели перед очагом за столиком, с видом на белое-пребелое море, на вечную игру низкого солнца и воды в золотистый пинг-понг.

— Ладно, рассказывай, — вздохнула Кристина.

И Аркадий — что делать! — приступил.

— Придется начать с другой женщины. Тебе это как, ничего?

— Это зависит от тебя. — Таким был ответ.

— Тогда просто. Она была мне дорога, но это было, было и заросло сорной травой. Потом проявилась ты, и ты мне тоже стала дорога, но дорога особенно, и я не хочу, чтобы когда-то опять в моей жизни выперли сорники.

Кристина хмыкнула:

— Это так ты хочешь сказать, что любишь меня?

Теперь хмыкнул Аркадий:

— Кристи, вот послушай, есть такая притча. Десятилетняя девочка спрашивает у своего одноклассника, что такое любовь. Он объясняет: «Вот ты каждый день ворует из моего ранца шоколадку. А я каждое утро, идя в школу, опять кладу туда новую». Поняла? Вот и я каждое утро кладу для тебя новую шоколадку. Неужели тебе не ясно, что это означает?

Кристина быстро поднялась со своей скамьи и пересела к Аркадию, к нему на колени. Обняла, прижалась. Так они сидели с минуту. Потом она зашептала:

— А я буду воровать эти твои шоколадки ежедневно. Из твоего ранца. А ты будешь класть туда новые. — И тут почти закричала со смехом: — Я — воровка, да-да, я — воровка! Даже не каюсь, да!

— Тихо, чучело, великого физика Гудкера разбудишь!

Кристина поцеловала мужа в щечку и пересела на свою скамью.

— Ладно, мой любимый, рассказывай свою правдивую небыль, вперед! Только не пугай меня, а то мне в прошлые разы твоего Колчака хватило, и твоего Дубчека, и твоих супругов Розенбергов, и твоего царя Николая Первого. А вот с Делакруа было хорошо, и с нашим зайцем хорошо, помнишь?.. Ладно, вперед!

— Ту женщину звали Алёной, она известная артистка, кстати, играет в одном из лучших московских театров, но сейчас это не важно, и вообще не важно, и как я познакомился с ней тоже не важно. Важно, что я оказался в ее доме. Вот об этом и речь, слушай. Дело — в доме.

Адрес такой: Песчаная улица, дом 10, квартира 23. Недалеко от метро «Сокол», за церковью и троллейбусным кругом. Найти было несложно. Тем более, дом по нынешним временам нестандартный, четырехэтажный, но добротный, периода сталинских застроек, в окружении почти парка. В общем, уютное место, тихое, как и вся улица.

Оказалось, это знаменитый дом. Дом физиков, как говорили когда-то. А если точнее, физиков-ядерщиков, а проще говоря, атомщиков — тех, кто делал нашу первую атомную бомбу. Его построили вскоре после войны, еще до испытания бомбы (что случилось в 1949-м), построили специально для ученых, сотрудников атомного проекта. Всего-то четырехэтажный дом, но по тем временам очень-очень! Потолки под четыре или пять метров, паркет, огромная кухня, даже кладовка в коридоре. Дом физиков. Тут они и жили с семьями. Повторяю, тогда это было

тихое место почти на окраине, парк кругом. В доме — известные физики, академики — например, Флёров, Кикоин, если ты знаешь таких. И дед Алёны. Он тоже получил здесь квартиру. Потому что дед Алёны, теперь, увы, покойный, — это наш Григорий Яковлевич Гудкер, член-кор, физик-атомщик, участник суперсекретного проекта.

Я ничего этого не знал. Узнал по ходу общения с Алёной, когда оказался там, в ее квартире, квартире ее покойного деда, то есть Гудкера.

Буду подробен, извини, но это важно. Как вошел, мне сразу предложили переобуться в тапочки. Да, тапочки — это само собой, ибо паркет там тоже нестандартный, широкой ёлочкой и начищенный, аж блестит. Добротный старый паркет.

И квартира такая же: добротная, старая, с когда-то дорогой мебелью, теперь немодной. Пузатый сервант, трехстворчатый шкаф (наверно, карельской березы), массивный диван с высокой спинкой, буфет с застекленными створками, тумба, перекрытая широкой мраморной плитой, — всё это вместо всяких современных «стенок», вместо плоского, низкого, из дешевого дерева или ДСП. Над книжными полками — фотография в рамке, точнее фотопортрет: мужчина средних лет с большими залысками над большим лбом, большими темными глазами, в старомодных круглых очках — в общем, типичный интеллигент из прошлых поколений. То, что это Гудкер, я не знал, конечно. И вообще не знал, кто он такой. Что еще? Еще здесь, в гостиной, во всю ширину, — ковер. Уютно, да.

Дальше, в другой комнате, — спальная, а вот что в третьей — неизвестно: дверь туда оказалась закрытой, и Алёна сказала лишь: «Там кабинет деда, уже давно пустует» Потом — большая кухня: старинный шкаф для посуды, стол, стулья, диванчик, перед ним — тумбочка с телевизором, тяжелой хрустальной пепельницей и кучкой журналов. Тут же холодильник — жуть какой старый, «ЗИС», таких давно не выпускают. Да собственно, почти всё, что в той квартире, — такое же, из разряда «давно не выпускают». Но уютно, повторяю. Некий особенный уют. Если к такому привыкнуть с детства, то это на всю жизнь: всегда будешь тосковать по такому, именно такому. Да, раньше

это умели — создать домашний мир детства, где каждая вещь — достояние памяти на всю жизнь, до старости.

Тогда же я кое-что узнал о Гудкере. Вот что рассказала Алёна.

Значит, дед был в числе главных участников суперсекретного атомного проекта, но в 48-м, за год до испытания бомбы, его арестовали. Арестовали, но семью почему-то не тронули, оставили здесь, бабушку Алёны, тоже еврейку, и маму. Маме тогда было всего восемь лет.

Итак, Гудкера арестовали, но странно арестовали. Не посадили, а отправили в ссылку. В Казахстан, на поселение, в некое село Карамышево. Там он работал учителем физики в местной школе и даже писал какие-то статьи, но не для публикаций, конечно, а просто писал, работал, не мог не работать. Через пять лет, после смерти Сталина и ареста Берии, его сразу выпустили, вернули в Москву, опять к Курчатову, к нему в институт. Курчатов его и выволок оттуда, сразу же, как с Берией покончили. Вернули звание, госпремию. Он много работал. А умер в 72-м, когда Алёне было уже семь лет, и она его хорошо запомнила. Говорила, дед ей сказки рассказывал — не читал, а рассказывал. Немногословный, умный, весь в работе, тихий. В доме у них всегда было тихо. А Алёнина мама потом рассказывала ей, что после ссылки дедушка стал даже не то что тихим, а каким-то напуганным и, когда речь зашла о переезде в Арзамас-16 по проекту водородной бомбы, отказался. Ему это сошло с рук, потому что шли хрущевские времена, а не сталинские-бериевские. В общем, работал в курчатовском институте атомной энергии, потом в институте ядерных исследований в Дубне, и так до самой смерти в 72-м.

Ты не устала, Кристи? Интересно? Тогда слушай дальше, пока наш Григорий Яковлевич, бедолага, оказавшийся в ином времени и пространстве, сладко спит на наших нарах.

В следующий мой приход к Алёне я увидел кабинет Гудкера.

Мрачноватая комната. На окне тяжелые шторы, да и обои темноватые. Алёна сразу включила на письменном столе настольную лампу с зеленоватым плафоном. Стало ярко, но не во всей этой комнате, а на поверхности стола. Да, стол впечатляет! Большой, широкий, двухтумбовый, шоколадного цвета, из дуба, как сказала Алёна. Его величество письменный стол, за таким

только и работать большому ученому, член-кору, суперсекретному физику. Здесь же старинное бюро с многочисленными ящичками, полки с некими научными книгами и папками, два кресла и диван. На стенах фотографии в рамочках. Алёна стала показывать: это — дедушка с Курчатовым, это — с Исааком Кикоиным, это — все вместе со Славским, знаменитым сталинским министром среднего машиностроения, а это — группой — с самим академиком Иоффе, снято еще до войны, когда они, тогда молодые, работали у него. Это — Шверник, тогдашний Председатель Президиума Верховного Совета, вручает деду орден Ленина.

А еще она указала на один из ящичков в бюро. Здесь, пояснила, письма дедушки из ссылки. Писал бабушке и маме. Мама тогда еще маленькой была, в школу ходила. Странно или нет, переписываться им позволили. Бабушка эти ссыльные письма сохранила, и, когда дедушку вернули в Москву, спрятала, чтобы он их не видел, не вспоминал, не переживал. А уже после его смерти переложила в этот ящичек. Тут они и лежат. Письма и какие-то личные бумаги, записи. Потом мама умерла, потом бабушка, и эти письма, сказала Алёна, теперь при мне, но перечитывать их нет сил, тяжкое это занятие.

И вдруг сообщила мне следующее: «Знаешь, забавная история! Уже со мной, а не с ними. — И кивнула на «тот самый» ящичек. — Когда у нас в «Современнике» Волчек решила ставить «Крутой маршрут» по мемуарам Евгении Гинзбург, где сплошной сталинский лагерный ужас, так вот тогда она, Волчек, предложила мне одну из главных ролей, но я отказалась. Она не поняла, кричала, и пришлось объяснять. Мы обе плакали... Вот такая забавная история. Ладно, я-то перечитывать те письма не могу, а ты... если захочешь...»

И знаешь, Кристи, я захотел. Не потому что мазохист, а совсем по другой причине. Догадываешься, по какой? Ну молодец. В общем, однажды Алёна укатила на гастроли в Штаты, и я вошел в кабинет Гудкера. Это было уже поздним вечером.

Мне показалось, что это будто некий мемориал, комната памяти. Там всё оставалось, как при деде, сверхсекретном физик-атомщике Гудкере, и после смерти бабушки там никто не жил, а

Алёна, если и заглядывала сюда, то только по случаю. И вот я там.

Сразу включил лампу на большом старинном письменном столе. Зеленоватый плафон высветил дубовую поверхность, круглые часы сбоку, вазочку для карандашей и ручек (то ли из яшмы, то ли из агата), большую стеклянную чернильницу с крышечкой, шкатулку для скрепок, кнопок и прочей мелочи, хрустальную пепельницу с лежавшими в ней двумя трубками, медный (или бронзовый?) подсвечник с наполовину прогоревшей свечой. Уютно, добротнo, всё мягко посверкивает в свете настольной лампы. Только и работать в тишине, а никто тут не работает, не творит, не делает открытий.

Вот и бюро с многочисленными ящичками, там какие-то записки Гудкера, его письма из ссылки — так рассказывала Алёна. А вот и полки с научными книгами. Так, посмотрим, решил. Физика, физика, русские названия, английские, журналы — «Вестник Академии наук СССР», «Журнал технической физики», какие-то еще. И вот вижу: некий Д.Бом, «Кватновая теория», год издания 1961. Ладно, давай-ка глянем, что это такое, ибо на русском. И почему меня заинтересовала именно эта книга, не могу понять.

Уселся в кресло, перевернул обложку. О, есть предисловие, прекрасно!

Начал читать. Сразу же выяснилось странно-интересное. Автор книги, этот самый Дэвид Бом — ученый, всемирно известный своими работами по квантовой физике, а еще (мать честная!) по философии и нейропсихологии. Родился в 1917 году в США, в Пенсильвании, в еврейской семье эмигрантов из Восточной Европы. Отец был родом из Западной Украины, мать — Хана Попки (чудесная фамилия!) — родом из Литвы. Почти наши люди.

Ну, дальше — что окончил, где работал, что изучал и открыл, как стал известен. А еще дальше — следующее: в 1950 году, в период маккартизма, Бому арестовали за отказ давать показания против своих друзей и коллег, которых подозревали в коммунистических настроениях. И хотя год спустя с него формально сняли все обвинения, но все-таки просьбу Эйнштейна назначить Бому своим ассистентом, эту просьбу великого Эйнштейна

руководство Принстона презрело и не возобновило с Бомом контракт. Тогда гордый Бом покинул США и принял кафедру физики в университете Сан-Паулу, что в далекой Бразилии. Почти некий вариант ссылки по-американски. Чудесно!

Дальше. К тому времени, к 1951 году, Бом уже успел опубликовать одну из наиболее значительных своих книг — «Квантовую теорию», получившую восторженный отзыв Эйнштейна. Потом были и другие значимые работы, были сугубо научные споры с Эйнштейном, новые успехи в области квантовой физики, но со временем, в дополнение к физическим исследованиям, Бом занялся, как сказано, поиском путей сотрудничества между представителями разных культур и различных профессий (мы сказали бы теперь — это синтетическая наука, системный подход). То есть занялся реальной философией, именно реальной, а не кабинетной. Например, неоднократно встречался с индейцами Северной Америки, Далай Ламой на Тибете и индийскими брахманом, а в дальнейшем философом Джидду Кришнамурти (чтоб я знал такого!). И вот закономерный итог: увлечение нейропсихологией и психотерапией. Судя по всему, тут Бом тоже добился успехов, потому что в 1990 году его избрали членом Лондонского Королевского общества. Ну а скончался он от сердечного приступа в возрасте 74 лет. Относительно недавно, в 1992 году.

Вот такая судьба. С ума сойти.

Что ж, теперь надо глянуть в оглавление. Ясно. Квантовая механика, квантовая теория поля и так далее. Ясно, что терра инкогнито. Ну, для нормального человека. Но интересно. Тоже путешествие в неведомое. И я начал это путешествие, по диагонали, конечно.

Оказалось, тут что-то образное, умозрительное. Например, это: в квантовой механике, наряду с объектом исследования, частью анализируемой картины становится и сам наблюдатель. То есть без наблюдателя никак. Это как? А вот так, если верить одному из отцов-основателей всей этой абракадабры Гейзенбергу: «Оказалось, что мы больше не способны отделить поведение частицы от процесса наблюдения. В результате нам приходится мириться с тем, что законы природы... имеют отноше-

ние не к поведению элементарных частиц как таковых, а только к нашему знанию об этих частицах». Классно, правда?

Потом бросились в глаза подчеркивания карандашом и иногда понятные символы на полях — либо знаки вопроса, либо восклицательные знаки. Не иначе, сам Гудкер делал это, читая. Ну а кто же еще? Я вчитывался в эти места особо внимательно, пытаясь следовать мыслям бывшего хозяина кабинета. Но вскоре поймал себя на том, что устал. Устал следовать мыслям большого физика, не будучи по образованию даже малым. Понял: надо сделать перерыв, а лучше продолжить завтра. Как это говорилось в физиологии? Монотонный раздражитель вызывает торможение. Точно-точно. Значит, до завтра.

Положил книгу Бома на письменный стол, на стол Гудкера, потом глянул на бюро, где хранятся его ссыльные письма. Вон они там, в одном из ящичков, стоит лишь его открыть.

Открыть или нет? Неловко, боязно. Там — чужое, личное, гудкеровское. Но вспомнил, как Алена произнесла, кивнув на этот ящик: «Я-то перечитывать те письма не могу, а ты... если захочешь...»

В конце концов я выдвинул ящик на себя.

Небольшая коробка, перевязанная золотистой тесемкой — кажется, такой же, какой перевязывают подарочные коробки конфет. Под ней — папка, тоже завязанная на тесёмочный узелок, бантиком. Я извлек всё это, переложил на письменный стол. И понял: именно в коробке должны быть ссыльные письма Гудкера, письма из Казахстана. И, всё-таки испытывая неловкость, отодвинул коробку (это потом, потом!) и взялся за папку. Развязал бантик, открыл.

Аккуратные листы, схваченные скрепками, некоторые страницы уже пожелтели. На них что-то выписано неряшливым почерком. Неровные строчки, почему-то опускающиеся — чем правее, тем больше, будто писавшая их рука уставала к концу строки. Да, это записи Гудкера, а вот и ксероксы, ксероксы — судя по всему, копии неких статей.

Стал читать.

На первом листе рукой Гудкера было написано: «1955. Сахаров подписал «Письмо трёхсот»» против деятельности академика Т.Д.Лысенко. И ниже: «1958, две статьи Сахарова о вредном

действию радиоактивности ядерных взрывов на наследственность и, как следствие, снижению средней продолжительности жизни. По его оценке, каждый мегатонный взрыв приводит в будущем к 10 тысячам жертв онкологических заболеваний». И ниже: «Он начал это в 1958 году!!!». (Но самих статей Сахарова там я не обнаружил.)

Следующий лист. Гудкер записывает: «А.Д.Сахаров. Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Опять помета с пояснениями: «Написано в 1967 году для одного распространявшегося в служебном порядке сборника. Футурологическая статья о будущей роли науки в жизни общества и о будущем самой науки. В том же году Сахаров вместе с журналистом Э.Генри написал для "Литературной газеты" статью о роли интеллигенции и опасности термоядерной войны, но ЦК КПСС не дал разрешения на ее публикацию. Однако она попала в "Политический дневник". Что за таинственное издание? Мне говорили, нечто вроде "самиздата" для высших чиновников».

Следующий лист. «1970 год. Сахаров — один из трёх членов-основателей «Московского комитета прав человека» (вместе с Твердохлебовым и Чалидзе). 1971 — обратился с «Памятной запиской» к Советскому правительству». (Самой «Записки» в папке нет).

Далее шли ксероксы. Первый (копия машинописи) с предварительной пометой от руки: «В 1966 году А.Д.Сахаров подписал письмо 25-ти деятелей культуры и науки генеральному секретарю ЦК КПСС Л.И.Брежневу против реабилитации Сталина». Далее — копия текста этого письма.

Следующая ксерокопия снята с какого-то иностранного журнала, но непонятно, какого. Толстая пачка листов на английском, а дальше — машинописный перевод на русский с припиской Гудкера: «1968, брошюра А.Д.Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Опубликовано во многих странах на Западе».

Дочитав перевод этой брошюры Сахарова, я машинально перевернул ее и на обороте обнаружил запись, сделанную Гудкером:

«Взрыв водородной бомбы на Новой Земле, 1961. Главные разработчики: А.Д.Сахаров, В.Б.Адамский, Ю.Н.Бабаев, Ю.А.Трутнев, Ю.Н.Смирнов.

Сахаров пользовался этими данными.

30 октября 1961г. Ту-95 поднялся в воздух и взял курс на Новую Землю. Бомба — мощность 50 мегатонн. Отделилась на высоте 10500 м. Снижение на замедляющем парашюте до 4000 м. За время падения бомбы самолет удалился на расстояние в 45 км, что относительно безопасно. Взрыв — в 11-32 (по моск. времени) в районе Губы Митюши на высоте 4000 м над поверхностью суши.

Яркость вспышки такова, что ее можно было наблюдать с расстояния до 1000 км. На удалении в 300 км был слышен мощный рев. Светящийся огненный шар достиг земли и имел размеры около 10 км в диаметре. Гигантский гриб поднялся на высоту в 65 км. После взрыва на 40 мин. было прервано радиосообщение с Новой Землей (причина — ионизация атмосферы). Зона полного уничтожения представляла собой круг в 25 км. При радиусе в 40 км были разрушены деревянные дома, а каменные сильно повреждены. На расстоянии 60 км можно было получить ожоги третьей степени. Окна, двери и крыши срывало и на больших расстояниях.

Ударная волна от взрыва трижды обогнула земной шар, первый раз — за 36 ч. 27 мин.

Это самый мощный взрыв бомбы в истории человечества — 50 магатонн. При полной мощности в 100 мт. зона полного уничтожения имела бы радиус 35 км, а зона серьезных повреждений — 50 км. Ожоги третьей степени можно было бы получить на дистанции в 77 км.

Последствия. (Это слово подчеркнуто.)

Дискуссия среди физиков о путях применения сверхмощных ядерных боеголовок.

Этот взрыв — начало идеологических расхождений. Хрущев не принял проект Сахарова по размещению нескольких десятков сверхмощных ядерных боеголовок (мощностью от 200 или даже 500 мегатонн) вдоль американских морских границ (на подводных лодках), что позволяло бы отрезвить политиков и

не втягиваться в разорительную гонку вооружений. Назрел конфликт».

На этом отслеживание Гудкером раннего этапа антисоветской деятельности Сахарова обрывалось. Почему? Я понял: дальше он не успел, умер в 72-м, как говорила Алёна. И еще подумал: ведь Гудкер собирал эти сверхсекретные данные и делал свои записи в ту эпоху, когда за такое можно было поплатиться. Полагал, что обысков уже не будет? Что после возвращения из ссылки его не тронут, поскольку настали другие времена, без Сталина и Берии? Кем он был, Гудкер? Ну, сильным физиком, это ясно, участником атомного проекта и так далее, а вот кем он был по своей человеческой, нравственной сути? Вернее, кем стал после собственного участия в атомном проекте. Скрытым диссидентом? Тихим противником ядерного оружия? Антисоветчиком?

Что говорила Алёна? Что после ссылки он много работал, но всегда оставался тихим, немногословным. В доме всегда было тихо. А еще Алёна говорила, уже со слов мамы, что после ссылки дед стал даже не то что тихим, а каким-то напуганным и, когда речь зашла о переезде в Арзамас-16 по проекту водородной бомбы, отказался, и это сошло ему с рук. Ну да, потому что шли уже хрущевские времена. И до смерти продолжал работать в институте атомной энергии и в Дубне.

Вот такая судьба. Станный Гудкер. Или вовсе не странный, а нормальный по тем временам? Работать хочется, ибо голова есть, умная голова, но эта же голова (поскольку умная) говорит тебе: тихо! тихо! А вот умная голова Сахарова не говорила такого, и ее обладатель жил не тихо, поплатился званиями, наградами и тоже угодил в ссылку, да и то спасибо Западу, что отделался ссылкой, а не сгнил в тюрьме или на зоне в послесталинские времена.

Но Сахаров был такой один. Умный, но понял, что создал Дьявола — водородную бомбу, могущую убить человечество. И стал бороться против себя же — своей «великолепной физики» (по выражению Энрике Ферми, одного из отцов атомной бомбы), бороться за всё человечество, а если так, то против советской системы. Всё понял Сахаров, всё понял, но и Гудкер всё понял (тогда же!), однако бороться не смог. Это не вина и даже

не беда, это свойство характера. Умная голова есть, высокая нравственность тоже, а по характеру — тихий, слабый. За что же винить?..

Чтение гудкеровской папки заняло у меня около часа, и это время в основном ушло на знакомства с текстами ксерокопий. Около часа — а я здорово устал. Дело даже не в том, что была уже полночь, дело во мне: я оказался не готов к внезапному переносу своей души в те годы, в сахаровские коллизии, попытки борьбы против гонки вооружений, ядерного оружия, а в общем, против системы. Это, оказалось, тяжело: перенос себя во времени в те (*me!*) годы. В те — тяжело. И я усмехнулся: а что, оставаться в *этих* не тяжело?

Ладно, с папкой — всё, а знакомство с содержимым коробки Гудкера я оставил на завтра. Равно как и на продолжение отчаянного путешествия на таинственный остров, называющийся «Квантовая теория». Сын литовской еврейки Ханы Попки когда-то закапал там свою книгу. Для меня — там. Там — это на гудкеровской книжной полке. Дэвид Бом — так звали того закапывателя. Хотя было бы куда смешнее, если б он звался Дэвидом Попки, по матери.

С этой дурашливой мыслью я отправился спать.

Э, прелесть моя, Кристи! А не пора и нам сделать то же? Мне еще многое предстоит рассказать тебе. Поэтому сейчас спать, а продолжение — следующей ночью, когда наш дедушка Гудкер опять задрыхнет. Ему тут будет хорошо, на нашем Выг-острове. Пока хорошо... А, вот что! Как мы уляжемся в одной избе? Да запросто. Нары-то двухэтажные, как полки в купе. Значит, мы с тобой на втором этаже. А что — прекрасно, ибо ты обожаешь заниматься любовью в нестандартных условиях, так? Только тут будет одна задача: при твоей активности не свалиться сверху на пол!

5.

Поздним утром после завтрака Аркадий предложил всем вместе выйти в море порыбачить. Втроем, на баркасе. «И в два спиннинга!» — обрадовался Гудкер. Потом спросил: — А какая рыба тут водится? И как клюет?» Пришлось объяснить.

Сели, поплыли. Гудкер всё любовался спиннингом Аркадия, не скрывая зависти. Ну, заядлый рыбак, это понятно. Посему вскоре решили поменяться орудиями ловли, для чего следовало проинструктировать пришельца из 1970-го года, как пользоваться современным спиннингом, в частности, приноровиться к безынерционной катушке, поскольку на гудкеровском спиннинге стояла инерционная «Невская-150». Ну, Гедкер быстро приспособился, а Аркадий — смехота — мучился с древним спиннингом: при забросе снасти постоянно образовывалась «борода» на шпуле. Через полчаса Гудкер проявил галантность: «Сударь, меняемся обратно, я-то умею со своим, а вы лучше со своим, а то мы ни черта не поймаем!»

Но улов был, был! Чаще подсекали беломорскую сельдь, такую же местную треску под названием пикша, а Аркадию еще повезло с парой зубаток. Для Гудкера такое было в диковинку, и пришлось дать справку: это — истинно беломорская зубатка, полосатая, которая летом чаще держится в прибрежных водах, где питается моллюсками, раками-отшельниками или морскими звездами. В общем, наловили себе, так сказать, работу: чистить, потрошить, потом по всем правилам готовить уху, а еще жарить рыбу на сковороде. «Рыба на первое, рыба на второе, осталось только компот из рыбы на третье!» — заметила серьезная Кристина, на что Гудкер задался вопросом: «А сегодня не четверг? А то, судари, у нас в стране по четвергам — рыбный день. Во всех столовках только рыба, никаких мясных блюд. Даже в нашей Дубне, в профессорской столовой для сотрудников-ядерщиков, именно так».

Впрочем, Гудкер не только шутил, но время от времени вспоминал и о себе. Типа следующего: и надолго я к вам? И как всё это вообще? И как я вернусь обратно? Интересно, обнаружили мое исчезновение? Если да, то сообщили ли в Москву жене и дочке? Они же с ума сойдут!

В ответ на эти вопросы и восклицания Аркадий только пожмал плечами и лишь однажды сказал: «Да не беспокойтесь, всё будет хорошо!», а Кристина, что-то поняв, завела такой разговор:

— Эй, Григорий Яковлевич, спокойно! Вы же угодили в рай, где, в числе прочих прелестей, даже нет четверга, то есть рыбного дня!».

— Ну, так оно так, но всё равно это что? Это ссылка. Опять у меня ссылка, понимаете?

— И опять неправда ваша, Григорий Яковлевич, — уверенно возразила Кристина, налегая на свое весло. — Разве бывает ссылка в рай? Невозможно по определению.

— Ну да, — кисло парировал Гудкер, — в рай только по профсоюзным путевкам или по благу.

Тут встрял Аркадий:

— О, последнее верно! Именно по благу, товарищ академик. По благу — волею неведомых нами сил — в рай — ненадолго! Это ж чертовски интересно, согласитесь! Вы же ученый, любопытство в крови! Да? Да... А что до ваших близких-любимых, — сжалился над пожилым человеком, — то даю слово: они не в курсе, и не будут в курсе. Всё о'кей, да, Кристи?

Кристи ничего не поняла, кроме одного: мужу надо верить, тем более если это ее Аркадий. Поэтому ответила громким повторением:

— Да! Да! Да!

Как Аркадий и обещал, продолжение его истории про Гудкера было следующей ночью, даже начиная с позднего белоночного вечера, потому что хорошо уставший за день и хорошо насытившийся Григорий Яковлевич, извинившись по-стариковски, с удовольствием отправился спать.

— Значит, я дал себе зарок: каждый вечер прочитывать хотя бы по одной главе из «Квантовой теории» Боба. Вряд ли можно было сказать, что я увлекся. Однако меня, мало смыслающего в тонкостях физики, что-то заинтересовало. Я не мог до конца понять что. Пожалуй, так: не сама суть доказательств, а картина мира, новая (для меня, во всяком случае) картина Вселенной. Ведь это — образ, и если этот образ соответствует некой научной истине, то «да будет так». А доказательства, физические и математические изыски мне почти недоступны. Важно как-то понять: новая картина мира верна или нет? Эволюция Вселен-

ной такая или нет? Есть ли начало и конец? С чего всё возникло и как? Что есть время, в конце концов? В общем, картина мира, образ. Метаобраз, если угодно.

Итак, я прочел первую главу — кватновую механику. Но перед тем, не удержавшись по привычке, глянул в конец книги. После списка литературы, алфавитного указателя и странички с замеченными при издании опечатками, в самом конце, перед обложкой, — фраза, начертанная рукой Гудкера: «Большой взрыв — большое лукавство».

Это выглядело как резюме, как следствие долгих раздумий над прочитанным. А может быть, как диагноз. Интересно! Значит, Гудкер не поверил? Чему не поверил — всей теории или представлению о том, с чего началось? А с чего началось? Я еще не знал, не успел прочитать. Но всё равно ироничное заключение Гудкера интересно: ведь кто-кто, а он-то, прекрасно знавший атомную физику, он-то, в отличие от меня, имел право на профессиональное мнение-заключение. Это не значит, конечно, что он прав, ибо кто же знает, кто прав? Дискуссионная проблема, теория, которую кто-то принимает, а кто-то нет. Время покажет, как говорится. Но мне-то был интересен Гудкер, а не споры профессионалов. Да, Гудкер. Значит, Большой взрыв — это большое лукавство? Интересно...

Кое-как прочитав главу о кватновой механике (многие места — опять же по диагонали) и отложив книгу, я перевел взгляд на бюро, на тот самый ящичек, где покоилась коробка с ссыльными письмами Гудкера и его «сахаровской» папкой. Содержимое папки было прочитано вчера, и это, да, произвело сильное впечатление. Теперь — письма. Достал коробку, опять сел. Развязал узелок, снял крышку. Вот они, письма.

Непухлые, чуть пожелтевшие конверты, типичные для советских времен. Их оказалось штук двадцать. Уже знакомый почерк. Московский адрес, ниже — обратный: Казахская ССР, Ерментауский район, село Карамышево, сельсовет. Дальше фамилия и инициалы... Странно: улица и дом не указаны. Почему? Значит, письма приходили на сельсовет, а дальше... Дальше или адресат их сразу забирал, или не сразу, а после прочтения кем-то, кому было поручено наблюдать за ссыльным. Так? Кто теперь знает.

Письма оказались разложены в хронологическом порядке, начиная с 49-го года, это стало ясно по штемпелям. Почему с 49-го, а не с 48-го, когда Гудкера взяли? Может быть, в ссылке он оказался не сразу, а после... ну, после следствия, допросов, пребывания в следственной тюрьме? Или обошлось без этого — сразу сослали, а переписку разрешили только через год? Опять же кто теперь знает.

Наконец я извлек письмо из первого конверта, от 29 сентября 1949 года, как было написано Гудкером в самом начале страницы.

«Мои ненаглядные девочки, мои Дорочка и Кнопочка-Софочка!

(Ага, понял я, это обращение к жене и дочери. Значит, жену Гудкера, то есть бабушку Алёны, звали Дорой, а дочь, будущую Алёнину маму — Софьей. Тогда девочке Софочке было лет восемь-девять, что-то около того. Ладно, читаем дальше.)

Как вы там живете? Скоро мы увидимся, конечно, и всё будет хорошо, а печалиться никак нельзя. Тем более, у меня всё хорошо, благополучно. Чтобы вы не думали, что я напускаю туману, то вот вам чистая правда.

Во-первых, я себя хорошо чувствую, а по утрам, как и раньше дома, делаю зарядку. Честное слово! Как тут обосновался, так ежедневно до завтрака и работы иду на пробежку в степь. Это на окраине села, и прямо степь сразу, беги куда хочешь. Вот я и бегаю минут пятнадцать, и мне очень хорошо. Потом возвращаюсь в свой домишко, завтракаю и иду в школу на уроки.

Школа — это во-вторых, это моя работа. Меня определили учителем физики, но поскольку тут не десятилетка, а до седьмого класса включительно, то мой, так сказать, курс физики — это сокращенный курс, то есть механика и основы электричества с магнетизмом, но без тонкостей, ну и без оптики, конечно. Но мне это нравится. Я ведь никогда не учительствовал прежде и даже не думал, что к этому способен, но гляди ж ты! Дети меня слушают, а я, как обычно, говорю тихо и кричать не умею, но и не надо кричать, потому что они меня слушают и уроки делают вполне неплохо. Короче говоря, мне это дело понравилось, и у меня хорошее состояние души, я бодр и

спокоен. Вот так мы с учениками закончили весеннюю четверть, а теперь поле каникул начали новое полугодие. И доложу вам, к москвичу Григорию Яковлевичу Гудкеру все тут относятся с большим уважением, и учителя, и ребята, и значит, мне хорошо.

А люди тут вообще хорошие, чистые, нешумные. Наше маленькое село имеет две большие улицы, и все с приличными домами, деревянными и саманными, а в большинстве и с дворами. Живут тут немцы, а казахов совсем мало. А немцы народ добротный, аккуратный, мало пьющий и хорошо работающий. Работают они не в колхозе, а на каменоломнях в степи (тут есть такие каменистые места, совсем неглубоко под поверхностью), вот там и добывают длинные каменные пласты, а потом грузят на грузовики и развозят в окрестные села для строительства. Строят коровники, конюшни и амбары для зерна. А вот школа наша — деревянная, одноэтажная, но крепкая. Везде печки, так что зимой было тепло. И у меня в деревянном доме тоже было тепло, хотя снаружи стояли приличные морозы и ветра, ветра. Тут такой климат, резко-континентальный.

Так что общаюсь с немцами, и это спокойно, хорошо. И в классах у меня в основном немецкие ребятки и девочки, аккуратные, не очень шумные, сообразительные, а по-русски говорят почти как мы, всё понимают. А в домишке моем я живу один, и это мне хорошо, никто не мешает занятиям и чтению.

А когда я не готовлюсь к урокам и не пописываю для себя свою физику, то частенько выхожу гулять, особенно вечером в спокойную погоду, вот как было летом недавно, когда жара спадала, да и сейчас тоже гуляю, пока осень сухая. Тут есть где ходить — степь да степь кругом! Только не заблудись, ибо это вполне возможно, если неопытный. Отойдешь на километр, оглянешься — мать честная! — а где моё село-то? Ровная степь, как стол, и, кроме столбов для электричества, не найти ориентира. Вот эти столбы, один за другим, от села до села, долгой ниткой по степи, до горизонта. А как они гудят, никогда не думал! Громко гудят, особо когда подойдешь к столбу, гладкому, отполированному ветрами, и ухо к нему приложишь. Такой сладкий гудёж, как от живого.

Но лучшее, это гулять поздним вечером и ночью. Тут темнеет рано, сразу, и тьма прямо беспросветная, черная. А звезды! Никогда таких и столько не видел. А созвездья! Крупные, яркие звезды, как алмаз каждая. В Крыму, где мы с тобой, Дорочка, отдыхали, поверь, ничего подобного, хотя там мы тоже любовались ночным небом, помнишь? Но мы еще съездим в Крым, конечно, и нашу Кнопку с собой возьмем обязательно, так и скажи ей. И еще скажи ей, чтобы она мне письмецо написала, хотя бы маленькое, ведь она уже в третьем классе учится, девочка моя Софочка! А как она учится, между прочим? Пусть отлично учится, как всегда. Она умненькая у нас, а еще самая красивая, конечно.

Дорочка, ничего из продуктов мне присылать не надо, тут хороший магазин, и всё, что нужно, имеется, а обедаю я в школе, там тоже хороший буфет, и нас, учителей, кормят после ребят, и это за бесплатно. А вот чтобы у меня были мелкие деньги впрок, вышли мне почтовым переводом рублей пятьсот, это мне надолго хватит на магазин, чтобы баловать себя.

Напиши мне непременно. Теперь мы будем переписываться, но чаще, чем раз в месяц, не нужно, это достаточно, и правда. Ты понимаешь, что так.

Как ты себя чувствуешь? Твои суставчики тебя не беспокоят? Помни, что в нашей поликлинике рядом с домом есть чудесная Маргарита Семеновна, которая нас пользовала. Она прекрасный доктор, вот и обращайся к ней по-свойски, как прежде.

Целую тебя и Софочку крепко-крепко. Ваш муж и папа Гриша Гудкер».

Отложив письмо, я кое-что понял.

Значит, дочери Гудкера было тогда девять лет. Значит, ссыльному разрешили работать, так сказать, почти по специальности — физиком, но преподавая ее в школе. Значит, то село, куда его отправили, то село Карамышево было местом ссылки для немцев Поволжья. Ну да, теперь известно, что поволжских немцев в 1941-м году депортировали в Казахстан и Сибирь. Повезло Гудкеру, что он попал именно в немецкое поселение? Конечно, повезло, были местечки и похуже.

Дальше. Дальше Гудкер, конечно, напускал-таки туману в своем письме. Вряд ли ему было так уж хорошо, как он пытался представить жене в первом послании на волю. Однако ж прямо поэт! Как описывает степь и ночное казахстанское небо — позавидовать можно! Значит, не только физик, но и лирик, похоже. Физик-атомщик, теоретик — и вдруг! Молодец, в общем.

А вот если не оптимистом, то не нытиком он был точно. И душевным, заботливым — никак не хотел поселять тревогу в душу супруге. И, судя по всему, очень любил их, жену и дочку. Не забыл про «суставчики», про некую врачиху в московской поликлинике, а еще и про дочкины отметки, и про Крым, куда они поедут. Это нормально, но это и хорошо, ведь кто-то на его месте мог бы и раскиснуть. А Гудкер, судя по всему, не раскисал, делал утренние пробежки по степи, вечерами гулял, любясь звездами, что-то пописывал для себя по своей науке физике и не без удовольствия занимался новым для себя делом — учительствовал. А еще хорошо соображал: писал спокойно, не выходя за понятные в его положения границы, где-то намеками, понимая, что будут перлюстрировать. В общем, да, молодец мужик!

А вот интересно, знал ли ссыльный молодец-мужик, где он находится? В том смысле, где именно? Ведь, как теперь известно, ровно через месяц после того как Гудкер написал это письмо, ровно через месяц, 29-го августа 49-го года, на полигоне под Семипалатинском произвели первый в СССР ядерный взрыв. Вот такое совпадение. Или не совпадение? Может быть, потому наконец и разрешили переписку, что испытание прошло успешно? А вклад физика-атомника Гудкера в разработку этой бомбы был несомненным, что было хорошо известно тем, кому положено. Но и это не всё. Знал ли Гудкер о дате взрыва? О, как причудливо тасуется колода! Как сближаются даты и пространства! Ведь Семипалатинский полигон, он где-то рядом с местом ссылки атомщика Гудкера!

Помню, я даже облизнул губы и прошел в гостиную к книжным полкам. Есть ли там географический атлас?

Отыскал. Небольшого формата. «Географический атлас СССР», издания 1960-го года. На отдельном листе, как и положено, — Казахская ССР. Вот и Семипалатинск (о полигоне где-

то неподалеку и речи нет, понятно). А вот и Ерментау в Акмолинской области (вскоре Целиноградской, а потом опять Акмолинской). Сей город — почти в центре района того же названия, Ерментауского. И где-то в этом районе село Карамышево, из-за незначительности не указанное на этой карте. Так вот, судя по карте, от Ерментау до Семипалатинска — километров триста, ну, триста пятьдесят. Всего лишь! Значит, в тот день, когда произвели взрыв, когда грохнули «гудкеровскую» бомбу, сам Гудкер (правда, как ссыльный) был всего в трех сотнях километров от взрыва своего детища. В трехстах километрах от торжества советской науки и техники, от ада, от ядерного гриба!

Да, невероятно. Воистину, как причудливо тасуется колода! Сослани к черту на рога, а ты всё равно рядом со своим детищем-дьяволом. Никуда вам друг от друга не деться, так выходит. Ибо так вышло.

Но Гудкер об этом тогда не знал. О полигоне под Семипалатинском, может быть, ему и было известно, а вот о самом испытании бомбы в августе 49-го, это уж не знал никак. Интересно, а когда узнал позже, после ссылки, что подумал?..

Я подсунил конверт с прочитанным письмом на дно коробки, в самый конец стопки, закрыл крышкой и убрал на место, в ящик бюро. До завтрашнего вечера.

Помню, вернулся в гостиную и посмотрел на фотографию, что над книжными полками. Теперь посмотрел более внимательно, чем прежде, потому что после прочитанного письма Гудкер стал как бы ближе. Да, хороший портрет. Довольно симпатичный мужчина средних лет. Сколько ему здесь? Лет сорок. Большие залыски над большим лбом, большие темные глаза за старомодными круглыми очками. Печальные семитские глаза, хотя их обладатель мог бы чуть улыбнуться в момент фотографирования, но, видно, это у него не получилось. Нет, он не то что серьезен, а с неполучившейся улыбкой, поэтому и печальный все-таки. Одет по тогдашней моде: широкие лацканы пиджака, мягкий, а кажется, будто мятый, воротничок белой рубашки, крупный узел галстука. Ученый, интеллигент, но видно — тихий интеллигент...

Что было дальше, Кристи? В течение ближайшей недели я покончил таки с книгой Бомы и ссыльными письмами Гудкера. Удивительно, как всё это срослось одно с другим и третьим. Третьим-то был я сам.

Ну да, ведь именно мне вдруг захотелось ознакомиться с кватновой теорией, хотя бы поверхностно. А Гудкер когда-то тоже читал эту книгу и даже делал пометы на ее полях. А помимо этой книги, я читал ссыльные письма. Вот и получалось, что всё это соприкоснулось. Во мне. Гудкер с его письмами и размышлениями над книгой, Бом с его теорией, сам я с мыслями о Гудкере и Боме. Удивительно...

Чтение последующих писем не открыло принципиального нового: гудкеровские повествования скорее напоминали добро-сердечные отчеты о рутинной жизни. Так и проглядывалась основная мысль: лишь бы родные не волновались! Даже сводки о состоянии здоровья (именно здоровья, а не нездоровья) указывали не на ипохондрические наклонности, а на стремление доказать, что у ссыльного всё в полном порядке. Всё, включая настроение, желание работать и веру в светлое семейное будущее. Однако было заметно, что, говоря о будущем, Гудкер никогда не выходил за пределы семьи — только о ней, а о стране, о родине, о желании по-прежнему служить ей — ни слова. Будто кроме семьи, никого-ничего не существовало. Это специально? То есть искренне или, как говорится, лучше остального не казаться? Не понять.

А еще я не мог понять (или пока не мог понять) две вещи: про Большой взрыв из кватновой теории и про отношение Гудкера к ядерной бомбе, учитывая его непосредственную причастность к этому делу и последующее тихое отслеживание антиядерной (далее — антисоветской) деятельности Сахарова.

Про Большой взрыв получалось забавно. Поначалу меня, дилетанта в физике, вполне убедила теоретическая картина, изложенная Бомом. Но помнилась и фраза, записанная Гудкером в конце бомовской книги: «Большой взрыв — большое лукавство». Да, это выглядело как резюме, как следствие долгих раздумий над прочитанным. Может быть, даже как диагноз. И еще тогда, увидев эту фразу, я подумал: значит, Гудкер не поверил?

Стоило разобраться. А как разобраться дилетанту? Ну, услышать мнения других физиков. Оказалось, это вполне возможно. И даже забавно, потому что литература на данную тему, как я вскоре выяснил, содержала много юмора и иронии. Да, физики могут отрицать что-то без ругани, блистая остроумием, виртуозно.

Например, некто сэр Фред Хойл, неизвестный мне англичанин, но, оказалось, известный всем астроном. Сей ученый (а еще и писатель-фантаст!) так высказался по поводу основных положений квантовой теории и Большого взрыва: «Картина Вселенной, образования галактик и звезд, по крайней мере как она предстает в астрономии, удивительно нечетка, как пейзаж, видимый в тумане... Очевидно, что в изучении космологии упущен один компонент — тот, что предполагает разумный замысел». Это — английский юмор, ибо я узнал, что астроном Хойл был убежденным сторонником теории панспермии, то есть возникновения жизни на Земле благодаря привнесению из Космоса органических спор (с метеоритами или кометами). И никакого разумного замысла!

Или Дэвид Роузвер, еще один ученый из Великобритании, в своем научном обзоре пишет: «Так был ли Большой взрыв? Красное смещение и фоновое излучение не могут служить убедительными доказательствами этому. Законы термодинамики, гравитации и теория информации, тем не менее, дают достаточное однозначный ответ. Никакого взрыва не было».

Или вот: «Космологическое красное смещение нельзя объяснить метафизической теорией Большого взрыва, расширением Вселенной из одной точки, так как взрыв из точки — это нарушение причинно-следственной связи. В противовес гравитации центробежные силы не дадут всей массе частиц собраться в одной точке для Большого взрыва, тем более это невозможно для фотонов и нейтрино — самых многочисленных (основных) частиц во Вселенной... Вселенная однородна, изотропна, и нет признаков Большого взрыва. Все факты указывают на то, что теория Большого взрыва — это теория космической глупости».

Дальше шло уже ёрничество: «22 ноября 1951 года Папа Римский Пий [XII](#) объявил, что теория Большого взрыва не противоречит католическим представлениям о создании мира. Консер-

вативные протестантские христианские конфессии также приветствовали теорию Большого взрыва, как поддерживающую историческую интерпретацию учения о творении. Некоторые мусульмане стали указывать на то, что в Коране есть упоминания Большого взрыва. А в «Энциклопедии индуизма» говорится, что теория напоминает, что всё произошло от Брахмана, который «меньше атома, но больше самого громадного». Да, ирония!

Почему же, спрашивалось в статье еще одного ученого-физика, на сей раз из США, многие принимают легенду о Большом взрыве, несмотря на ее абсурдность? А так проще, пояснял он, пусть так, ведь ничего другого, равного по масштабу и полету мысли, пока не предложено. Поэтому сделаем вид, что Большой взрыв был.

Почитав эти и аналогичные по полемическому задору статьи из зарубежных журналов, ксерокопии которых я сделал, следовало признать, что Гудкер оказался не одинок, далеко не одинок. «Большой взрыв — большое лукавство», эта его фраза вполне в стиле вышеизложенного. Интересно, да? А если он прав? Он и прочие противники Большого взрыва? Так или иначе, а он умница, это безусловно. И что еще приятно: стилистика. Именно мягкий юмор, ироническая улыбка, без злобства. Или так в мире физиков принято? Во всяком случае, было принято.

Ну ладно, это Большой взрыв, а вот что до второй проблемы? Она более существенная, ибо речь уже не о теории, а о практике — жизни с ее реалиями. Да, теперь речь об отношении физиков к ядерному оружию, в том числе об отношении Гудкера, учитывая, повторю, его непосредственную причастность к этому делу и последующее тихое отслеживание антиядерной, антисоветской деятельности Сахарова. В общем, если угодно, про науку и нравственность.

Ты знаешь, Кристи, по этому поводу сломано немало копий. А столько понаписано! Но есть решение проблемы? Нет. И тогда стоит ли поднимать ее снова? Стоит. Пока эта проблема поднимается, человечество еще живо. Человек не может не познавать, и значит, не может не задавать себе вопроса, как познанное им будет использовано. В конце концов, вопрос совести. А дальше — нормальное распределение: у одних она есть, а у других

нету вовсе. Но и у тех, кто с совестью, тоже по-разному, это зависит от врожденных качеств, а еще от окружающих обстоятельств. Но еще и от собственного ума: не всякий ученый с ходу понимает, что он творит и куда это может привести. Ум тоже созреть должен.

Такие случаи известны: у человека аналитика есть, логика есть, познание идет, а ум отстает, еще не осмысливает делаемое, творимое или уже сотворенное. Инфантильный ум гения, творца.

В ядерной физике это проявилось как нигде и как никогда. Трагическая сфера познания. Из списка примеров трагических фигур ученых-физиков — и наш Сахаров. Как долго зрел, какую эволюцию проделал! От отца водородной бомбы до ребенка-противленца. Потом этот ребенок вырос до осознанного диссидента, правозащитника, став узником совести.

Кто-то из физиков, больших остроумцев, пошутил: «Когда иные ученые заводят разговоры о том, что пора соединить науку с нравственностью, вспоминается недоуменный вопрос сатирика Жванецкого: «Как это можно — сначала наладить выпуск продукции, а потом начинать борьбу за её качество?» Вот-вот, сначала делаем «великолепную физику» (по уже упомянутому выражению Ферми после первого испытания атомной бомбы в 45-м), а после ужасаемся. Восторг и ужас.

Именно так. Вот что я обнаружил в Открытом отчете по Манхэттенскому проекту. Это — слова участвовавшего в том испытании генерала: «Это было то великое и прекрасное, о чем великие поэты только мечтали, но что они описывали бедными и неадекватными образами. Спустя тридцать секунд произошел взрыв... за этим последовал сильный раскатистый, наводящий ужас рев, напоминавший о Судном дне и заставивший нас почувствовать, что мы, слабые существа, совершили святотатство тем, что осмелились узурпировать управление силами, которые до сего времени были во власти только Всемогущего».

Ладно, Кристи, я заканчиваю. Тебе интересно? Странно, мне тоже. И тогда было интересно, и теперь, когда наш дедушка Гудкер, как ни в чем не бывало, спит себе в избе на Выге, а ведь помер, помер тридцать пять назад, в 72-м году. Да, интересно, и

у меня есть к нему вопросы. Да и не только к нему, вот увидишь.

Ладно, говорю, заканчиваю, и вот что напоследок.

Напоследок — так что наш Гудкер?

Он работал над созданием бомбы. До 48-го, до ареста и ссылки. Это — формально. А если не формально, то как ему работалось? Знал ли он что-то об американских делах, об их бомбе? Ну, может быть, что-то знал: разведка эффективно добывала секреты. А уж о деталях взрывов в Хиросиме и Нагасаки знал точно. И работал. Не исключено, работал даже более интенсивно, чем прежде, потому что — идеология: Америка создала сверхмощное оружие, и СССР, чтобы не уступить врагу, должен иметь такое же. Поэтому не исключено, Гудкер и компания делали свою физику, своё секретное дело вполне искренне. Как потом и Сахаров с водородной бомбой. В тот период, похоже, так. Или не так? Кто теперь знает.

А потом что-то сдвинулось. Вернувшись на волю, к Курчатову в институт, Гудкер вскоре отказался участвовать в водородном проекте. А Сахаров в тот момент участвовал еще активно. Это потом их пути как бы сошлись, и потому «как бы», что путь Сахарова был активным, открытым, а Гудкера — пассивным, тихим. Так или не так? Кто теперь знает.

И тут, тут и тогда, опять связав эти две фамилии — Сахаров и Гудкер, — я вдруг вспомнил кое-что о Сахарове. То именно, о чем еще давно узнал совершенно случайно. Сахаров был амбидекстром! Знаешь, что это такое? Отлично! Слушай, девочка моя, ты всё знаешь, даже скучно с тобой! Шучу-шучу, совсем не скучно, это я так, дурака валяю... Значит, амбидекстры. Это те, у кого одинаково развиты оба полушария мозга, и левое, и правое, и нет доминирующего полушария, как у большинства людей, а доминирующее у большинства — левое полушарие, отчего они — правши. Вот ты, Кристи, левша, у тебя, как всегда, всё наоборот, у тебя ведущее полушарие мозга — правое, и что мы имеем на выходе? Ты — ученый, хороший ученый, но ты еще и выдумщица, у тебя, да, вполне развито рациональное, но еще более — интуитивное, чувственное, образное восприятие мира, и в этом деле тебя порой даже заносит, как говорится, не в ту степь. Но, ей-богу, хорошо заносит, мне нравится.

Так бывает у левшей. А у амбидекстров? Это тоже преинтересно. Среди знаменитых амбидекстров известны, например, Леонардо да Винчи, наш российский писатель Владимир Иванович Даль, американский президент Гарри Трумэн, один из битлов — Пол Маккартни, ну, кто-то еще, и — академик Сахаров. Именно так! Вот какая штука. А это значит, что у него, помимо потрясающих способностей к аналитическому, рациональному мышлению (свойство левого полушария!), было не менее развито и образное, чувственное, интуитивное. Ну да, амбидекстры более впечатлительны, возбудимы, подвержены эмоциональным всплескам. Вот-вот. Вот почему на Сахарова такое сильнейшее впечатление произвел взрыв водородной бомбы на Новом Земле, взрыв его детища. Его детище оказалось монстром, дьяволом. Какой образ!

Образ дьявола привел к протесту и антисоветской деятельности. Это путь Сахарова. Да, поначалу он мучился, зрел. Но эту проблему, самую острую и болезненную, то есть радиационную опасность испытаний ядерного оружия, — понял еще в конце 50-х. А советские физики мало о ней знали, да и кто знал? Так вот, Сахаров оценил количество возможных жертв каждого испытания — каждого! — и ужаснулся. Один он ужаснулся, понимаешь, один! И начал писать «наверх». Это было в 61-м году. Что в ответ? Хрущев озверел, возмутился. Ну как же: беспардонное вмешательство в его политические дела! После Хрущева то же продолжили Брежнев с Андроповым. А Сахаров тоже продолжал, но уже открыто. Что на финале? Его лишили звания трижды Героя Соцтруда, всяческих премий, орденов, вот только из Академии не выгнали, не посмели, испугались и сослали в Горький. За антисоветскую деятельность. Но вот что интересно: еще тогда, в начале 60-х, он все-таки добился своего! Ведь именно его предложения легли в основу Московского договора 1963 года, договора о запрещении испытаний ядерного оружия, во всех сферах, кроме подземных. Но и на том спасибо.

А Гудкер? Кем он стал после собственного участия в атомном проекте? Тихим противником ядерного оружия? Антисоветчиком? Или никак не изменился?

Я не мог найти ответа. Нет ответа, сказал я себе тогда, сидя ночью в его кабинете, один, потому что в квартире не было ни-

кого: моя тогдашняя женщина Алёна находилась на гастролях в США, а ее дед Григорий Яковлевич Гудкер давно умер, конкретно в 1972 году.

6.

А здесь, на Выг-острове в Белом море, в июле 2007-го года, спокойно расхаживал в спортивной «олимпийке» бодрый старичок Гудкер. Вот такие дела!

Было понятно, что, придя в себя и освоившись в неожиданной, непривычной обстановке, он начнет задавать крайние вопросы. Некоторые из них он уже задал (например, как он попал сюда и вообще что с ним произошло), однако получил туманные ответы. Теперь его интересовало не менее важное. Деликатный человек, он все-таки опасался услышать неприятное, печальное, поэтому спросил осторожно:

— Аркадий, будьте любезны... и если это возможно... скажите, как там мои? Моя жена Дора, моя Софочка-дочка и внучка Алёнушка — как они? Э, вы понимаете... ну, если вы понимаете, я имею в виду не сейчас, то есть в моем 70-м году, а в вашем. Понимаете? Как они в вашем 2007-м?

Аркадий понял, конечно. Он был к этому готов, но всё-таки выручила Кристина:

— Григорий Яковлевич, мы же с вами упертые материалисты-атеисты! (Что до последнего понятия, то тут, давно знал Аркадий, есть проблема, ибо во что верит Кристина, и в кого, и вообще верующая ли, она сама частенько путалась.)

— И что из этого следует? Ну, материалисты, ну, атеисты, и что? — обернулся к ней Гудкер.

— А то, что... Сколько вам лет, простите?

— Почти семьдесят, юбилей скоро.

— Вот! — обрадовалась Кристина. — А теперь прибавьте к вашим семидесяти годам тридцать семь лет.

До склонного к точным наукам Гудкера мгновенно дошло:

— Ясно. Вы хотите сказать, что до ста лет никто не живет. Ясно, да. Но речь не обо мне, а о Дорочке. Значит, ее уже не стало. То есть с ваших позиций — уже.

Тоже умевшая быть деликатной Кристина понимающе промолчала. Материалист Гудкер все-таки загрустил. Аркадий извлек из кармана пачку «Мальборо» и предложил ему сигарету, поскольку гудкерowski «Беломор» еще вчера кончился.

Закурили. Старик глядел в море, и глаза его были грустны, но сухи, ясны. И через минуту новый ожидаемый вопрос:

— Ну а Софочка, дочка?

Кристина кивнула на Аркадия, потому что тут она была не в курсе, и он, что делать, соврал. Ну, не скажешь же хорошему человеку, что его дочь через восемь лет (если по-гудкерowski времени) тяжело заболит лейкемией, и еще через два года, то есть в 80-м, умрет, как Аркадий знал от Алёны. Но сейчас — сейчас для Гудкера, в его 1970 году, — все оставались живы-здоровы. Поэтому Аркадий спокойно соврал:

— Все ваши, Григорий Яковлевич, живы-здоровы, и так и будет. Всё хорошо. И ваша дочь, и ваша внучка, которая вырастит в известную артистку, будет играть в «Современнике» — знаете такой театр?

На это последнее Гудкер клянул, аж просиял:

— Ну, «Современник» — конечно, знаю! Ах, Алёнка, гляди ж ты, артисткой станет! Ах, чертовка! В «Современнике»! — И Аркадию: — Представляете, ей же сейчас пять лет! Всего пять! В детский садик ходит! Какая девочка, с ума сойти, выдумщица, врушка, действительно артистка! А сказки обожает, когда я ей читаю. Представляете, сама уже читать умеет, а требует, чтобы я ей читал или просто рассказывал. Когда я из Дубны в Москву приезжаю на выходные, прямо не отходит от меня!.. Ой, ладно, извините старика, которому остается только умиляться. Всё, всё, спасибо!

— Да не за что, — вздохнул Аркадий и перевел дух. Что делаешь, случается такое, когда говоришь с покойником. И что ж необычного? Вон, у Булгакова был роман, который так и назывался — «Записки покойника». Правда, у нас он назывался «Театральный роман», но так показалось удобней тогдашнему Главлиту, ибо у автора был подзаголовок, за который и зацепились для приличия. А то ведь как же это — разве покойник может писать записки? Выходит, может.

Тем временем Гудкер помолчал (верно, всё думал о своей Алёнушке-артистке), но, докурив сигарету («Это ваше «Мальборо», разве это курево? Это ж бикфордов шнур!»), выплыл из стариковских эмоций и опять глянул на Аркадия:

— А вот что теперь. Что академик Сахаров? Ну, если вы следите за его деятельностью и вообще в курсе этого?

— Этого — чего? — помимо воли усмехнулся Аркадий, но опять встряла Кристина. Ну да, она обожала давать исторические справки, это мы знает, знаем!

— Об академике Сахарове известно многое. Ну, если после 1970-го года, то есть после сегодняшнего вашего года, Григорий Яковлевич, то так, если коротко. В 71-м он обратился к советскому правительству с «Памятной запиской», потом — поддержка им диссидентского движения, потом правозащитная деятельность, потом, в 75-м, на Западе вышла его книга «О стране и мире», и тогда же ему присудили Нобелевскую премию.

— Ого! — воскликнул Гудкер. — За какое открытие?

— Нет, — пояснила Кристина, — не по физике, а Нобелевскую премию мира. Премию мира, понимаете?

— Понимаю, да, — кивнул Гудкер.

— Вот, а параллельно с этим шла его травля — в прессе, на телевидение, по радио. Например, в «Правде» появилось письмо академиков, которые гневно осуждали его деятельность. А после того, как наши умники в 79-м году ввели войска в Афганистан, Сахаров выступил с рядом заявлений против этого, которые были опубликованы в западных газетах. И тут...

— Э, погодите, Кристина, какой Афганистан, зачем туда наши войска?

Тут уж Аркадий ответил за свою подругу:

— Ах, Григорий Яковлевич, это отдельная история, столь печальная, что давайте как-нибудь потом. Сейчас одно: ввели на территорию чужого государства свои войска. То есть оккупировали. В ответ весь мир как взорвался.

— Так вот после этого, — тут же подхватила Кристина, — а именно в январе 1980 года по дороге на работу, в свой институт, Сахарова задержали, то есть схватили, а затем вместе с женой Еленой Боннэр без суда сослали в Горький. Тогда же, за антисо-

ветскую деятельность, его лишили звания трижды Героя Соцтруда, всех орденов, а также звания лауреата всех премий.

Гудкер оторопел. Аркадий и Кристина молча наблюдали за ним.

— И что потом? — наконец спросил он.

Кристина кивнула Аркадию — дескать, теперь ты.

— Потом очень просто. Жил в ссылке в Горьком, как и вы в своем Казахстане. Нет, много хуже, чем вы. Прогуливаться позволяли только в сопровождении чекистов, а так-то вообще под домашним арестом. Кроме жены, никаких контактов, ни с кем. Объявлял голодовки. За него отчаянно боролся Запад. Если б не это, то, конечно, уничтожили бы. Что спасло? Верней, кто? Новый генсек. Невероятно! Придя к власти, уже через год, а именно в 86-м, он распорядился вернуть Сахарова в Москву. Вернули, восстановили в Физическом институте, вернули награды и звания, стали выпускать за границу. Не представляете — через несколько лет Сахаров стал депутатом нового Верховного Совета!.. Впрочем, это еще одна отдельная история — что тогда происходило в нашей стране, поэтому опять же оставим это на потом.

— Значит, теперь всё хорошо? — задал детский вопрос совсем повеселевший Гудкер.

— В истории нет понятий «хорошо» и «плохо»! — категорично отчеканила Кристина, но тут Аркадий мягко остановил ее, подняв руку:

— Возможно, ты права, Кристи, и вы правы, Григорий Яковлевич, но вот в чем дело. Ведь вы член Академии наук, так? Ну вот. Дело прошлое, но все-таки. Академик Харитон — вы знаете его, конечно.

— Юлий Борисович! А как же, прекрасно знаю! Он был в составе нашей группы по проекту атомной бомбы. Прекрасный ученый, умница!

— Да, так. И вот, как только что доложила наша Кристина, в 1973 году в «Правде» опубликовали письмо сорока академиков против Сахарова, и это письмо послужило сигналом для начала самой мощной кампании его травли. Среди тех сорока академиков это письмо подписал и Харитон.

Гудкер сглотнул. Потом изрек:

— Ну, дело его. Но я бы... нет, не подписал.

— Так вот, — как бы не обратил внимания на это признание Аркадий, — потом рассказывали, что Сахарова в том письме удивили две подписи — Франка и Харитона. А еще потом... потом Харитон сказал в одном интервью по этому поводу, цитирую по памяти: «Что побудило меня поставить свою подпись? Дело в том, что с некоторыми положениями, которые развивал Андрей Дмитриевич, в частности, касающимися характеристик социализма и капитализма, я был не согласен. Сейчас я сожалею о своей подписи: никакие наши разногласия, разумеется, не должны были меня побудить участвовать в этой акции. И, конечно, я не ожидал, что за этим письмом последует такая кампания травли».

— Ну, хоть так слава богу! — вздохнул Гудкер — Но какой ужас все-таки!

— Да, когда изменились времена, можно было и признать свои ошибки, уже не покарают. А вот кто не убоился не подписать то письмо, знаете? И не только то письмо, но потом еще не убоился высказаться против того, чтобы лишить Сахарова звания академика, чего добивались в 80-м году, знаете? Ведь Сахарова так и не лишили этого звания, а почему?

— Нет, не знаю. Ну, скажите!

— Так вот, в 1980-м году президент Академии наук Келдыш, с подачи властей, конечно, спросил мнение Капицы об исключении Сахарова из состава Академии. Петр Леонидович ответил: «Это будет второй случай в истории науки. Первый — исключение Эйнштейна из Академии наук Германии во время Гитлера». И — что вы думаете — не исключили Сахарова! А что до Капицы, то он спас не только Сахарова, но и честь Академии наук после того [письма-пасквиля, который подписали сорок академиков](#), Харитон в их числе. — Аркадий замолчал, но вскоре все-таки добавил: — А вот вы бы не подписали, да?

Гудкер только кивнул, потом как-то съёжился, ссутулился и, поднявшись с лавки, пошел куда-то к берегу. Там закатное солнце по давней привычке играло с морем в золотистый пинг-понг.

7.

Как-то сложилось само собой, что днем они занимались всякими делами — рыбалкой с берегов, с обрывистых скал, или в море с баркаса, хождениями по острову (Кристина пристрастилась собирать ягоды — чернику, бруснику, морошку, — ежедневно варили компоты, а еще откладывала для Москвы), заготовкой дров для очага, возней с обедом и ужином. Что ж, дела приятные и необходимые, которые в путешествиях входят в привычку, даже становятся незаметным пристрастием, как, например, курение, без которого уже никак.

Это, значит, днем, а по вечерам и белыми ночами — тоже традиция: усесться на лавку у избы с видом на море, неотрывно глядеть туда, переговариваться или просто молчать. Так выпадаешь из времени. Будто его нет. А то, подумаешь иногда, его и верно не существует.

Вот и Гудкер однажды почувствовал такое, но по-своему.

— Знаете, друзья, — начал, побряхтев, — я тут с вами будто попал в некое кольцо времени. Смотрите, как интересно выходит. Мы говорим о тех годах — о 70-х, 80-х, — но для вас это прошедшее время, а для меня — будущее. Для вас это из разряда «было», а для меня — «будет». И заметьте, насколько я мудр, — усмехнулся, — насколько мудр и деликатен, что не спрашиваю вас: а доживу ли я до этих, скажем, 80-х? Не спрашиваю, потому что знаю: если судьба расписала мне, семидесятилетнему, помереть через год, или два, или пять, то вы, драгоценные мои, всё равно мне не скажете об этом, приметесь дурить мне голову, отделяваться философическими фразочками, как наша милейшая Кристина, и прочее-прочее. Да, это — табу, поминую. Но все-таки: в какое я угодил кольцо! Как это страшно, но и тут же: как необычно и преинтересно! Как мне повезло, ибо такого еще ни с одним ученым-физиком не было, полагаю! Что это за эффект? Как его назвать?.. А что если я наберусь нахальства и назову его эффектом Гудкера? О, здорово, да? Эффект Гудкера. А что — красиво, благозвучно. Даже в историю науки попаду, можно сказать, еще при жизни. Как полагаете?

— Вы уже попали, — заметил Аркадий.

— Да бросьте! — вяло отмахнулся Гудкер. — Это вы про моё участие в атомном проекте, в первой советской бомбе? Это уже пустое. Высокое и тёмное. Там нет правды. Нужно — сделали. А вот нужно ли было? Тогда я знал, теперь не знаю.

— К этой теме мы еще вернемся, — проговорил Аркадий, — вернемся, потому что... — Но тут указал в белёсое море: — Смотрите, кто это у нас?

Там, смутно различимый в солнечных бликах, шел катер курсом или на Кяндиму, или на какой-то ближний остров. Но не на Выг.

— Да, это пограничный катер, — взглядевшись, уточнил Аркадий. — Служивые идут по своим делам. Скорее всего, на большую рыбалку. То есть государственную солярку тратят, молодцы-ребята! А вы, Григорий Яковлевич говорите «эффект Гудкера»! Вот эффект — эффект матушки России! Неизбывный, вневременный! Время, свернутое в кольцо, точнее в колесо. И мы в нем — белки в колесе!

Кристина хлопнула в ладоши:

— Аркаша, bravo! Но, но! Но эффект Гудкера — это тоже здорово, это я надолго запомню. Григорий Яковлевич, примите моё вам восхищение!

— Вы прямо по-одесски заговорили, милая барышня! — рассмеялся тот. И вдруг что-то вспомнил: — Кстати, о времени. — Вскинул к глазам руку с часами и внимательно посмотрел на них: — М-да. Всё то же — стоят. А у вас часы идут? М-да, а у меня остановились. Я лишь на второй день, как оказался тут, обратил внимание — стоят! И вот какая штука. Вообще-то я невыездной, ну, вы понимаете... так вот, эти самые часы, импортные, швейцарские, мне привезли из-за границы. Отличные часы, с окошечками, видите? Тут и число, и месяц, и год. И смотрите, что там: 17.07.1970. И стрелки как вкопанные, остановились на половине третьего. Это как я попал в шторм на Иваньковском водохранилище, а после задремал на островке в избе рыбака. 17-го июля 70-го. А у вас который час и число какое?

Аркадий протянул руку:

— У меня на часах — 22:30, а дата: 27.08.2007, как и положено.

— Как это — как положено? — вскинулась Кристина. — Сейчас ведь июль, а не август! Мы уезжали из Москвы в июле, 17-го числа, я хорошо помню, а с того дня лишь десять дней прошло — значит, сегодня 27-е июля. Июля, а не августа! Ты что, Аркадий? У тебя что-то с календарем на часах!

Вместо ответа он указал на небо:

— Глянь-ка, что там?

— Ой! — удивилась она, взглядевшись в то место, куда была протянута рука мужа. — Звезда! Первая! Тусклая еще, еле видна. Первая! Тут ведь не было звезд по ночам.

— Именно так, в белые ночи звезд не видно. А когда различаешь первые звезды, значит, белые ночи пошли на спад, уходят. Это будет еще долго, постепенно, но звездочки уже видны. И тут, в этих широтах, это начинается в конце августа. Так что с часами у меня всё в порядке.

— Но как же так? — не унималась Кристина. — Мы уезжали 17-го июля, прошло десять дней!

— Да, десять. А как же так — ну, вот так. Сегодня 27-е августа, вот так. Ты уж привыкай. Белые ночи пошли на спад, скоро им конец. Поняла, Кристи?

Она ничего не поняла. Кроме одного, конечно, как уже случилось у нее с Аркадием: надо ему поверить, поверить, и всё, просто жить, и всё, потому что, как сказано у классика, все остальные занятия гроша ломаного не стоят.

Следующим вечером, проходя мимо лавки, Гудкер расслышал, как Аркадий, что-то рассказывая, сказал Кристине со смехом:

— Не иначе, Оппенгеймер тоже был амбидекстром!

Гудкер приостановился и спросил:

— О, вы о Роберте Оппенгеймере? А что такое амбидекстр, если не секрет?

— Ну, это наши заморочки, Григорий Яковлевич, другая наука, психоневрология, блин! — отмахнулся Аркадий.

Но тот заинтересовался:

— И все-таки?

Пришлось объяснить. Гудкер вроде бы понял. И, присев рядом на лавку, задал новый вопрос:

— Так с чего вы взяли, что Роберт Оппенгейме амбидекстр?

— Это только моё предположение. А с чего оно? А с того, что уж больно образно он воспринял то, что увидел. Я имею в виду испытание первой атомной бомбы, одним из отцов который был. Помните?

— Ну, кто Оппенгеймер был, я, уж поверьте, знаю прекрасно. И тогда знал — знал по всяким данным нашей разведки и некоторых других лиц, и потом много читал о нем, ибо имел доступ к закрытой технической западной литературе, да и не только технической, но и светской. Он ведь уже умер, бедняга, недавно умер, в 67-м, если мне изменяет память.

— Да, верно, умер. И вот он, научный руководитель американского атомного проекта, прямо после первого испытания атомной бомбы в пустыне Нью-Мексико в июле 1945-го, стоя в бункере, откуда все наблюдали за взрывом, вот что он подумал. Цитирую по памяти, конечно: «Мы знали, что мир уже не будет прежним. Несколько человек смеялись, несколько человек плакали. Большинство молчали. А я вспомнил строку из священной книги индуизма, Бхагавад-гиты. Вишну говорит: «Я — Смерть, великий разрушитель миров»... Вот вам и образ! А по воспоминаниям какого-то генерала, бывшего там же в бункере, Оппенгеймер с трудом дышал, пошатывался и, чтобы устоять на ногах, держался за поручень. Несколько последних секунд он смотрел прямо вперёд, а когда возникла колоссальная вспышка света и затем послышался грохочущий рёв взрыва, его лицо наконец расслабилось... Разве холодные руководители, то есть начальники, пошатываются, едва дышат на испытаниях, в присутствии других людей? Холодные руководители должны являть образец стойкости! Нет, этот гениальный физик, как и наш Сахаров, был наделен еще и сильными чувствами, образным восприятием. Поэтому я и подумал: а не амбидекстр ли он? Если так, тогда понятно, почему только Сахаров и Оппенгеймер стали, в полном смысле этих слов, из ряда вон выходящими. Из ряда великих физиков, сотворивших монстра, дьявола! Забавно, да? Ведь по ту и эту сторону океана нашлись такие, кто сказал: «Хватит, всё!» Так кто же они, которые «нашлись»? Именно

амбидекстры! А прочие великие физики, которые обычные правши, то есть левополушарники, они продолжали свою «великолепную физику», как сказал Ферми, продолжали делать ядерное оружие.

— Это интересная мысль — про амбидекстров, — задумчиво произнес Гудкер. — Психология, говорите?

— Точнее, нейрофизиология и психология. А вообще-то в основе такого различия людей, конечно, генетика. Она и формирует это: одних — левополушарниками, коих большинство, других — правополушарниками, третьих — амбидекстрами. А великий физик-амбидекстр — это уж действительно редкость... Ладно, извините, я увел вас в сторону, а вы говорили об Оппенгеймере. О том, что было после его бомбы, первой американской.

Гудкер кивнул:

— Да, что было потом, я в курсе. За работу руководителя Лос-Аламоса Оппенгеймера наградили Президентской медалью «за заслуги», а десять лет спустя президент Кеннеди вручил ему премию Энрико Ферми. Но это формальная сторона дела, хотя и приятная, почетная. Суть не в этом. Он мучился, понимаете! Чистейший человек, он проклял свои руки, создавшие ужасное оружие, и был затравлен Теллером и маккартистами за то, что после войны, особенно в 50-е годы, резко выступал против проекта по водородной бомбе, против гонки вооружения, за жесткий контроль над ядерным оружием.

— И вообще стал пацифистом, — добавил Аркадий.

— Да, так. Но остался великим физиком. Его лишили допуска к секретным работам, но он продолжал читать лекции, писать труды, работать. Современная теория нейтронных звезд и черных дыр — это кто? Оппенгеймер! А еще, конечно, его работы по физике космических лучей, квантовой механики и квантовой теории поля. Много сделал, ой как много, но рано умер, всего-то в 63 года.

— И много понял, — проговорил Аркадий, имея в виду опять же своё, но затем усмехнулся: — Кстати, о квантовой теории, Григорий Яковлевич, уж если вы упомянули ее. Гипотеза Большого взрыва — это и вправду большое лукавство?

Гудкер ошарашенно глянул на собеседника:

— Э, откуда вы...? Вы тоже так считаете? Но вы же не физик! Или я что-то путаю?

— Не путаете. — Аркадий позволил себе ласково прикоснуться к коленке старика. — А откуда я знаю про то ваше высказывание? Вернее, про вашу запись в книге почтенного Дэвида Бома? Ну, так я же докладывал вам, что был знаком с вашей дочерью Алёной, бывал в вашем доме и, да, листал книгу Бома по квантовой теории. Каюсь, достал ее из вашего шкафа, уж простите, бога ради! Там и нарвался на вашу помету. Так что, Большой взрыв — это большое лукавство? То есть чушь собачья?

Гудкер расхохотался:

— Ну конечно, нет! Но и, конечно, да! И вы думаете, я вам дам однозначный ответ? Поэтому скажу так: вообще-то нет, но если очень хочется, то вообще-то да. Это как, простите, не при Кристине будь сказано, это как про измену жене: вообще-то это нельзя, но если очень хочется, то вообще-то можно.

Кристина не преминула открыть свою правду, причем на полном серьёзе:

— А я и не возражаю. Захочется — на здоровье. Это о чем говорить будет? Значит, либо я состарилась, либо, если еще нет, то не делаю как следует. Если делать как следует, любить и делать как следует, то и измен не будет.

Аркадий только развел руками:

— Я ж не раз говорил тебе прежде, что твои высказывания пора записывать в книгу мудрых мыслей.

— Так записывай, если пора, — резюмировала она и отхлебнула чаю из кружки.

Помолчали. Потом Аркадий напомнил как бы между прочим:

— Вы упомянули Теллера, кажется.

— А, да, — кивнул Гудкер, — Теллер... Из трех отцов ядерного оружия — Ферми, Оппенгеймера и Теллера — он жив до сих пор. («И долго будет жить, до 95-ти лет!») — успел шепнуть Аркадий на ухо Кристине.) Так вот, этот Эдвард Теллер, венгр, а потом американец, был главным руководителем работ по водородной бомбе. Представьте, только что кончилась Вторая мировая война, сброшены атомные бомбы на Японию, а он объявил, что пора создавать бомбу нового поколения — термоядерную,

но теперь против СССР. И ее создали. В те же годы, когда Оппенгеймер публично каялся в содеянном, Теллер начал его буквально травить, тоже публично. Он выступал и выступает против запрещения ядерных испытаний и, кстати, за развертывание лазерного оружия в космосе. Пошел дальше всех, да... Кто еще вас интересует из тех великих и ужасных физиков — Ферми? Ну, конечно, Ферми. Лауреат Нобелевской премии еще до войны. Гений, конечно! Именно он открыл дверь в атомный век, если говорить о практике. Работал в Лос-Аламосе над созданием первой атомной бомбы. И, да, именно он, беседуя с коллегами, которые были обеспокоены моральной стороной достигнутого, произнес свою знаменитую фразу о том, что это — «великолепная физика», и был за то, чтобы сбросить бомбы на Японию. А потом... потом он стал держаться в стороне, отошел от военных разработок и занимался только мирными ядерными проблемами. Потом — рак желудка, и всё.

Опять помолчали. Увиденная ими единственная звездочка на фоне светлого, совершенно бесцветного неба стала ярче.

— Может, это не звезда, а планета в отраженном солнечном свете, Венера? — предположил Гудкер.

— Бог знает, может, и так, но в настоящие белые ночи тут ничего не видно, и Венеры тоже, — дал справку Аркадий. Кристина собрала кружки со стола, обмыла их родниковой водой из ведра, убрала под навес. Опять присела рядом с Аркадией, прижалась плечиком.

— Не пора ли нам баньки? — спросил Гудкер и подавил зевок.

— Идите, Григорий Яковлевич, — откликнулась Кристина, — а мы... мы тоже вскоре. Тишь-то какая! Похоже, и вся рыба в море заснула. А вот какая-то птица поёт, хоть и ночь по часам. Слышишь, Аркаша? Кто это?

— Или сойка, или камышёвка-барсучок. Хорошие названия, да? Лесные птицы, а иногда они по берегам в тростнике, камышах. Почему-то любят петь по ночам, если кругом ничего. Когда покой, короче.

— Покой! — почему-то продублировал задумавшийся Гудкер. — Который нам не снится, а наяву... — И вдруг продолжил энергично, будто и не тянуло его спать. — А знаете, дорогие

мои, кажется, я понял, зачем оказался здесь, в вашем времени. Ведь нам хотелось кое в чем разобраться, верно? Да не кое в чем, а в большой проблеме. Возможно ли соединить науку и нравственность? Так?

Поскольку ему никто не ответил, он продолжил, помолчав:

— Я ведь думал над этим долго, очень долго, больше двадцати лет. С 48-го, если точно, когда меня арестовали. Полгода на Лубянке, потом ссылка. Чем-то я Берии не угодил. А чем? Еврей, да? Нет, не из-за этого, похоже. Таких у нас, в секретном проекте, полно было: Харитон, Зельдович, Кикоин, Альтшулер, Ландау, ну и еще. Так что не угодил по какой-то другой причине, а какой, не знаю: психика зверя — потемки... Бог с ним. А проблема с нами. Она осталась, она, доложу вам, неразрешима. Увы! Вот послушайте старика, который через многое прошел. Э, Кристиночка, извините, девочка, пододвиньте мне эту, так сказать, пепельницу, а то стряхивать пепел на землю я не привык, тем более землю этого острова.

Кристина придвинула к нему пустую банку из-под тушенки, и Гудкер, закурив, заговорил опять:

— Итак, есть проблема. Формулируем: как соединить науку и нравственность? Отвечаем: сколько существует наука, столько ее, начиная с античности, используют для военных и политических целей, зачастую для уничтожения людей. А почему? Это в генетическом коде человечества. Вчера это касалось химии с ее отравляющими веществами, потом физики, сегодня уже биологии, генетики, а что будет в будущем, никто не знает, но будет, будет! Вот Кристина сказала, что в истории нет понятий «хорошо» и «плохо», и это так, потому что дела людей — это закономерность, а оценки дел — всегда субъективны, они зависят от установок, позиций, понятий о праве, долге, морали и тому подобного. Из этого будто бы следует, что и вопрос о соединении науки с нравственностью бессмысленен по определению, однако если не ставить этот вопрос хотя бы время от времени, в некие критические для социальной эволюции моменты, то зло (или то, что с наших позиций есть зло) будет нарастать в геометрической прогрессии. Вот для чего был нужен феномен Сахарова, а на Западе — феномен Оппенгеймера и даже Ферми. Ведь все они, великие физики, поначалу были активными тео-

ретиками и создателями ядерного оружия, однако потом, увидев плоды своих созданий, отошли от этих дел — одни протестуя, борясь, как Сахаров и ставший пацифистом Оппенгеймер, другие, как Ферми, просто занялись «невоенной» физикой. И, простите, как я, невеликий, тихий Гудкер, который, уже после ссылки, отказался участвовать в новых разработках ядерного оружия и не поехал в Арзамас-16. А ведь, в отличие от вышеупомянутых господ, я рисковал, рисковал! Но пронесло. Жил на воле, работал, до сих пор работаю, но к военным делам, слава богу, не имею отношения. Это мое отношение и есть мое покаяние. И то самое упомянутое вами письмо против Сахарова, которое подпишут сорок академиков, я, если доживу, не подпишу... Сахаров, Сахаров, великий и трагичный Андрей Дмитриевич! Я ведь за ним слежу издавна, с тех еще времен, с тех самых! Завидую — но не как физику, тут я лишен зависти к коллегам, — завидую как человеку. Я так не смог, не могу, не умею. Он сотворен из какого-то другого теста. Или я из другого, обычного, стандартного. Я только работаю, и моя теперешняя физика такая, ибо я такой.

Выслушав это, Кристина, любительница афоризмов, выразилась так:

— Дело не в физике, а в человеке. На Земле всегда были и будут авгиевы конюшни, не одно, так другое. Таков человек.

— Ну, я оказался не Геракл, чтоб расчищать авгиевы конюшни, — усмехнулся на это Гудкер, — но, да, хотя бы не гадил больше. Чтобы это понять — что нельзя гадить, — надо сначала нагадить. Вот такой трагический парадокс на этой земле, дорогие мои!

8.

Ночью Кристина прошептала, хотя Гудкер на нижних нарах уже давно похрапывал:

— Друг мой Аркадий, а не пора ли больше не мучить старика? Ведь ты получил, что хотел. Не пора ли ему домой, к жене, дочке, внучке?

— Именно так, пора. Завтра он проснется в своей избе рыбака на островке среди Иваньковского водохранилища возле Дубны,

и на его роскошных швейцарских часах будут идти стрелки, а в окошечке календаря будет та же дата — 17 июля 1970-го. И покажется ему, что видел он сон, странный сон, но спокойный, а может, даже чудесный. А мы с тобой будем по-прежнему здесь, в конце августа 2007-го, в белых ночах, которые совсем скоро станут серыми, но звезд будет всё больше и больше.

Кристина подумала и сказала:

— Я поняла, кто ты. Как в том рассказе Маркеса, ты продавец чудес.

— Нет, — возразил он, — это ты — продавец чудес, а я их потребитель. Ну-ка, подари мне очередное чудо, иди ко мне!

ЖИЗНЬ С КРИСТИНОЙ.

5. МАЛЬЧИШНИК

В тот вечер, едва выйдя из лифта и вставив ключ в дверь, Кристина услышала громкие голоса и смех. Значит, у Аркадия гости, поняла. Ну, хорошо, а чего не предупредил?

Вошла, тихонько сняла плащ, сапоги, затем двинулась в комнату и стала в дверном проёме. Мгновенно замолчав, на нее уставились двое незнакомых мужчин, а третий — Аркадий — не уставился, а просто поднял голову и потеплел глазами.

— Ба, женщина! — удивленно констатировал один из незнакомцев, одетый несколько пижонисто, с платком вокруг шеи, однако почему-то сразу понравившийся. — Аркаша, это кто у нас есть?

Надобно сказать, что сразу же бросилось в глаза Кристине (а любой нормальной женщине такое сразу бросается в глаза, лишь она входит в комнату). Посреди — накрытый стол с бутылками и всякой едой. Стол, конечно, без скатерти, а просто так, по-холостяцки. Бутылки — это понятно, а еда — пельмени и закуска: соленые огурчики, селедка, маслины. В центре стола — кастрюля (там еще не съеденные пельмени), а закусовые

изыски не разложены по маленьким тарелочкам или вазочкам, а стоят себе в банках, как были куплены в магазине. Ясно, мужицкое застолье — побыстрей, без должного уюта, без того, чтобы сервировать стол, приготовить его, именно приготовить. Триада: водка, пельмени, стандартная закуска. Примитивный народ. Хотя можно подумать и иначе: это (то, что на столе и как оно там выглядит) не главное. Для данного конкретного народа это не главное, а лишь приятный фон. А что главное? Мужской трёп. Однако такой именно, когда не о женщинах, а о чем-то очень интересном.

Так Кристина успела подумать, но тут же услышала удивленно-ироничное:

— Ба, женщина!.. Аркаша, это кто у нас есть?

Не отреагировав на вопрос мужчины с платком на шее, Аркадий поднялся:

— Привет, Кристи, вовремя явилась, мы еще не всё успели съесть. Позволь представить тебе моих друзей, а точнее, очень близких людей. Смотри, мы даже похожи, правда? (Кристина это тоже успела заметить и даже удивилась.) А близкие люди частенько похожи, доложу я тебе. Верно? Так сказать, выбор по признаку смутного сходства по внешним данным и характеру. Верно? Короче, мистика... Так вот, значит, начнем. Этот пижон — его зовут Стас Малецкий, он...

— Не Стас, а Станислав, а правильнее — Станислав, — перебил пижон, — с ударением на «и», ибо я, говорят, из поляков. Пан Станислав Малецки, без «й» на конце. Короче, из шляхтичей.

— А, ну да, ну да, — хохотнул Аркадий, — из спесивых шляхтичей, князь.

— Не князь, а граф, сто раз тебе докладывал! Хотя, может, и князь. Нет, пожалуй, граф. Я и сам запутался.

— Так вот, — продолжил Аркадий, — сей граф есть великий художник...

— Великий и достойный, — опять перебил тот, — ибо не всякий великий художник есть художник достойный. Что ни говори, разница!

— Еще разница в том, что достойный не всегда великий, — в свою очередь уточнил Аркадий и указал на второго гостя: — А

вот этот рыцарь печального образа, он — Александр, Саша, тоже достойная особь, хороший ученый, даже со степенью.

В отличие то ли от князя, то ли от графа, Саша приподнялся, покивал — дескать, да-да, это я — и вновь уселся. Теперь Аркадий указал на всё еще стоявшую в дверях Кристину:

— А вот эта прелестная женщина, ее зовут Кристина, проще — Кристи, и она... ну, полный атас!

Кристина спокойно переварила это определение, даже глазом не моргнула, тогда как художник Стас внимательно изучал ее, скользя взглядом по телу, — как говорят, анатомировал. И проговорил несколько развязно, поскольку, понятно, уже выпил:

— А она, которая полный атас, она свободна? За полным ата-сом приударить можно?

В ответ на это Кристина наконец подала голос:

— Рискуйте. Кто не рискует, тот не пьет коньяк, как известно. Хотя я вижу, вы пьете водку.

— И не самую дрянную, заметьте! — прозвучало радостное уточнение.

— Да, тут он тоже профи, — согласился Аркадий, — водка вполне... Кристи, присаживайся, возьми себе тарелку, вилку, рюмку... ну, сама понимаешь.

— Сначала я руки помою и в кухню на минутку.

Аркадий прошел за ней следом и поцеловал в щечку.

— Ты уже пьян? — спросила она.

— Самую малость. Но мне хорошо.

— Это чудесно. А что ж не предупредил, что у тебя сегодня мальчишник? Я могла бы и в институте задержаться, диссертация и прочее.

— Привет! — Он опять поцеловал ее. — Что значит задержаться? Ты — ко мне? Ты должна лететь ко мне на крыльях, дурёха! А они... — и кивнул в сторону комнаты, — они нормальные ребята, свои. Поэтому если даже и мальчишник, то и с тобой тоже. Да, они свои в доску, родные, — сказал еще.

— Я уже поняла, — кивнула Кристи, — ты с другими не общаешься.

Вернулись в комнату, сели за стол. Стас принялся разливать водку, говоря при том:

— Чудесный тост созрел. За пенькных пань! За прекрасных дам, по-нашему, по-польски. Любимый тост польских гусар — гусарии. Крылатая польская гусария, вот так! Значит, за пенькных пань!

Кристина прикрыла свою рюмку ладошкой:

— Если за пенькных, то нельзя ли не водки, а вина? Мне хотя бы?

Аркадий стукнул себя по лбу:

— Вот склеротик чертов! У меня же есть, Стас, твой «Вавел», еще с прошлого года. Забыл! — И извлек из барного шкафчика пузатую бутылку темного стекла. — Сейчас вскроем для женщины.

Пока он возился с пробкой, Стас дал справку:

— Дорогая пани! Чтоб вы знали. Вавел — это королевский замок в Кракове над берегом Вислы. Символ независимой Польши. Короче, Польша не сгинела. Красотища, достойная ваших глаз. Спешите увидеть.

По комнате разнесся сладковатый запах хорошего вина.

— Вот теперь согласна: за пенькных пань! За меня в данном случае. — Кристина подняла рюмку.

— Молодец девочка пани! — опрокинув свою, но с водкой, крякнул Стас.

Потом дружно зажевали.

— А и верно — очень приятное вино, — доложила Кристина. И еще доложила: — А голодная я — жуть!

— Что не оригинально, — улыбнулся Аркадий. — Кушай, моя прелесть, давай-ка я за тобой поухаживаю... О, мужики, надо вскорости пельмени разогреть, а то эти подостыли.

— Я схожу, поставлю на газ. — Саша поднялся, ушел в кухню, вскоре вернулся, сел. — Теперь у меня тост, а то кое-кто постоянно говорит, а я молчу. Значит, тост. За всеобщий брудершафт. То есть мы все на «ты». Да, Кристина?

— Почему бы и нет? — пожала она плечиками. — Тем более, что...

— Что — тем более? — не удержался явно довольный Стас, отчаянно жуя.

— Что? А то, что я вас узнала. Э, ну, тебя узнала.

— Ни хрена себе! Это как, откуда?

— Из книги, — спокойно пояснила Кристина и тоже зажевала.
— Матка боска*, как я проголодалась!

Аркадий и Саша рассмеялись, а Стас опять за своё:

— Из какой книги? Из той самой? Значит, ты и книги читаешь? Про хороших людей?

— А как иначе? — Кристина отправила в рот очередную пельменину. — Забыла, как она называлась, но книга хорошая, только не слишком веселая.

— Как и вся наша жизнь, невеселая, но интересная, — проговорил Аркадий. — А та самая книга называлась «Несколько нежных дней»**, по одному из рассказов.

— Точно! — кивнула Кристина Стасу. — Там про тебя повесть... Э...

— «Прощай и здравствуй», — подсказал Аркадий и пояснил: — У девушки с названиями туговато.

— Да, так вот, — продолжила девушка как ни в чем не бывало, — там ты, художник, так ярко прописан, что даже твоя сегодняшняя игра в такого-эдакого бонвивана не затмевает того образа. Славного пьянчужки, тонкого художника, того, кому дано счастье любить.

Стас застыл с полным ртом, потом прошамкал:

— Ёлки-палки! Классно!.. Только одна поправка: кому дано несчастье любить, вот так!

— Спорное положение, — отреагировала Кристина. — Аркаша, налей мне еще вина.

Аркадий налил и произнес задумчиво:

— Как мы будем любить, зависит от нашего выбора конкретной женщины. Кому это счастье, кому несчастье.

— Ну и как та самая женщина? — подхватила Кристина. — Она мне очень понравилась, между прочим. Как у тебя с ней было потом?

Стас демонстративно положил вилку на стол:

— Нет, мы так не договаривались! Сто лет не виделись, сели наконец выпивать и закусывать, говорить милые глупости, а тут

*Матерь Божья (польск.)

**Речь о книге «Несколько нежных дней», М., «Изограф», 2000.

мне предлагают ходить босыми ногами по углям моей биографии! Аркадий, что такое, а? Является этот следователь в юбке... пардон, в джинсах... и устраивает мне допрос с пристрастием!

— Это она умеет. Она еще не такое умеет! — хохотнул Аркадий. — Нет, Стас, ты уж отвечай.

— Ясно, два следователя! Сладкая парочка! Тогда водки налейте и пожрать еще дайте. Да и в конце-то концов, — продолжил, наблюдая, как это исполняется, — всё и все перед тобой, милая пани. Смотри: как было у нас до того — вот наш друг Сашка, это с него началось, а как стало после, после, но чуть по-другому — вот я, художник, а как теперь — вот наш друг Аркадий и с ним ты. Давнее прошлое, просто прошлое и настоящее. Мы, поделенное на троих. Он — Сашка, он — я, и он — он. Каждый в своём времени. Чего ж не ясно?

— А, поняла! — сказала Кристина. — А я-то думаю, что-то вы похожи, хотя и чуть разных возрастов... Значит, так. Значит, вот кто к нам пришел на сей раз!

— Ты догадливая прелесть! — озорно кивнул Стас. — Уменьшечка бестия. И без брака. Это я тебе как художник говорю. Я, знаешь ли, брак сразу вижу, и внешний, и духовный. Глаз у меня такой. Глаз — ОТК, то есть отдел технического контроля, как говорили в вашей державе. Так вот, ты — без брака. Слышишь, Аркадий? — повернул голову к хозяину.

Тот согласился:

— Слышу и вижу, причем давно.

— И не устал — с давно? — лукаво усмехнулся Стас.

— Пока нет, — с той же интонацией произнес Аркадий, а Кристина проговорила будто самой себе:

— Забавно, когда тебя обсуждают мужчины, причем не за твоей спиной, а так, будто тебя здесь нет.

— Заметь, свои мужчины, — уточнил Стас. — За это стоит выпить, за своих.

Выпили, после чего Саша поднялся:

— Я за пельменями в кухню. Должно быть, готовы.

— Стоп, это я сама! — опередила его Кристина. — В большое блюдо переложу, а то опять в кастрюле принесешь и прямо так на стол поставишь.

Аркадий только поднял руку: дескать, пусть хозяйка делает по-своему

Она и сделала — через минуту было готово. Опять выпили, закусили. Мужчины закурили, испросив разрешения у дамы. Дама позволила, но встала и приоткрыла форточку. Потом спросила Стаса:

— Скажи, а ты где обитаешь — там же, в Париже?

Он ответил после некоторой паузы:

— И там тоже иногда. А вообще-то в Мюнхене.

— Один?

— Ты опять за своё? — догадался он, о чем речь (верней, о ком). — А ты что, не поняла? Ты всё о ней? Она — тут, в России, со своими, с мужем и сыном. А я — там, один. Художник должен быть голодным, и это касается не только жратвы. Да, так. Должна быть мечта... и даже не мечта, а тяга к абсолюту, к гармонии и тайне. Ты что, не поняла?

Кристина вздохнула:

— Да поняла, поняла, но жалко все-таки!

— Не путай жизнь и искусство, — назидательно произнес Стас. — Не мешай одно с другим. Это как желток и белок в яйце — всё должно быть отдельно, если это натуральное яйцо, которое из-под курицы, а не яйцо всмятку.

— Красиво говоришь! — закивала Кристина, но тут подал голос Аркадий:

— Красиво — не столь важно. Важно — правильно. Да, Саша? Чего молчишь?

И в этот момент раздался звонок.

В дверях стоял мальчик лет десяти.

Аркадий пропустил его в коридор, и тут же появилась Кристина:

— Ой, это... Это наш сосед со двора? Кажется, я видела его пару раз, когда возвращалась домой. У нашего дома. — И мальчику: — Ты из нашего дома, да?

Мальчик молчал, переводя взгляды на взрослых, с одного на другого. Аркадий мягко подтолкнул его в комнату:

— Проходи. И куртяху снимай. Вот так, проходи, садись к столу, не стесняйся, тут все свои. — И когда тот уселся, как бы подытожил: — Вот, теперь мы все в сборе.

— Да? Не понял! — удивился Стас.

— А я вроде понял, — проговорил Саша, однако не слишком уверенно. — Если это он, то здорово изменился. Или наоборот: это я изменился.

— Этого мальчика зовут Лёша, — ничего не объясняя, сказал Аркадий. — А это... — И назвал по именам всех остальных. — Кристи, подай Лёше тарелку, положи ему пельменей и налей стакан сока, а лучше кока-колы. Ты ведь никогда не пробовал кока-колы, Лёшка, да? Вот и отлично, поешь, поешь, попей, это вкусно.

Мальчик Лёша стал есть, сначала чувствуя себя неуверенно, явно стесняясь, но вскоре пообвыкся. Отхлебнув кока-колы, фыркнул: «Гуталином пахнет, но вкусно». Взрослые усмехнулись, а Кристина всё пыталась ухаживать за ним, подкладывая в его тарелку что-то из того, что было на столе. Мальчик проговорил с набитым ртом:

— Да я не голодный, тётя, спасибо, не надо больше.

— Тётю зовут Кристиной, а проще — Кристи, так и обращайся к ней, — спокойно поправил его Аркадий. — И хорошо, что ты объявился, а то мама волноваться будет. Дом хоть и наш, но ты далеко забрел. Однако нашел меня, это правильно, что так вышло... Ладно, доедай, допивай и рассказывай, мы слушаем тебя. Да-да, нам надо знать это, надо. Понимаешь?

— А где его мама? — Сердобольная Кристина уловила главное для себя.

— Там, — Аркадий указал куда-то в сторону и вверх, потом глянул на нее: — Или там. — И кивнул на одну из полок с книгами*. — Там, Кристи. Все и всё на своем месте. Да?

Кристина только прикрыла глаза. Это могло означать: не поняла, но да будет так.

А вот Стас и Саша, похоже, что-то поняли. Нет, скорее почувствовали. Не про книгу, которая на книжной полке, а про маль-

*Имеется в виду книга «Тёплый переулочек», М., «Грааль», 1998.

чика. Возникла непривычная после довольно шумного застолья тишина. Лёша отёр салфеткой рот и начал говорить:

— Вечер, что ли? Мне пять лет. Пять, да, это хорошо помнится... Значит, вечер, абажур зелено светится, что-то я делаю, что-то мама. Папин брат дядя Паша тут же... Звонок в дверь, открывать идет Паша, а я слеую за ним, и вот на пороге — двое, двое в одинаковых плащах.

Потом эти двое уже в комнате, сидят рядышком, одинаковые, в одинаковых костюмах, говорят, помнится, мало, мама с Пашей за столом с ними как каменные. И пока всё спокойно, никакой тревоги, и что-то я делаю, а что, теперь не помню.

Но вот, будто что-то решив, те двое встают и открывают дверцы нашего пузатого буфета. Мама с Пашей каменно сидят, а они открывают и смотрят. Молча. Не стесняясь, но тактично. Это хорошо помнится. Что-то им там, в нашем буфете, надо найти. Что-то такое, о чем мама с Пашей, видимо, забыли... ну да, позабыли, засунули куда-то когда-то, а теперь позвали этих двоих, чтобы они помогли. Понятно.

Они ищут. Спокойно, тихо, почти шепотом переговариваясь изредка. Коротко кивая друг другу.

Интересно. Это становится уже интересным — то, как они ищут. Это уже игра. Я сижу в углу на диване и во все глаза смотрю на их игру. Аккуратно вынули все банки из буфета. Много стеклянных банок. Поставили на стол. Весь стол в банках. Буфет опустел, по его стенкам теперь бродит кругляшек фонарика, вверх-вниз, вправо-влево... Неужели мама или папа... или Паша так далеко что-то запрятали?.. Тихо, никто ничего не говорит, только короткие кивки...

Нет, в буфете *того* нет. Кажется, теперь всем ясно: нет! Тогда те двое, отойдя от буфета, становятся у стола под абажуром. Смотрят на батарею банок. Потом открывают по одной. Интересно. Вот это игра! К банкам с крупой и вареньем мне никогда не позволяли прикасаться, помнится, а они... они спокойно открывают.

Мама идет в кухню и возвращается с несколькими пустыми банками. Интересно. Вот это игра. Пшенная крупа, золотясь под абажурным светом, медленно, аккуратно перетекает из своей банки в пустую (одну из тех, что принесла мама), а затем — об-

ратно в свою. Тихо. Крупа шуршит, перетекая. Все молчат. Ищут. Чего? Вот это игра!..

Теперь очередь за вареньем. С вареньем тяжелее: оно булькает, тянется комочками — то скорее, то медленнее. Пару раз, помнится, комочек непослушно булькает на скатерть. Мама отчего-то не сердится, сидит каменно, будто без глаз, и на извинения не реагирует... Течет варенье, туда-сюда, из своей в пустую и обратно. Вот это игра!

Потом будто провал (полчаса? час?), и они, те двое, уходят. Паша их провожает до двери, а мама сидит каменно перед стро- ем банок, мерцающих на столе с заляпанной скатертью... Так что же: нашли или не нашли? Не нашли, видно: вон как мама расстроена!.. И еще, помнится, мысль: почему папа не приходит так долго? Уже давно вечер, уже давно ему положено быть.

Потом опять провал — полчаса? час? На меня обращают внимание. Вспомнили. Отправили спать. И опять эта мысль, уже в кровати: почему папа не приходит так долго?.. И тут — совершенно невероятное, неизвестно, откуда взявшееся и каким образом родившееся в том моем пятилетнем, мозгу: *он сегодня не придет. Он не придет уже никогда!..*

Опять провал: месяц, два или больше? Да, кажется, почти год прошел, и вот...

— погоди, Лёша! — останавливает мальчика Кристина. — погоди, я сейчас.

Она скрывается в ванную, Аркадий это понимает, и потому говорит остальным:

— А не продолжить нам наше застолье? Заполним паузу, да? Ты извини, брат Лёша, мы, взрослые, выпьем, да и ты глотни кока-колы, или гуталина, как ты ее обозвал.

Так и сделали. Вскоре вернулась Кристина с сухими глазами, села, проговорила, как ни в чем не бывало: «Вот и я», и Стас кивнул мальчику:

— Продолжай!

Тот тоже кивнул, отхлебнул из стакана, отер губы.

— Кажется, год прошел или около того. Опять вечер, и аб- жур зелено светится, и всё по-старому, только папы давно уже нет, и мама с Пашей суетятся, носят из кухни блюда, тарелки, вазы, ставят на стол. Значит, будут гости, и только мама глядит

каменно, а от Паши и вовсе не добьешься слова. Но вот звонок в дверь, и являются двое (опять двое), но другие двое, теперь веселые, шумные, с нахально-молодыми глазами, и не в серых штатских плащах, а в зеленых военных, которые тут же скидываются в коридоре, являя на обозрение ласкающую взор зеленую форму с портупеями, и эти кожаные портупеи лоснятся под домашним зеленоватым светом.

Квартира вмиг наполняется шумом, грубоватым смехом, скрипом мерцающих черным хромом сапог. Мама с Пашей пытаются соответствовать, улыбаются, ответно смеются, но, помнится, делают это все-таки через силу, и это заметно. Это помнится, хорошо помнится, это опять игра, только уже неинтересная.

А я где? Я где-то в сторонке, я не мешаю, я послушный мальчик, я всегда был послушным. Я сижу на диване и смотрю на этих лейтенантов в форме внутренних войск, голубоглазых, желтоволосых, со стрижкой «под полубокс», на их хмельную веселость, широкие хозяйские жесты, такие, что и вправду не разобрать, кто тут гости, а кто хозяева. Они, лейтенанты, — хозяева, это ясно, они — наше настоящее и будущее в форме внутренних войск. Они веселые и сильные, и от них (вдруг является опять невероятная и необъяснимо как родившаяся в пятилетнем мозгу мысль), именно от них почему-то зависит папина судьба... ну, может быть, не вся судьба, а что-то частное, только сегодняшнее, сиюминутное... Паша глупо смеется, неестественно громко, он сам на себя не похож, подливает в рюмки, предлагает тост за тостом, и они, лейтенанты, весело пьют, и всё громче за столом, но всё как-то неинтересней, неинтересней...

Потом, через полчаса или час, один из лейтенантов, неуклюже громыхнув локтем по тарелке, резко отворачивается от стола, скрючивается неловко и выпускает долгий фонтан рвоты, желтоватый под абажурным светом, и эта масса, обдав синие брюки и черные хромовые сапоги, уже растекается по линолеуму, Паша застывает, мама вскакивает, говорит на ходу, успокаивая: «Ничего, ничего, это бывает!» — и бежит в кухню за тряпкой. «Ах, ничего!» — повторяет, возвращаясь, и вытирает пол, ползая на корточках. И опять, помнится: «Ничего, ничего!...»

Всё смешивается, крутится-вертится, второй лейтенант, которого еще не рвало, тяжело пытается поддерживать первого, которого уже вырвало, а Паша предлагает: «Давайте положим его на софу? Давайте, ну чего стесняться! Кладите, кладите с ногами! В сапогах, ничего-ничего!» И они кое-как укладывают первого лейтенанта на мамину кровать (еще недавно — мамину и папину), и там он, в сапогах, тяжело дышит, время от времени свешиваясь в рвотных конвульсиях, а мама, помнится, всё повторяет, ползая на корточках и подтирая: «Это бывает, ничего, ничего!..»

И еще через полчаса или через час: опустевшая квартира, от лейтенантов остается, помнится, тяжелый тошнотворный дух, и мама с Пашей каменно сидят за грязным столом, где под абажуром поблескивают бутылки, рюмки, вазы для салатов и фруктов, исчезнувших в молодых глотках. И кучки загашенных папирос с очень, помнится, длинными мундштуками...

Потом новый провал: неделя, две? А может быть, месяц, два? Уже не помню. Но помню вот что.

Опять Паша и мама, и куда-то мы едем. Сначала — зябкая электричка, потом зябкий автобус с газовским капотом, шофер в телогрейке, с "беломориной" в углу рта всю дорогу... Потом путь через долгое поле по раскисшему проселку, куда-то вверх, точно в гору, и, помнится, часто мелькающее в разговорах мамы и Паши слово-название: Дмитров, Дмитров, Дмитров... Это горючок такой, становится мне понятно.

Потом, еще через час, — глухой железный забор с тяжелыми воротами и охранником с винтовкой, потом — помещенье сыроватого дерева, одно окно сбоку, узкий деревянный стол посередине, почему-то перегораживающий по всей длине это помещенье на две узкие части с отдельным входом в каждой из них, один против другого... Мы трое — через один, а папа — через другой, садимся за стол, стол между нами, упирается противоположными концами в противоположные стены...

Потом (еще через полчаса? час? да нет, теперь ясно: часа не было) я сижу у папы на коленях, по ту — *его!* — сторону стола, папа обнимает меня, а сам быстро и властно что-то говорит маме и Паше, а они молчат, только иногда кивают, а папа говорит быстро и властно.

Сбоку, на табурете у двери (через которую вошел папа), военный в ушанке. Я, помнится, иногда посматриваю на него, но он меня не видит, глядит скучно куда-то в окно, будто его здесь вообще нет... Потом папа передает меня через стол маме, встает и застегивает телогрейку. Мама с Пашей тоже поднимаются, а я стою около них, глаза мои почти на уровне стола, и я, помнится, гляжу на папу, еще, конечно, не понимая, что больше глядеть на него мне не придется...

Наверное, поэтому я его и запомнил плохо в тот момент. Помню лишь, как он долго возился с пуговицами на телогрейке. Как поцеловал маму. Как потом молча жал руку Паше. И как военный в ушанке повторял, глядя в потолок: «Всё, всё!..»

— Да, действительно всё, я помню, — вторя мальчику, проговаривает Саша, а Аркадий делает какой-то знак Кристине и обращается к Стасу:

— Пошли на балкон, покурим, чтоб не при ребенке.

Они уходят, а Кристина с Сашей остаются с мальчиком Лёшей. Они тут помоложе, чем Стас и Аркадий, которые вышли на балкон.

А те закурили, стоят, облокотившись о поручень.

— Ты его совсем не помнишь?

Стас резко выдохнул табачный дым:

— Сейчас вспомнил. Когда он рассказывал. Но смутно. Я не хочу помнить об этом. Потому и забылось. Отделилось от меня. Как и вся жизнь в этой стране. Меня с ней связывает только Танька. Моя-не моя Танька. Зараза!

— Какая ж она зараза, если это судьба? — усмехнулся Аркадий.

— Похоже, так.

— Знаешь, тот твой календарь, где она на каждой странице в твоём исполнении... тот календарь видела моя Кристи.

— Здравсьте! Я ж Таньке дал слово, чтоб здесь никому!

— Брось, Стас! Ты ведь сам понял, и она тоже поняла, что это бесполезно — скрывать. Потому что теперь она принадлежит всем, это искусство. Наше вечное «прощай и здравствуй». Кристи это тоже поняла, про тебя и Татьяну.

— Ну, так, ладно, так.

— Ты ее давно не видел?

— С тех пор. Похоже, так и будет: жить без нее, но с ней, а с ней — только в моей живописи.

— Это много, между прочим. Как Симонетта — вечный персонаж в разных обликах.

— Да... Вот придешь ко мне в Мюнхен, увидишь в моей мастерской на стенах — сплошная Танька... Э, вот что, кстати! О деньгах. Я хочу дать тебе денег, ибо у меня их до хрена. И не отказывайся, понятно?

— Я еще и слова не сказал, не горячись. А ты что, разбогател?

— Хрена лысого, разбогатеешь с ними, буржуями!.. Да нет, всё нормально. Купили несколько картин, а недавно я заключил хороший контракт на роспись нескольких залов в галерее Альбрехта. Это там же, в Мюнхене. Известная галерея. Мое там дело — выполнить фрески и панно, однако — вот на что я клюнул! — в стиле пуризма. Знаешь, что сие такое?

— Нет.

— И хорошо, и не надо, ибо хренота всякая, но... но интересно попробовать. Интеллектуальное искусство, понимаешь ли, четкие геометрические формы!.. В общем, подписал договор, получил очень приличный аванс. Короче, полно денег. И будет еще больше. А куда их девать? Купить свой дом? Нет, никак: купить-то можно в рассрочку, однако содержать его в моей милой Баварии, это всё равно, что купить два дома. Не проходит. У меня съёмная квартира почти в пол-этажа, с мастерской, залой для банкетов или просто посиделок. Зачем мне свой дом, который, тем более, содержать надо, что очень дорого, повторяю. Нет, мне своего хватает, того, что уже имею. Посему — вот и деньги образовались. А куда их девать, если вкладывать не хочу? Значит, короче... Короче, переведу на твой счет, понял? Всё, замётано! Найдешь, куда потратить.

— Хорошо, найду, — неожиданно быстро согласился Аркадий. — Спасибо, тронут.

— Да брось ты, тронут! А как между нами иначе? Никак.

— Да, никак.

Помолчали. Стас примерился и бросил окурок, но не вниз, а щелчком вперед, так что, падая, тот описал долгую параболу.

— Ты как был мальчишкой, так и остался. Мама правильно говорила — всегда мальчишка! — хмыкнул Аркадий.

— Мама, да... Давно на кладбище был?
— Как всегда, в ее день рождения.
— Хорошо. А плиту поставил, как планировал?
— Давно.
— И что там написано?
— Просто. Маме от детей — Лёши, Саши, Стаса.
— А почему еще не от Аркадия? Себя забыл?
— Не забыл. Но я — сверх вас. Или я — это все вы сразу, но отдельно.

— Ладно, так. Но всё равно, боюсь, мама не поймет, запутается. Скажет, был у нее один сын, а тут сразу три.

— Не запутается, я ей объяснил. Объяснил, что раздвоил нас, точнее — разтроил, и каждого оставил в своем времени.

— Ты чудесник, любимец богов!

— Какой я чудесник, хронолог всего лишь. Хронист-психолог, пускающийся в диалоги с историей. О том и пишу, описываю. Кто-то называет это фантастическим реализмом, кто-то и вовсе историческим сюрреализмом. А на самом деле чем я занимаюсь? Слушай, цитирую: «И я ответил, что не занимаюсь ничем, просто живу, и всё, потому что все остальные занятия гроша ломаного не стоят».

— Понятно, — кивнул Стас. — Что ж тут не понять, если так. Если случилась жизнь... — И добавил, помолчав: — И я так, только на холсте, или на картоне, или на листе ватмана, или по сырой штукатурке, если о фресках.

— Да, так, знаю... Ладно, пошли в комнату, а то тут прохладно. И там наши, они ждут.

Однако там был один Саша. Он и объяснил:

— Мальчик Леша собрался домой. Сказал, мама искать будет, если он задержится. А Кристина решила его проводить, а то уж вечер, темно.

Аркадий покачал головой:

— Это на нее похоже, участливая девочка. Однако как это у нее получится — проводить?

— Не понял! — Стас поднял брови. — Что тут такого, что — как получится?

— А просто: из одного времени в другое. Как это получится.

— Да ну тебя, Аркадий, не усложняй! Если женщина нормальная, не пропадет.

— Это не твоя Танька, которая нормальная, с этой иногда случается всякое. Напридумает себе что-то, поверит в это и...

— Ладно, это твои с ней проблемы, — отмахнулся Стас, — а моя проблема сейчас — чаю хочу. Еще водочки, а потом сразу чаю, обмыть горяченьким родной желудок! Поставь чаю, старик. А я водку разолью. Что-то я не допил еще. То есть не добрался до положенной дозы.

— Не слишком ли велика твоя доза? — полюбопытствовал Саша с долей иронии.

— Да мы и бутылки не выпили, на троих-то! — был ответ. — Разве это дело? Не дело, не по-нашему.

Аркадий понятливо усмехнулся:

— Ясно, наливай, а я в кухню, чай поставлю.

— Только покрепче завари! — напутствовал Стас. Но тут объявилась Кристина.

Щелкнул замок в двери, потом двойной звук «молнии» на сапогах (дзык-дзык), и вот она вошла в комнату.

— Dzień dobry, хотя вообще-то Dobry wieczor! — прозвучало спокойно. И Стасу, с улыбкой: — Это по-польски — привет!

— Да ну? — деланно удивился он. — Вот оно как! А я и не знал, спасибо.

— Да не за что. Это я к тому, чтобы ты не выпендривался, граф Малецки.

— Впредь не буду. Если отдашь попозировать.

— Не дожدهшься! — Кристина вскинула остренький подбородок. Прямо как мальчишка.

— Хватит вам пикироваться! — остановил их Аркадий. — Кристи, как вышло? Как с мальчиком?

Она стала объяснять:

— Ничего не поняла! Ну, то есть сначала ничего не поняла. Но потом поняла... Вышли во двор, всё нормально, идем к его подъезду, а это с другой стороны дома, ну, так он сказал. Только подошли к углу, чтобы завернуть, значит, за угол, и тут... тут Лёша говорит мне: «Ты, Кристи, постой здесь, дальше со мной не ходи, дальше я сам, а тебе нельзя». Как это — нельзя, поче-

му? А он: «У твоего Аркадия спроси, он знает». Ну, я стала как вкопанная, потому что ничего не поняла. Ничего не поняла, но почему-то остановилась. А он, Лёша, пошел дальше, завернул за угол, и всё. Через несколько секунд я выглянула туда, и — никого. Возле того подъезда — никого. Темно кругом — и никого. Значит, он успел войти в подъезд, понимаю. Так? Ну, я успокоилась, и тогда до меня дошло: он вошел в свой подъезд и в свое время. Так, Аркадий? Ведь тот самый подъезд, он с улицы закрыт, и вход туда со двора, так? Значит, если с улицы он вдруг оказался открыт, то...

— Да, — досказал Аркадий, — да, тот подъезд, который выходит на улицу, он закрыт, причем очень давно, а когда-то в детстве у нас был двойной вход-выход — и с улицы, и со двора. Удобно было, правильно, не то что теперь. Помнишь, Саша? Ты ведь еще застал то время, кажется?

Саша кивнул:

— Да, застал, хорошо помню. Если гулять, так сразу во двор, а если в школу, то прямо на улицу, а когда поступил в институт, то прямо к троллейбусу. Удобно было, правильно.

— Вот я и говорю, что потом кое-что поняла, — повторила Кристина. — Что Лёшка ушел в свое время — в ваше, алкоголики, детство. Всё пьете, не надоело?

— Надоест только занудная женщина, а не водка, — сделал заключение Стас. — Это я не про тебя, Кристи, а про вообще. Так что у нас с чаем, Аркадий?

— Я сама заварю, сама! — опередила Кристина. — У меня это лучше получится. Хоть что-то делать лучше я умею, кажется.

Мужчины улыбнулись вслед ей, ушедшей на кухню.

— Правильная женщина, — сделал новое заключение Стас и кивнул на бутылку: — Еще по рюмочке, братцы?..

Уже когда пили чай, Кристина спросила:

— Ну так что он — мальчик Лёша?

— Что? — Аркадий сделал очередной глоток и вытянул сигарету из пачки. — Что наш мальчик Леша?.. У него было сломанное детство, Кристи. Арест отца. Как его брали, Лёша не видел, слава богу, а вот обыск видел, и по-своему видел, как ты убедилась. Как мальчик пяти лет. Потом им разрешили свидание в лагере под Дмитровом, где сидел отец. Там он и погиб. А

как погиб, неизвестно. Может быть, действительно умер от невесты откуда взявшегося у него туберкулеза, о чем потом сообщили маме. А то свидание с ним на зоне, оно было коротким, да. Но и оно запомнилось Лёше на всю жизнь. Такое детство, с клеймом в памяти. Но это еще не всё.

— Еще что-то было в том же роде? — Кристина сглотнула комок в горле.

— Еще, еще и еще, — протянул Саша, вздохнув, но затем усмехнулся и почему-то сочувственно глянул на нее, а Аркадий продолжил почти бесстрастно:

— Потом было «дело врачей», если тебе, Кристи, известен сей факт из нашей истории.

— Известен, — с ходу утвердила она, — перед смертью Сталина.

— Правильно, конец 52-го — начало 53-го. По этому «делу врачей» пострадала и мама. Спасибо, ее не арестовали, а, как и многих сотрудников, уволили из клиники и готовились сослать в город Сердобск, что в Пензенской области, и не одну, а с семьей. Но после ареста отца, в семье оставался только сын — наш мальчик Лёша. Вот вместе с ним маму и готовились сослать, да помог счастливый случай. Если он счастливый, конечно. Впрочем, это описано, прочтешь потом. А в марте умер Сталин, и «дело врачей» благополучно завершилось, рассыпалось, прекратилось, всех арестованных выпустили, а готовившихся к ссылке и депортации никуда не переселили. В общем, умер злодей или ему помогли умереть, этому опасно дальнему-мыслящему человеку, как о нем сказал Рузвельт. Умер или ему помогли умереть, об этом история умалчивает, однако память осталась. Не странно, что она осталась и у Лёши. Тогда ему было восемь лет, и он на всю жизнь запомнил то, что творилось в те месяцы. Еще не зная о многом, он многое узнал. Неким разумом чувств — бывает такое с детьми. Знаешь, как сказала Цветаева: «Что знаешь в детстве, то знаешь на всю жизнь». — Аркадий помолчал и затем повторил: — Да, то знаешь на всю жизнь... Ладно, дальше.

Дальше — так. Когда он стал подростком, а точнее, когда юношей вступил в новый период жизни, его, шестнадцатилетнего, пытались сломать еще раз, однако он не сломался, хотя...

хотя новый рубец на душе тоже остался. Как это было? Он полюбил. Нет, та девочка, его первая любовь, она была чудесной девочкой, редкой, она Лёшу тоже очень любила, поэтому дело не в ней. А в ком? В его учительнице. Это отдельная история, по-своему трагичная, причем трагичной она стала для них обоих — Лёши и той его учительницы. Это тоже описано, это было достойно описания, потому что в той истории оказались замешаны, связаны одним узлом не только учительница и ученик, но еще его мама — наша мама — и один известный поэт, погибший в Отечественную войну. Высокая печаль в том, что этого поэта, когда он был еще старшеклассником, полюбили две его одноклассницы, а он ответно полюбил одну из них, будущую Лёшину маму, а вторая не могла им этого простить — ни поэту, ни своей подруге-сопернице. Потом — война, поэт погиб, а та, вторая, так и не могла простить первой, то есть маме, не могла простить, это засело в ее душе на всю жизнь, и когда через годы появилась возможность отомстить, стала мстить. Через сына, через Лёшу. Впрочем...

Аркадий подошел к книжным полкам и достал книгу в мягкой обложке. Протянул Кристине.

— Впрочем, зачем я тебе всё это рассказываю, если можно прочитать? Если есть желание.

— Есть, есть, — откликнулась она и спрятала книгу* за спину.

— Только учти, это не слишком веселое занятие.

— Не слишком веселое, это мягко говоря, — тихо произнес Саша. — Я потом понял...

— Что понял? — обернулся к нему Аркадий.

— Что? Что там трагедия для всех, а не только для меня... то есть Лёши. Для каждого по-своему, для каждого — своя.

— А то, что та его учительница, если по большому счету, даже с позиций медицины, то, что она все-таки паранойяльная личность, не меняет дела? — Аркадий произнес это с усмешкой, и так, будто испытывает Сашу. — Может, ей поделом досталось?

— Не знаю, может, и поделом, но мне ее жаль. Всё равно жаль, даже если там были признаки паранойи.

* Речь об упомянутой книге «Тёплый переулочек», см. сноску выше.

— Это что за достоевщина? — подал голос Стас.

— Достоевщина, вот именно, — покивал Аркадий. — На этой достоевщине, считай, половина детской психологии построена. Ломка. Педагогика и психика подростка... Впрочем, — вдруг хлопнул себя по коленям, — впрочем, мальчик Лёша выправился. Да, Саша?

— Кажется, да, — помолчав, произнес Саша. — Я всегда помнил мамины слова: «Счастье — жить, но не самому, а со всеми». Конечно, так. И всегда искал родных мне людей, особенно после смерти мамы.

— И терял их, — твердо произнес Аркадий. — Судьба.

— Судьба, судьба! — иронично проговорил Стас и поднялся из-за стола. — Опять слова, слова, слова! Ну вас к черту, братцы, пойду-ка я прилягу.

— Добрал свою дозу? — хмыкнула Кристина. — Иди, приляг, только не храпи.

— Добрая ты девочка! — Стас тяжело оперся на ее плечо, следя мимо. — Аркадий, где ты такую нашел? А вашей-то названной куче?

— Это я его нашла, — на полном серьезе поведала Кристина. — Очень голодной была и вдруг узрела того, кто меня накормит. И точно, накормил.

— И чем ты за то расплатилась? — ухмыльнувшись, спросил Стас уже в дверях.

— Именно тем, о чем ты подумал. Девственностью. Когда те-ряешь ее любя, это такое чудо!

Стас пьяно захохотал, а Аркадий и Саша улыбнулись.

— Да-да, — не унималась бесхитростная Кристина, — тебе, жителю богемы, такого не понять. Иди спать, короче!

— Ладно, пошел, а то пьян-с, да. — Стас поднял руку на прощанье. — Аркаша, я все-таки нарисую ее как-нибудь. Надо сохранить для истории уникальный экземпляр потерявшей девственность.

— Отличная мысль! — кивнул Аркадий. — Так и назовем картину — «Любовь без юмора». Иди, маэстро, ложись на мой диван, там плед в головах, укройся. И спи спокойно, тебе завтра в аэропорт до твоего разлюбезного Мюнхена, фрески творить для галереи Альбрехта.

— Ё-моё, и как это ты всё помнишь, а я-то уж и забыл! Фрески, значит!..

Они остались втроем — Кристина, Аркадий, Саша.

— Так я о судьбе, — напомнил Аркадий. — Значит, такое детство, такая юность. Тебя сделали потери. Благодаря им, ты многое понял. Банальные слова, но это так.

Саша повел плечами:

— Возможно.

— Возможно! — Аркадий пересел в кресло у дивана. — А кстати, поведай-ка нам вот что. Как она пропала, та твоя первая девочка? Я только знаю, что ее вдруг не стало с тобой. Именно вдруг. Смешно, но много лет спустя мне даже сделали замечание в ходе подготовки к изданию той повести про Тёплый переулок. Дескать, как это так — была девочка, была такая любовь, и вдруг только упоминание, цитирую: «Потом, когда ее не стало рядом...» И я не мог ответить, как это так. Потому что сам не знал, а придумывать не хотелось. Но пришлось. Ибо действительно непонятно для читателя: была — и исчезла. Ну хоть что-то сказать надо! И я придумал вот что.

Аркадий вытянул из-за спины Кристины свою книгу, нашел нужное место и зачитал вслух:

— *«А что же Кирюша? Спустя год после окончания школы, студенткой, она вышла замуж за какого-то физика — неожиданно, причем не только для Лёши, но, кажется, и для себя самой. Вышла замуж и уехала, а куда, он толком не знал, потому что не было желанья интересоваться... Помнил еще, как напоследок хватило сил пошутить: «Имея выбор между биологом и физиком, всегда предпочту последнее» — на что она, обняв его, прошептала: «Ты не прав». Что это значит, Лёша не понял. Зато понял другое (конечно, когда подостыл): что благодарен ей за всё, что она успела ему дать».*

Аркадий захлопнул книгу, и тут Саша, который, как заметила Кристина, и улыбался-то редко (за этот вечер или вообще?), вдруг рассмеялся:

— Брат Аркадий, а ты оказался прав! Как в волшебное зеркальце подглядел, ей-богу!

— Что не странно. Ладно, так что было потом, дальше? Ты ее, Киру, так и не видел с тех пор?

— Видел, — ответил Саша. — Один раз, через пять лет.

— И как это было?

— Как? Вот как.

И он начал рассказывать:

— В тот год, уже после окончания биофака, я, молодой мэнэ-эс, был, так сказать, награжден шефом поездкой на научную конференцию в Новосибирск, в тамошний Академгородок. Всё хорошо, остался доволен, тем более в первый раз оказался в Сибири, хоть и зимой, в приличные морозы. Лечу обратно, рейс был прямым до Москвы, но тут объявили, что по метеоусловиям делаем незапланированную посадку в Свердловске. Сели в Кольцове, погода действительно дрянь, сильный снегопад, а еще чуть ли не шквалистый ветер. Сели, сидим в длинном стеклянном параллелепипеде аэропорта, а сколько ожидать, неизвестно — на табло застыло объявление: вылет задерживается по метеоусловиям, а на сколько задержка, уже не написано. Так прошло несколько часов.

Что делать в нудном ожидании? Читать журналы, слоняться по залу, опять читать, опять слоняться, ходить в отведенное место для курения, или в туалет, или в бар, где встояка можно выпить кофе. Еще надо не забывать предупреждать соседа или соседку по креслу, чтобы посторожили место, пока ты пошел прогуляться. Конечно, портится настроение, наваливается усталость от ничегонеделанья. И главное, привязан к этому залу, поскольку посадку на рейс могут объявить в любой момент, это уже было с другими задержанными рейсами — поэтому невольно прислушиваешься к объявлениям. В общем, тоска, вскоре уже ничего неохота, ни читать, ни слоняться. В сон тянет, тем более поздний вечер, а еще разница во времени.

Как-то я потерялся в этом странном времени и неожиданно для себя задремал. Спасибо еще, перед тем успел предупредить соседа слева от себя, чтобы он меня толкнул, если объявят наш рейс.

Сколько прошло, не помню, я очнулся, глянул налево, где сосед, а его там нет — какая-то дама сидит на его месте. Меня как током прошибло — забыл разбудить, сам поспешил на рейс, а про меня забыл! — но тут та дама, которая слева, развернулась ко мне, и я обомлел. Кирюша!

Лучится глазами, улыбается ласково и зовет долгим шепотом, как давно, как шептала только она:

— Лёш-ш-ша!

И тут же — как наваждение, как память той давней поры: этот ее долгий шёпот, и почему-то острее всего я чувствую смоляной запах, а дальше, несмотря на гул сердца, слышу, как где-то в вышине слегка сдвинулись сосновые ветви, сдвинулись и точно поплыли вместе с нами, прижавшимися друг к другу и к этому большому, сонному стволу. И снова Кирюшин шепот, тот, давний,:

— Ты когда-нибудь так целовал женщину?

— Нет...

Тогда женщине было пятнадцать, мне шестнадцать...

Это я слышу и прихожу в себя. Кирюша! Надо бы спросить: ты откуда? как? — а я молчу. Тогда она говорит, уже не шепотом (он устался там, *там!*), а просто ласковым голосом:

— Ну, здравствуй, Лёша. Как хорошо, что мы встретились, нашлись. А про рейс не беспокойся, его — твоего — еще не объявляли. А сосед твой куда-то сгинул, вот местечко освободилось, и я присела рядом. Ты мне рад?

Значит, ясно. А что ясно? Ну, рейс я не проспал... да черт с ним, рейсом, а вот Кирюша откуда? Это никак не ясно.

— Рад, — говорю, — я всегда тебе рад, был и есть, а вот ты откуда?

Она берет меня за руку, смотрит в глаза. Ее глаза совсем не изменились. А мои?

— У тебя глаза изменились, — говорит она. — Будто в них тоска. Ладно. Ты что, как? Кем стал?

И тут я спрашиваю недоуменно:

— Это ты мне говоришь, ты? Вот я, который тот же, а кем стал — какая разница! Токарь, пекарь, аптекарь, сапожник, портной! Разве в этом дело? Раньше ты это понимала.

Кирюша сжимает мне руку и опять улыбается, а потом трется носиком о мое плечо:

— Лёша, Лёша! Ты что раздражаешься, зачем? Я всё знаю, и я всё та же, и ты тот же. Успокойся, всё хорошо. Так ты как здесь, куда?

— На запад, в Москву, домой, вынужденная посадка.

— А я на восток, — сообщает она, — во Владивосток, тоже домой, тоже вынужденная посадка.

— Значит, мы в разные стороны света. Опять.

— В разные, но света же! А вот встретились, пересеклись. Где-то между Европой и Азией. Надо было сотворить такие метеоусловия, чтобы мы встретились, пересеклись. Это не так сложно, если очень захотеть. Вот я и захотела. И вот ты. И я тебя нашла в этом огромном мире, в этом зале. Сидит мой Лёша и спит себе, спит.

— Ты что такое говоришь, Кирюша? — не понимаю я. — Это ты сотворила эту погоду, вынужденную посадку, нашу встречу? Ты что? Чертовщина какая-то!

— Нет, родной, никакая не чертовщина, если очень захотеть. — И вдруг совсем о другом, будто возвращая меня в реальный мир: — Как у тебя дома, как мама?

— Мама умерла, три года назад.

— Вот как! — Кирюша прислоняется лбом к моему плечу. — Вот так, значит... Я не знала. Святая была женщина.

— Да, это вышло внезапно, — начинаю рассказывать, чувствуя, что мне надо это рассказать ей, именно ей. — Я еще был студентом, поехал на биостанцию, которая в Белом море, на летнюю практику, и вот — телеграмма от Паши: «Срочно вылетай, с мамой плохо». Вылетай — хорошо сказано! В общем, ушло три дня на то, чтобы наконец попасть домой. Но успел. Помню, мама сказала, лишь увидев меня: «А, это ты прилетел — значит, я умираю». Еще через день ее не стало. В тридцать девять лет.

— И ты остался один, — не спрашивает, а утверждает Кирюша.

— Нет, мы живем вдвоем с Пашей. Пашу помнишь?

— Да, помню, папин брат.

— Да, так. Через несколько лет после того, как мы получили известие о смерти папы, мама и Паша стали жить вместе, у нас, потом поженились. В общем, он стал мне вместо отца. Теперь мы вдвоем. Он свой человек. Странно или нет, но у меня никогда, еще с детства, не было к нему никакой ревности, я это принял — то, что он с мамой. Для меня что главное? Если он ее любит, а мама считает, что он должен жить с нами, то так тому

и быть, это правильно, это наше родство. А то, что мама никогда не изменяла папе, памятью не изменяла, это я знал всегда. Ты это понимаешь?

Кирюша кивает, кивает, потом вздыхает:

— И у меня тоже потеря: бабушка умерла.

Что тут скажешь? Ничего. Молчу. А бабуку Кирюши я хорошо помню. Преинтересная была старуха. Временами она мне напоминала ведьму. Острая на язык, ироничная, несколько экзальтированная, меломанка и балетоманка, вся из себя старорежимная, прямо дворянка, недолюбливавшая большевиков и прочий плебс, чего в кругу семьи не думала скрывать. Странно, что ко мне она относилась хорошо, в отличие от Кирюшиной матери, и тихо поощряла наши тайные встречи, догадываясь, что ее шестнадцатилетняя внучка, еще школьница, вот-вот вступит или уже вступила в тот сладкий мир, откуда она сама давно уже вышла. Как-то они, Кирюша-святая и бабка-ведьма, странно ладили и странно конфликтовали... Значит, умерла бабка, да...

— А твой папа? — интересуюсь. — Выставляется? Как его картины? Они до сих пор перед моими глазами. Особенно твоя картина, твой портрет, помнишь?

— Как не помнить! — Кирюша вскидывает голову, улыбается. — «Портрет дочери». Там мне пятнадцать лет. Представляешь, папа до сих пор не отдает ее мне. Но и не продает, слава богу. Так и висит у него в мастерской. А вообще... вообще он так и не стал очень известным, востребованным, модным, как говорится. Вот буквально вчера, незадолго до моего отлета домой, когда мы беседовали в последний вечер, он вдруг сказал мне: «Знаешь, я хороший художник, но я неудачник. Это от характера. Талант есть, но есть и неумение добиваться, подавать себя. Успех — это не по мне».

Да, это я тоже помню. Помню, что такие мысли приходили мне в голову еще тогда, в эпоху Тёплого переулка, когда я видел его картины, а затем и познакомился с ним, отцом-художником. Кстати, много после той эпохи я рассказывал о нем нашему Стасу и, кажется, они познакомились, и Стас довольно много вынес из тех встреч.

— Да? А я об этом не знал, — удивился Аркадий. — Но продолжай.

— Значит, та встреча с Кирюшей в Кольцово, а аэропорту... Вот мы и выяснили, кто у кого умер, кто с кем живет. Не выяснили только, как там Кирюша в своем Владивостоке. С кем, с мужем? Есть ли ребенок? Где и кем работает? Я не спросил, мне это было не важно. Я видел — она в порядке, она почти не изменилась. Ну, повзрослела, конечно, но осталось прежней. Именно прежней, потому что, как я уверился, она любит меня. Я ей по-прежнему родной, а вместе мы или нет, это не самое главное. Для нее — не самое. А для меня? Для меня родство и она, живая она, она при мне — для меня это важно, это должно быть сразу всё вместе. Может быть, я собственник, а не святой, как она. Я обыкновенный мужчина. А Кирюша, в ней что-то от святости, но что-то и от бабки-ведьмы. В этом последнем я убедился в конце нашей короткой встречи.

Вот она отпускает мою ладонь, которую сжимала всё время, и говорит:

— А мне пора, Лёша, пора. Мой рейс объявили.

— Ничего не объявляли, — утверждаю твердо, — я бы услышал. Не было объявления.

— Не было, но я-то знаю. Мне пора. А вскорости про твой рейс объявят. Только я уйду — и объявят, правда. Так что готовься. — И продолжает говорить, глядя мне в глаза: — А как это прекрасно, что мы встретились. Всё и все должны встречаться, если любить. Я захотела увидеть тебя — и вот, и вот. Надо было только хорошо постараться, чтобы устроить это. Тогда всё получается. А ты такой же, Лёша, конечно, и всё в конце концов придет к тебе, уж поверь мне. А сейчас, если веришь, закрой глаза, зажмурься на полминутки, и я уйду. Давай, родной, так надо. Так надо, пока.

И я закрыл глаза, зажмурился. Я послушался ее, мою Кирюшу, как слушался ее всегда. И, ослепнув, ничего не услышал — ни одного звука слева от себя, там, где она сидела. Досчитал про себя до тридцати, а когда открыл глаза, увидел в соседнем кресле слева, увидел пожилую женщину, почти старуху. И разрази меня гром и молния — она походила на Кирюшину бабуку. Точь-в-точь. Ну, может быть, не совсем точь-в-точь, но очень похожа!

Она глядела каменно куда-то вперед, поверх голов несчастных пассажиров, поверх всего, и ее глаза, и всегда-то косившие, разъехались больше обычного, словно она обозревала разные миры одновременно. И я вспомнил, вспомнил! Да, ее глаза всегда глядели в разные стороны, умудряясь одновременно обозревать игру противоположностей, которая не снилась даже философам. Добро и зло перемешались и являли для нее уже нечто одно. Добра и зла по отдельности не существовало... Вот и всё.

— И ты ее, твою Кирюшу, больше не видел? — спросила Кристина.

Саша только развел руками:

— Нет.

— Никогда? — Кристина произнесла это так горько, что мужчины улыбнулись.

— Так сложилось, Кристи, — спокойно сказал Аркадий. — Судьба.

— Да, судьба, — грустно согласился Саша и встал. — Пойду я, пожалуй. Уже поздно, пора домой. Стасу привет, когда проснется. Не провожай меня, Аркадий, я сам. Мы хорошо посидели, тепло, и ты правильно сделал, что собрал нас на наш... — тут он скосился на Кристину и улыбнулся, — на наш мальчишник. Пока, дорогая Кристи, пока, Аркадий, не провожай.

— Ну, уж до двери я могу тебя проводить? — И Аркадий вышел вслед за ним в коридор...

Они остались вдвоем, Кристина и Аркадий. Стало непривычно тихо. Стас дрых в соседней комнате, и даже не храпел, кажется, а в этой комнате долго молчали.

— Соберу-ка я со стола и посуду вымою, — подала голос Кристина.

Так и сделала. Аркадий помогал ей, когда они переместились на кухню.

— Ты что грустишь, радость моя? — И обнял ее. — Устала?

— Угадал, устала. Но не физически, а... на душе беспокойно. После всего... Давай ляжем, и я еще спрошу тебя кое о чем. Да, есть вопрос.

Потом она сходила в ванную, потом застелила диван в большой комнате (на их софе в другой комнате спал Стас), и вот они легли. Кристина действительно устала, потому что прижилась к

Аркадию так, что он понял: сейчас ей нужна не физическая близость, а нечто другое. Опять обнял ее, как ребенка, стал гладить по узкой спине. Наконец услышал голос во тьме:

— Скажи, если это так, если всё было так, как в той повести, в «Тёплом переулке», если Лёшина Кирюша была такой, то почему она его оставила? Ты-то это понял? Только не отвечай одним словом «судьба», как сказал Саше.

— Да, понял, я-то понял, — тут же произнес Аркадий, — давно понял. И, каюсь, соврал вам, что не знал ответа, ни когда книга писалась, ни когда ее издавали, ни теперь. Знал, знаю, но не хотел говорить. А вот то, что это действительно судьба, это так, тут чистая правда. А вот почему, то разве о том скажешь?

— Так скажи, мне скажи!

— Тебе — да, скажу. Слушай. Она его действительно любила и, знаю, любит до сих пор. Они родные люди, и души их — как близнецы. Однако, чёрт, психология! А точнее, психофизиология. Понимаешь... Понимаешь, дело не в ней, Кирюше, а в нем, Лёше, который потом Саша. Он оказался... не ее как мужчина. Именно как мужчина, понимаешь? Тихий, скромный, деликатный. И то же в постели. А женщине, нормальной женщине, нужен все-таки другой, ночью другой: сильный, даже властный, инициативный, ведущий за собой в пучины страсти, иногда бесстыдный, и всё это на грани, на грани. Ты понимаешь, о чем я... Так вот, он, Лёша, когда вырос, оказался не таким. Может, Кирюша его несколько подавляла своей святостью, не знаю, но факт налицо: он оказался, прости меня за примитивное слово, не самцом. А женщине нужен такой, в постели такой. Ей его не хватало по ночам, то есть не его как личности, а его страсти, силы, фантазии, бесстыдства. И тут она не виновата, ее природа такая, нормальная женская природа, нормальная психофизиология. Подчиняться силе, следовать ей и за ней, а говоря сегодняшним вульгарным языком, ловить кайф от того, что он, ее мужчина, требует нового, требует разнообразия, и всё это на грани, на грани. Это особое наслаждение для женщины: не только оргазм на финале, а долгий, мерцающий психооргазм в ходе самого процесса. Понимаешь?

— Хорошо понимаю, — прошептала Кристина.

— И поэтому... поэтому Кирюше не повезло. В этом, именно в этом не повезло. Ей нужен был другой мужчина, по ночам другой, а если так, то и муж другой, ибо она не изменница по натуре, не любовница, не та, которая, пусть время от времени, станет с кем-то встречаться. Она — цельная натура, правильная. Но не святая, как думалось Лёше-Саше. Она не смогла долго терпеть, не смогла. Ибо она — нормальная, какая уж тут святость! Да, родная, своя, высокая душа — всё это так. Но и — Женщина, для которой очень важна физическая близость, то есть очень важно — как!.. Поэтому — какие к ней претензии? Никаких. А к нему? Да тоже никаких, потому что, как выяснилось в дальнейшем, это — вот такое — оказалось способом его поведения, модусом его сексуальности, а значит, судьбой. То же происходило у него и с другими женщинами. Его любили, но никто от него не балдел, не сходил с ума, не желал его до безумия — так, чтобы всё бросить и уйти с ним и за ним. Так было, было. Почитай, и ты убедишься. Это — драматичные истории*, и в них его судьба. Судьба Лёши-Саши. Он всегда оставался один, опять и опять один, и в конце концов — всегда один. Вот поэтому он и живет не с единственной для него женщиной, а вдвоем с Пашей, братом покойного отца, вторым мужем мамы. Бог не дал ему половины. Судьба. Да, я выбрал единственно верное слово — судьба. А говоря по-другому, такова его психика, которая всегда приводит к уже известному результату. Ведь что такое судьба, если по-простому? Найти свои грабли, на которые наступаешь всю жизнь. Знаешь, что и как будет, но наступаешь опять и опять. И тут ничего не поделаешь, ибо по-другому ты не можешь.

— И оттого Саша такой печальный, — утвердила Кристина. — На его лице печать печали.

— И оттого тебе больше понравился Стас, — в свою очередь утвердил Аркадий. — Пусть они почти одно и то же, хоть и в разные периоды жизни, но тебе больше приглянулся именно

*«Молодой Александр», «Дачный романс на два голоса» и «Несколько нежных дней» из сборника «Несколько нежных дней», М., 2000.

Стас. Выправившийся Лёша-Саша, вальяжный мужчина, талантливый художник, богемный, пьянчужка, могущий сойти с ума и свести с ума, бросить страну, броситься во все тяжкие, но при всем при том познавший единственную любовь и никогда не изменяющий ей, этой своей любви, а то, что иногда он проводит ночи с иными женщинами, так то не измены, то голая физиология и игра в интерес, ибо без интереса к жизни он закисает. Творческая личность, постоянно ищущая новой духовной подпитки, новых страстей, новых сюжетов и персонажей для своей живописи... Так что, Кристи, я прав: тебе понравился именно Стас.

— Прав, понравился, — как обычно, искренне ответила она. — И именно так я и поняла: он — такой. И потому тоже несчастный, но по-своему.

— Или счастливый, но по-своему, — усмехнулся Аркадий. — А та его женщина, его Танька, балерина, хотя уже и бывшая, ибо ей за тридцать, она с нами, она вечна. Для Стаса. С нами, но не с ним. Но он — с ней.

И тут Кристина почти крикнула:

— Противоречие! — И затем, уже спокойно: — Если, как ты утверждаешь, вы — одно и то же, то есть генетически одно и то же, только из разных эпох, то как же так: Лёша и Саша — такие, а Стас совсем другой, да и ты тоже, мой чудесный Аркадий?

— Правильно, молодец! Я тоже думал об этом, думал и кое-что понял. Есть произвольное поведение, то есть как тебя ведет твоя судьба и ты понуро следуешь за ней, а есть произвольное поведение, когда ты, уже понимая свою судьбу, в некий момент, вдруг, усилием воли, начинаешь вести себя характеру вопреки. Заставляешь себя вести так — вопреки. То есть, образно говоря, переводишь страдательный залог в действительный. Делаешь то, о чем тайно мечтал, чего хотел, но не мог сделать, потому что постоянно что-то не пускало, держало в узде. А теперь — делаешь! Потому что ты отпустил себя, понимаешь? Сбросил узду!.. Это тоже некая ломка, некое насилие над собой, но только так можно что-то изменить. Не в характере, он всегда с тобой, но в жизни. Собственной жизни. А потом даже привыкаешь к себе-новому. Вот так случилось со Стасом. Он ничего

не потерял, но многое приобрел. И я так же, даже еще более, чем Стас.

— А любовь? Его Танька... ну, то есть Татьяна?

— Её он тоже не потерял. Она его любит.

— Но не с ним?

— Да, она с мужем и сыном. А Стас уехал, эмигрировал. Так они расстались. Но она с ним.

— Опять твои парадоксы! — поморщилась Кристина.

— А как же! Конечно! Этим он жив — ею, Танькой, которая на его картинах, офортах. Ты это видела — например, в том его календаре, где двенадцать Танек-двенадцать месяцев, и в каждом — она, но разная, прекрасно-обнаженная. Это высокое искусство, согласишься: так увидеть и передать женскую гармонию и женскую тайну. Тайну не тела, а души, но через тело, фигуру, полет. Ведь балерина! А что до души, то... известно, что Господь Бог вдохнул душу в Адама, а в Еву — нет, но Стас будто воспротивился этому и в свою Еву — в Таньку — вдохнул душу, вдохнул. Как художник, творец. А ты говоришь, она не с ним! С ним, а где ж еще! С кем же еще? С ним!

— И они никогда не увидятся.

— А вот это не имеет значения.

Аркадий склонился и стал целовать Кристину. Долго целовал, а она гладила его по голове, теребила волосы на его затылке.

— Ласково как! — прошептала.

Еще через пару минут он услышал, и опять шепотом:

— А я не хочу никаких философий, никаких премудростей, метафор, парадоксов. Я — земная женщина, и я хочу быть с тобой, с тобой в реалиях, а не где-то там, не знаю где. Я не Стасова Танька, не святая Лёшина Кирюша, не прочие дамы, любовницы Саши, пусть они трижды прекрасные. Я — обыкновенная. Я тебя нашла и хочу, чтобы ты был, был всегда, пока есть я. Вот только...

— Что — только? — осторожно спросил Аркадий, ибо что-то почувствовал.

— Что? Тот мальчик Лёша... Тот мальчик Лёша меня достал. Как, чем? А просто: провожая его, я вдруг поняла, что не хочу, чтобы он уходил, чтобы он остался с нами. А следом поняла другое: что хочу мальчика, своего мальчика, от тебя. Я тебе же-

на, и у нас должен быть мальчик. Только без тьмы в детстве — без ареста отца, без обысков в квартире, без коротких свиданий на зоне, без ссылки куда-то в тьмутаракань по «делу врачей» или какому-то другому «делу», без учительницы-психопатки, мстящей ему только потому, что у нее не сложилась жизнь. Я хочу нашего мальчика без такой судьбы. И тогда у него будет своя Кирюша, и он будет с ней сильным мужчиной, без комплексов, без, как ты сказал, узды. И тогда она его никогда не покинет. Вот как я тебя. И будет вокруг меня новый мальчишник — ты и сын. А у тебя — мы. Да-да, правильно сказано, я это хорошо запомнила: «Всё так: счастье — жить, но не самому, а со всеми. Конечно, так».

— Ты это решила? — задал лишний вопрос Аркадий. Просто он хотел услышать то, что и должен был услышать:

— Над моим долгим осенним полем, улетаая на юг в теплые страны, пролетела жар-птица и обронила золотое перо. Я долго искала его в сорняках и вот — нашла. Осталось спрятать то перо за пазуху и загадать желание. Ты понял какое.

— Это значит что ж? Значит, рядом со мной будут жить два выдумщика, два завиральщика-мудреца, два исторических сюрреалиста, два путешественника по временам, для которых совместить нереальное с реальным, сон и явь, прошлое, настоящее и будущее — это всё запросто?

— Ну, не без этого, — серьезно сказала Кристина. И добавила, вроде бы так же серьезно, но с улыбкой: — Зато мы и ты — это будет одна компания выдумщиков и всяких там сюрреалистов.

Так завершилась эта история, последняя из нашей серии, семейная.

2007 — 2012